

Томас
МАНН



ИЗБРАННИК



Annotation

В настоящее издание вошло произведение Томаса Манна, одного из самых ярких и популярных авторов XX века – роман «Избранник», написанный по мотивам средневековой легенды «О добром грешнике».

- [Томас Манн](#)
 - [Кто звонит?](#)
 - [Гримальд и Бадугенна](#)
 - [Дети](#)
 - [Скверные дети](#)
 - [Господин Эйзенгрейн](#)
 - [Госпожа Эйзенгрейн](#)
 - [Подмет](#)
 - [Пять мечей](#)
 - [Санкт-дунстанские рыбаки](#)
 - [Заветные деньги](#)
 - [Печальник](#)
 - [Удар кулаком](#)
 - [Открытие](#)
 - [Диспут](#)
 - [Господин Пуатвин](#)
 - [Встреча](#)
 - [Поединок](#)
 - [Поцелуй в руку](#)
 - [Молитва Сибиллы](#)
 - [Свадьба](#)
 - [Иещуга](#)
 - [Прощание](#)
 - [Камень](#)
 - [Покаяние](#)
 - [Откровение](#)
 - [Второе посещение](#)
 - [Отыскание](#)
 - [Превращение](#)
 - [Величайший папа](#)
 - [Пенкгарт](#)

- [Аудиенция](#)
- [Комментарии](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)

- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)

- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)

- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)

- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Томас Манн
ИЗБРАННИК

Кто звонит?

Звон, перезвон колоколов *supra urbem*^[1], надо всем городом, в струящемся над ним воздухе, пересыщенном гудящими звуками! Колокола, колокола! Они с размаху, с разлету взмывают, взвиваются на станинах, на перекладинах в немолчной вавилонской разноголосице. Грузно и часто, гремя и трезвоня – не в лад, невпопад, они говорят все сразу, перебивая друг друга, перебивая самих себя: било ударяет о медь и, не дав умолкнуть разбуженному металлу, бьет, раскачавшись, уже о другой край толстостенного колпака и вторгается в свой же запев, так что не отгремело еще «*In te, Domine, speravi*»^[2], как уже раздастся «*Beati quorum tecta sunt rescata*»^[3], а рядом слышатся хрустальные голоса малых звонниц, – будто служка потряхивает сладкозвучным своим колокольчиком.

Наверху звонят и внизу, в семи благодатнейших местах, известных паломникам, а равно и во всех приходских церквях семи епархий на обеих излучинах Тибра. Звонят с Авентина, с палатинских святынь и с Иоанна Богослова в Латеране, звонят над могилой «ходящего в ключах»^[4], на Ватиканском холме, со святой Марии Маджоре, на Форуме, в Домнике, в Космедине и в Трастевере, с Ара Цели, со Святого Павла за городской стеной, со Святого Петра-в-веригах, с храма пресветлого Креста Иерусалимского. Но и с кладбищенских часовен, с колоколен ничем не славных церквушек и захудалых молелен – тоже звонят. Кому ведомы их имена и прозванья? Ветер, нет, истая буря, ударяясь о струны эоловой арфы, расшевелила весь мир звучаний и воссоединила в густой всегармонии голоса соседних и дальних колоколов, – так, разрывая воздух, несется благовест великого праздника и вожделенного сретения.

Кто звонит в колокола? О нет, не звонари. Они высыпали на улицу, как и весь римский люд, услышав столь необыкновенный звон. Взгляните-ка: колокольни пусты, канаты свободно свисают. А все-таки колокола качаются и, гремя, ударяются о стенки била. Неужели мне скажут: никто не звонит? Нет, на это отважится разве лишь человек, ничего не смыслящий ни в логике, ни в грамматике. «Колокола звонят» – это значит: кто-то звонит в них, даром что колокольни пусты. Так кто же звонит в колокола Рима? – *Дух повествования*. Да неужто же может он быть повсюду, *hie et ubique*, к примеру сказать, на башне св.Георгия в Велабре и где-нибудь у св.Сабины, сохранившей колонны мерзостного капища Дианы, сиречь в сотне

освященных мест сразу? – Еще как может? Он невесом, бесплотен и вездесущ, этот дух, и нет для него различия между «здесь» и «там». Это ведь он говорит: «Все колокола звонят», так, стало быть, он сам и звонит. Такой уж этот дух духовный и такой абстрактный, что по правилам грамматики речь о нем может идти только в третьем лице и сказать можно единственно: «Это он». И все же он волен сгуститься в лицо, а именно в первое, и воплотиться в ком-то, кто говорит, и говорит от его лица: «Это я. Я – дух повествования, который, нашедши себе пристанище в библиотеке монастыря Санкт-Галлен в Алемании, где некогда сживал Ноткер Косноязычный, повествует вам в забаву и в преизрядное поучение эту историю; за начало же я беру ее благостный конец и звоню в колокола Рима, то есть сообщаю, что в тот день счастливого сретения все они зазвонили сами собой».

Дабы, однако, и второе грамматическое лицо не осталось в обиде, задается вопрос: «Кто же ты, называющий себя „я“, кто ты, сидящий за налойным столом Ноткера и воплотивший в себе дух повествования?» – «Я Клеменс Ирландский, *ordinis divi Benedicti*^[5], гость, по-братски здесь принятый и посланный моим настоятелем Килианом из монастыря Клонмакнуга, ирландской моей обители, дабы поддержать старые связи, что со времен Колумбана и Галла установились между моей родиной и этой надежной твердыней христианства. Великое множество очагов благочестивой учености и пристанищ муз посетил я на своем пути, таких, как Фульда, Рейхенау и Гандерсгейм, Санкт-Эммеран в Регенсбурге, Лорш, Эхтернах и Корвей. Но здесь, где услаждают нас очи псалтыри и евангелия, чудесно расписанные по пурпуру золотом и серебром с добавлением киновари, а также зеленой и синей красок, где братия, под началом отца-регента, поет так благолепно, как мне нигде не случилось слышать доселе, и где силы телесные подкрепляешь отменными трапезами и, кстати сказать, преотрадным винцом, а поевши, с пользой для здоровья, прохаживаешься по монастырскому двору, вокруг водоема, – здесь я решил задержаться на более длительный срок, поселившись в одной из келий, всегда открытых гостям, куда внимательный настоятель, Гоцберт по имени, распорядился поставить для меня ирландский крест, на коем изображены агнец, обвитый змеями, *arbor vitae*^[6], драконья голова с крестом в отверстой: пасти, а также *Ecclesia*^[7], собирающая в потир Христову кровь, тогда как диавол силится отхлебнуть из сего сосуда. Изделие это свидетельствует о раннем процветании художеств у нас в Ирландии.

Всею душой прилепился я к своей родине, богатому бухтами острову

св.Патрика^[8], к его пастбищам, изгородям, болотам. Воздух там влажен, приволен, да и в монастыре нашем, Клонмакнау, жизнь тоже привольна, то бишь благоприятна для ученых занятий, обузданных умеренным воздержанием. Мы с настоятелем Килианом давно утвердились во взгляде, что Христова вера и любовь к изучению древних должны преодолевать людское невежество согласно и купно, ибо таковое равно презирает и веру и просвещение, а там, где пускает корни первая, непременно расцветет и второе. Ученость нашего братства и в самом деле очень высока, и; как мне сдается, выше даже, чем в среде римского клира. Иные римские монахи не в меру далеки от мудрости древних и подчас пробавляются поистине жалкой латынью – правда, не столь пакостной, как немецкие, – один из коих, кстати сказать, августинец, недавно мне написал: «Habeo tibi aliqua secreta dicere. Robustissimus in corpore sum et saepe propterea temptationibus Diaboli succumbo»^[9]. Это уже вовсе невыносимо, и по слогу и по всему прочему; разумеется, из-под римского пера такая мужицкая галиматья никогда бы не вышла. Да и вообще не следует думать, будто я хочу бросить тень на Рим и его главенство, напротив, я мню себя верным их приверженцем. Спору нет, мы, ирландские монахи, всегда отстаивали независимость действий и во многих краях материка первыми проповедовали христианское учение, чем снискали себе чрезвычайные заслуги, воздвигая повсюду – в Бургундии и Фрисландии, в Тюрингии и Алемании – монастыри, сии бастионы веры и миссионерства. Однако это не мешало нам искони признавать епископа Латеранского главой христианской церкви, видеть в нем существо почти божественное и разве лишь место воскресения господня почитать более, чем храм св.Петра. Ведь можно сказать, не солгав, что церкви Иерусалима, Эфеса и Антиохии старше римской, и если Петр, чье имя, прославленное в веках, не хочется связывать с приснопамятным пением петла, и основал Римское епископство, чего никто не отрицает, то ведь это же самое бесспорно относится и к Антиохийской общине. Но такие соображения – не более чем побочные примечания к истине, истина же заключается в том, что господь и спаситель наш, как сказано у Матфея (и кстати только у него одного), поначалу нарек Петра своим наместником на земле, а тот передал викариат епископу Римскому и поставил его главой надо всеми епархиями мира. Ведь в декретах и протоколах седой старины наличествует даже речь, которую произнес сам апостол при рукоположении первого своего преемника, папы Лина, и это представляется мне подлинным испытанием веры и вызовом духу: пусть-де явит свою силу и покажет, во что только он

не способен уверовать.

В своей куда более скромной роли – служить инкарнацией духа повествования – я всемерно пекусь о том, чтобы читатель вместе со мной признал того, кто призван занять sella gestatoria^[10], мужем, удостоенным высочайшего и благодатнейшего избрания. Знаком преданности моей Риму является уже и то, что я прозываюсь Клементием. Ведь изначальное имя мое – Моргольд. Но я никогда его не любил, усматривая в нем что-то дикое и языческое, и – вместе с монашескими ризами – облек себя именем третьего преемника Петра, так что в подпоясанной тунике и в наплечье пребывает уже не вульгарный Моргольд, а утонченный Клементий, осуществивший то, что св.Павел в послании «Ad Ephesios»^[11] столь удачно назвал «облачением в нового человека». Нет, это уже не бренное тело, шнырявшее по земле в камзоле оного Моргольда! Цингулом препоясано тело духовное – плотское, стало быть, не настолько, чтобы признать вполне правомерным прежнее мое утверждение, будто нечто, а именно: дух повести, во мне «воплотилось». Я вовсе не так уж и люблю этот глагол «воплощать», ибо произведен он от «плоти», от бренного тела, которое я снял с себя вместе с именем Моргольд, от тела, которое сполна является вотчиной сатаны и по воле его способно творить такие мерзкие пакости, что даже трудно уразуметь, почему оно к ним тяготеет. Правда, с другой стороны, тело есть то вместилище души и божественного разума, без коего таковые лишились бы всякого крова, а посему оно должно быть признано необходимым злом. На такое признание тело еще смеет притязать, более же восторженного оно в непотребстве своем поистине не заслуживает. Да и станет ли человек, взявшийся рассказать или обновить (ибо ее уже рассказывали неоднократно, хотя и не так, как должно) историю, которая изобилует плотскими мерзостями и ужаснейшими доказательствами готовности плоти ничтоже сумняся предаваться греху, – станет ли он бахвалиться тем, что сам является неким воплощением?

Нет, принявши мой образ и лик, образ инока по прозванию Клементий Ирландский, дух повествования сохранил изрядную долю бестелесной отвлеченности, позволяющей ему звонить одновременно со всех титулярных базилик города, и я сейчас поясню это двумя примерами. Читатель моей рукописи, чего доброго, и не обратил внимания, – а меж тем это стоило приметить, – что я указал ему на место, где нахожусь, а именно: монастырь св.Галлена и налойный столец, но не сообщил, в какую пору, в которое лето от рождения господина и спасителя нашего Иисуса Христа я здесь сижу, испещряя пергамент своим мелким и тонким, искусным и

витиеватым письмом. Касательно сего не дано никакой отправной точки, ибо имя нашего здешнего настоятеля – Гоцберт – таковою служить не может. Очень уж часто и в самые разные времена оно повторяется и слишком легко, буде за него ухватятся, превращается во Фридолина или даже Гартмута. Если же кто-нибудь, из озорства или ехидства, спросит меня: «Неужто ты сам знаешь где, но не знаешь, когда ты живешь?» – я на это отвечу кратко: «А тут и знать нечего», ибо как олицетворение духа повествования я обладаю той отвлеченностью, вторую приметую которой сейчас поведаю.

Ведь вот я пишу, стараясь рассказать вам историю, одновременно ужасную и высоконазидательную. Но совершенно неизвестно, на каком языке я пишу: по-латыни ли, по-французски, по-немецки, или по-англосаксонски, да и не все ли это равно, ибо если я сегодня, к примеру, пишу по-тиудискски, как говорят алеманы в Гельвеции, то завтра перейду на британскую речь и книга моя станет британской. Я отнюдь не хочу сказать, что силен во всех языках, но они сливаются друг с другом в моем письме и образуют единое целое – язык. Ибо так уж устроено, что дух повествования – это дух свободный до отвлеченности, и средством его является язык как таковой, сам язык, язык-абсолют, не желающий знать никаких наречий и местных языковых божеств. Иначе как раз и впадешь в политеизм и язычество. Ведь бог есть дух, и слово превыше всех языков и наречий.

Одно несомненно: пишу я прозу, а не стихи, каковые и вообще не очень-то жалую. В этом отношении я следую за императором Каролусом^[12], который был не только великим законодателем и судьей народов, но также покровителем грамматики и ревностным поборником чистой, правильной прозы. Иные, правда, утверждают, будто только размер и рифма способны создать строгую форму, но мне невдомек, почему это поскоки на трех-четыре ямбических стопах, к тому же не обходящиеся без всяких там дактилических и анапестных спотыканий, да еще в придачу забавные созвучия в конечных словах – строже по форме, чем складная проза с ее куда более тонкими и тайными ритмическими обязательствами, и начни я:

Жил князь, потме^[13] Гримальд, и жил
Но вот удар его хватил.
Достались детям дом и власть.
Ахт^[14], грешили дети всласть!

или в подобном роде – неужто сие строже по форме, чем грамматически добротная проза, в которой я сейчас и поведам рассказ о великой милости божьей, причем изложение мое будет настолько сильно и ярко, что еще немало потомков: французов, англов и немцев – смогут черпать отсюда и строить на этом свои вирши.

Ну, а теперь от присказки к сказу.

Гримальд и Бадугенна

Жил некогда герцог Фландрии и Артуа, Гримальд по имени. Его меч назывался Экесакс. Его кастильский конь носил кличку Гуверйорс. Не было, казалось, князя на свете, о коем господь пекся бы благосклоннее, и взгляд Гримальда смело облетал его наследные земли с богатыми городами и сильными крепостями, достойно и строго покоился на его maisnie^[15] и оруженосцах, на скороходах, поварах и поварятах, на трубачах, скрипачах, барабанщиках и флейтистах, на его свите – двенадцати юношах знатного рода и доброго нрава, в том числе двух молодых сарацинах, над идолом которых, Магометом, запрещалось Глумиться их товарищам христианам. Когда он с женою своею, Бадугенной, благороднейшей дамой, шествовал в церковь или к торжественной трапезе, эти пажи, в пестрых чулках, прыгали впереди них, попарно держась за руки и скрещивая ноги.

Его родовым замком, где большей частью и находился двор герцога Гримальда, был Шастель Бельрапейр, на высотах питавшей овец Артуа, словно выточенный на токарном станке, если взглянуть издали на его крыши и балконы, на предмостные укрепления, стены и башни замка, надежного убежища, каковое и должен иметь князь на случай нашествия лютых врагов извне, а равно и на случай злых смут среди собственных подданных; убежище это было к тому же удобно для жилья и приятно для глаза. Сердцевиною замка был высокий донжон, прямоугольный, с роскошными внутренними покоями, скрытыми, впрочем, не только в жилой башне, но также во многих пристройках и внутренних флигелях вдоль стены, а из зала донжона шла прямая лестница вниз, на крепостной двор, к лужайке, где за прочной каменной изгородью стояла тенистая липа. На скамье, опоясывавшей дерево, герцогская чета часто сживала в летние дни на подушках из галапского и дамасского атласа, а в ногах у князей, на коврах, разостланных челядью по холеной траве, изящными группами располагалась знать, чтобы послушать правдивые и вымышленные сказы менестрелей, которые, перебирая струны, повествовали об Артуре, владыке всех бриттов, о короле хорошей погоды Оренделе, о том, как поздней осенью он терпит жестокое кораблекрушение и становится рабом ледяного великана, о битвах рыцарей-христиан с диковинно-отвратительными племенами таких отдаленных земель, как Этниза, Гильстрам или Ранкулат: журавлиноголовыми, лобоглазыми, плоскостопыми, пигмеями и гигантами; о необычайных опасностях Магнитной горы и о том, как хитростью

отбирают у грифов червонное золото; о богословском споре между святым Сильвестром и неким иудеем перед лицом императора Константина: иудей прокричал в ухо быку имя своего бога, и бык, бездыханный, свалился наземь. Но тут Сильвестр призвал Христа, и бугай снова встал на ноги и громовым рыком провозгласил превосходство истинной веры.

Но все это только примера ради. Вообще же тут задавали друг другу хитроумные загадки и вели непринужденные беседы, полные смысла и *cortaisie*^[16], так что воздух не раз оглашался веселым смехом кавалеров и дам.

Я, со своей стороны, тоже готов рассмеяться, если кто подумает, что по вечерам верхний зал освещали дымящие факелы из соломы или лучины. Как бы не так! С потолка свисали паникадила, густо усеянные мерцающими свечами, а по стенам сияли десятисвечные подвесные шандалы. Было здесь два мраморных очага, где сгорали сандал и алоэ, а каменный пол покрывали широкие ковры, которые в особых случаях, когда, скажем, князь Канволейский или король Анжуйский – *bien soi venu, beau Sire!*^[17] – гостили у герцога, усыпались еще хворостом, листьями ситника и цветами. За трапезой господин Гримальд и госпожа Бадугенна сидели в креслах с подушками арабского ахмарди, а напротив сидел их капеллан. Барды садились в самом низу стола или же располагались вместе с подлым людом за отдельным столом, а более почетные гости за четырехместными откидными столиками с белыми скатертями, и пажи, по четыре за каждым, склоняя колена, подносили золотые рукомошники и полотенца пестрого шелка. Яства были поистине княжеские: и цапли, и рыба, и бараньи котлеты, и птица, пойманная, в рожице, и жирные карпы. Ко всякому блюду пажи подавали перец и аграс (я имею в виду фруктовый соус) и усердно, с раздумывавшимися лицами (ибо они сами выпивали за дверью), наполняли кубки вином, и тутовой настойкой, и красным синопелем, и пряным прозрачным напитком – кларетом, каковым особенно охотно и часто орошал горло господин Гримальд.

Не стану больше расхваливать чудесную жизнь в Бельрапейре, хотя было бы грешно умолчать, что лари здесь ломались от холстов и штофов, от редкостного бархата и шелков, от куньих и душистых собольих шкур; что полки и поставцы сверкали прекрасной ассагаукской посудой: чашами, выточенными из драгоценных камней, и золотыми бокалами; что выдвигаемые ящики едва вмещали запасы благовоний, которыми окуривали покои, усыпали ковры и опрыскивали ложа – трав и корений, амбры, териак, гвоздики, мускуса и кардамона; что в тайниках в великом обилье

хранилось золото – кавказское, вырванное прямо из когтей у грифов, ожерелья, браслеты, а сверх того еще отдельно всякие чудодейственные камни: карбункулы, ониксы, халцедоны, кораллы и как они там называются: агаты, сардониксы, жемчуга, малахиты и алмазы, что склады и кладовые были битком набиты благородным оружием, кольчугами, нагрудниками и щитами из Толедо, что в испанской стороне, доспехами для воинов и коней, ковертюрами, сбруей, седлами и уздечками с бубенцами, и что стойла, загоны, закуты и клетки были переполнены лошадьми и собаками, учеными соколами, ястребами-перепелятниками и говорящими птицами.

Однако довольно расхваливать! И то ведь не шутка надлежаще разместить столько похвал и сдержать их уздой грамматики. По-княжески, как видите, проводили свои дни господин Гримальд и госпожа Бадугенна, вызывая восхищение всего христианского мира, щедро благословенные всеми земными благами. Так значится в анналах, а далее значится: «Для счастья их недоставало лишь одного». Жизнь человеческая течет по избитым образцам, но она стара и косна только в словесном обличье, сама же по себе она всегда нова и молода, если даже рассказчику ничего не остается, как наделять ее старыми словесами. Лишь одного, вынужден я повторить, недоставало для полного их счастья – детей, и сколь часто случалось видеть, как супруги, рядышком, опускали колени на бархатные подушечки и, воздев руки горе, слезно просили о милости, им не отпущенной! Мало того, во всех церквах Фландрии и Артуа что ни воскресенье с амвонов молили об этом всевышнего, но, казалось, господь бог не хотел внять сей мольбе, ибо обоим уже минуло сорок, а надежда на потомство, на прямого наследника все еще не сбылась, так что некогда держава, наверно, распалась бы в споре зарящихся на власть притязателей.

Помогло ли здесь то, что в дело вмешался сам архиепископ Кельнский, Утрехтский, Маастрихтский и Льежский, не раз назначавший с этой целью торжественное богослужение и крестный ход? Допускаю сие, ибо после долгого промедления опала всемогущего была наконец снята и государыня стала ждать радостей материнства, – радостей, но, увы, обреченных истощиться мукой родин, тяжесть коих все еще свидетельствовала, что Премудрый неохотно исполняет ее желание. Увы! Бадугенне не суждено было узреть двойню, которую она, непривычно стеная, произвела на свет. Свет ее очей погас, и герцог Гримальд вместе с радостями отцовства познал и горечь вдовства.

Как странно смешивает провидение радость и горе смертных в едином кубке! Архиепископ, мучительно потрясенный двойственным успехом

своего предстательства пред всемогущим, препоручил епископу Камбрейскому отслужить панихиду в Ипре, в кафедральном соборе. И когда камень прикрыл могилу, прохладное родильное ложе госпожи Бадугенны, герцог Гримальд возвратился в Бельрапейр, чтобы порадоваться тому, что было ему дано, после того как он, с соблюдением всех обрядов, оплакал то, что было у него отнято. Младенцы, сладчайшие отпрыски смерти, мальчик и девочка, его плоть и кровь, наследники его дома, стали ему утехой в горе, стали утехой всему замку, отчего их совокупно и называли «жойделакурт», то есть «радость двора», ибо мир и впрямь не видел еще младенцев прелестнее, и никакой художник из Кельна или Маастрихта не смог бы написать красками ничего красивее: безукоризненно сложенные, исполненные очарования, с волосиками, мягкими, как цыплячий пушок, и глазками, пока еще лучащимися светом небесным; лишь изредка хнычущие, всегда готовые улыбнуться ангельской улыбкой, от которой таяло сердце не только у придворных, но и у самих младенцев: когда их пеленали, они тянулись друг к другу ручонками и лопотали: «Да, да! Ты, ты!»

Разумеется, «жойделакурт» называли их лишь купно и ради милой шутки. В святом крещении – а окрестил их капеллан замка – они получили имена Вилигис и Сибилла; и если принц Вилло, который лопоча: «Да, да!» – шлепал ручонками гораздо сильнее, чем Сибилла, был наследником и главным лицом государства, то на нее, как на весь ее пол, падал отсвет и отблеск славы царицы небесной, и герцог Гримальд глядел на свою дочку куда более нежными глазами, чем на столь нужного герцогству и не менее прекрасного сына. Тому быть рыцарем, таким же, как он сам, храбрым и дюжим, ну да, любезным женскому взору, когда после тйоста^[18] омоет тело от ржавчины своих пропотевших доспехов, пожалуй, и до кларета охочим, – ну да, это все знакомо! Сладостная же, осиянная свыше чужедальность хрупкой женственности, она совсем по-другому задевает огрубевшие сердца, и отцовское тоже, а потому господин Гримальд называл сыночка только «бебешкой» и «бездельничком», девчоночку же «та charmante» и целовал ее, тогда как мальчика только трепал по щеке и давал подержать ему палец.

Дети

До чего же заботливо пестовали высокородную двойню сведущие женщины в чепцах, прикрывавших им лоб и подбородок: они кормили их из рожка подслащенной водой и кашницей, купали в растворе отрубей и промывали вином пустые десны, чтобы там поскорей и полегче прорезались и украсили их улыбку молочные зубы. Зубки прорезались легко и без долгого плача и были как жемчужины, и притом весьма остры. Но так как близнецы вышли уже из грудного возраста и перестали быть слабенькими новичками в сем дольном мире, сладостный свет, принесенный ими свыше, исчез, словно померкши за тучами, так что они потускнели и начали принимать земной облик, самый, замечу, однако, изящный. Цыплячий пух на их головках превратился в гладкие каштановые волосы; это чудо как шло к нездешней смугловатой бледности их точеных лиц и постепенно вытягивавшихся тел, бледности, явно унаследованной от дальних предков, а не от родителей, ибо госпожа Бадугенна была бела и румяна, а у господина Гримальда лицо и вовсе было красно, как киноварь. Глаза детей, первоначально сиявшие лазурью, все более и более темнели, приобретая редкий, почти таинственный, иссиня-черный цвет, уже не небесный, хотя трудно сказать, почему бы некоторым ангелочкам не иметь глаз такой ночной синевы. И еще у обоих была одинаковая привычка искоса глядеть в сторону, словно бы прислушиваясь и ожидая чего-то. Хорошего ли, дурного? Не знаю.

По седьмому году, когда меняются зубы, на них напала ветрянка, и от чесанья у каждого осталась отметина на лбу, небольшая оспинка, у обоих на одном и том же месте и одинакового очертания, а именно серпообразного. Щербинку скрывали их шелковистые каштановые волосы, но подчас господин Гримальд, потехи ради и притворно удивляясь, откидывал с их лобиков мягкие пряди, когда няньки в чепцах, ежедневно в определенный час, приводили детей к скамеечке, где он, с бокалом кларета одесную, обычно сиживал. Улыбаясь и опустив головы, женщины отступали в глубину зала, чтобы не нарушить своим низким присутствием высочайшего семейного счастья. Или же они вовсе останавливались у двери, предоставляя малышам, Сибилле в ее парчовом платице (или как там называется ткань, искусно расцвеченная золотыми нитями) и Вилигису в его бархатном, отороченном бобровым мехом кафтане, – а волосы у обоих были до плеч, – одним идти к отцу, перед которым Вилигис научился уже,

как того требовали правила и приличия, преклонять колена. «Deu vus sal^[19], господине достолубимый», – говорили они голосками, чуть хриплыми от робости. Затем отец болтал с ними и шутил, называл их «gent mignote de soris»^[20] и милашками, спрашивал, как они поживают, и наконец поручал их Saint Esperit^[21], причем Вилигиса хлопал по плечу, Сибилле же целовал. Он говорил: «Пребывайте в добром здравии». А они говорили вместе хриплыми голосками: «Да вознаградит вас бог» – и, удаляясь, пятились, как предписывал этикет, лицом к отцу, после чего няньки подхватывали детей у двери и брали их с обеих сторон за руки, за свободные руки, которыми те не держались друг за друга.

А они постоянно держались за руки, и по восьмому году еще, и по десятому, и были, словно пара карликовых попугайчиков, день и ночь неразлучны, ибо издавна спали в одной опочивальне, наверху, в башне, оглашаемой криками сычей; там стояли их упругие кровати с лямками саламандрового меха, на которых лежали подушки, и с валиками гадючьей кожи. Подстилка под подушками была из пальмовых волокон. Няньку, что для надзора и ухода за детьми спала там же на простой койке, они часто спрашивали: «Не правда ли, мы еще малы?» – «Малы, голубки мои благородные». – «И мы ведь еще долго будем маленькими, n'est-ce voir?»^[22] – «Ну конечно, seurement, мои милые, еще долго-долго!» – «А мы хотим всегда быть маленькими на этом свете, – говорили они. – Так мы решили, лаская друг друга. Мы станем легкими ангелочками на небеси. Тяжело, наверно, обратиться в ангелочка, когда умрешь, если у тебя и брюхо, и борода, и грудь». – «Ах, глупышки, que Deus dispose^[23]. А Он не желает, чтобы люди всегда оставались детьми, как бы вы там ни решили между собой. Deus ne volt^[24]». – «А если мы укротим свою плоть и проведем три ночи в молитве и бдении, чтобы бог оставил нас маленькими?» – «Ну и простота! Клянусь честью, вы уснете и во сне преотлично утешитесь».

Так оно и случилось. Не знаю, думали ли они всерьез об укрощении плоти, мне хотелось бы верить, что речь няньки обескуражила их. Но так или иначе, понеже над замком и над страной проносились годы, в зеленом венце и в поблекшем, в убранстве из мглистого льда и снова в весеннем уборе, то дети достигли и девяти, и десяти, и одиннадцати; две почки, которые желали, или, вернее, не желая того, должны были стать цветками, уже не малые, а юные-преюные созданья, с писано красивыми бледными лицами, с шелковыми бровями, быстроглазые, с тонкими, чуткими ноздрями над пухловатой верхней губой изящного и строгого рта, сложения в будущем нежного, но еще не принявшего окончательных пропорций,

вроде молодых псов, у которых слишком тяжелые лапы, так что, когда Вилигис утром, балуясь после сна, нагой, как языческий бог, с отметинкой под растрепанными локонами, прыгал вокруг стоявшего возле его постели умывального чана, где плавали лепестки роз, то, чем он разнился от своей сестры, его мужской член, казался непомерно большим и вытянутым в сравнении с его узким, бледно-смуглым телом. Меня это зрелище некоторым образом огорчает. Вверху такая ребячески миниатюрная, смышленная головка, а внизу – на тебе, этакая громадина! Мамки только благоговейно прищелкивали языком и говорили: «L'espairs des dames!»^[25] Что же до юной принцессы, то она, полураспустившийся бутон, сидела на краешке кровати с таким же открытым (ибо на ночь ей зачесывали волосы вверх) знаком на лбу и, пожалуй, даже мрачно косилась на брата и на его почитательниц. Я знаю, что она думала. Она думала: «Я вам покажу – l'espairs! Это мой дружок. Даме, которая от него понесет, я выцарапаю глаза, и никто меня не накажет, меня, герцогскую дочку!»

К ней была приставлена родовитая вдова, графиня де Клев, с которой она певала псалтырь в амбразуре окна и которая учила ее ткать материю из драгоценной пряжи. За принцем же присматривал гюрвенал, по имени господин Эйзенгрейн, *cons du chatel*^[26], точнее же сказать: даже не замка, а крепости на воде с широкими и глубокими рвами и дозорной башней, откуда далеко было видно море, ибо крепость находилась внизу, на равнине, где Рулер и Тору, от моря рукой подать. (Будьте внимательны и заметьте себе эту крепость по соседству с рокочущим морем! Ей будет еще отведено особое место в нашей истории.) Господин Эйзенгрейн, знатнейший в этой стране и верный вассал, затем, собственно, и прибыл оттуда в Бельрапейр, оставив дома жену и дитя, чтобы стать ментором и *maistre de corteisie*^[27] молодого сеньора. Для более же низких поручений к последнему был приставлен паж Патафрид. Ибо хотя герцог Гримальд, из-за небесного отсвета на ее челе, всегда предпочитал девочку сыну и, по мере того как бутон распускался, становился с ней все нежней и галантнее, а с мальчиком, чем больше тот вырастал, все суровее, он всегда по-отечески пекся о достойном воспитании наследника и радел о том, чтобы сделать его *un om de gentilesce, afeitie, bien parlant et anseignie*^[28]. И Вилигис учился у обоих пестунов правилам рыцарства и утонченным манерам. Он учился у Патафрида, с охотой ли, или без особой охоты, вскакивать на коня, не пользуясь стремянем, а с помощью господина Эйзенгрейна постигал, как, в зависимости от одежды, надлежит *legerement*^[29] выставлять вперед одну ногу на верховой прогулке. Надев на себя суассонские латы, он сходиллся в

тйосте со старшим пажом и обучался целиться копьем в четыре гвоздя на щите противника, причем Патафрид в угоду ему падал с коня и просил пощады. Он учился метать короткий габилот, а равно и брать наизготовку длинную пику. С гюрвеналом и сокольничими принц травил зверя в зеленой дубраве, учился спускать с руки натасканных на дичь соколов и так искусно дудеть в манок, чтобы всякой твари лесной чудился голос ее сородича.

Что смыслю я в рыцарстве и в ловитве! Я – чернец, по сути не сведущий во всех этих делах и немного пред ними робеющий. Я никогда не хаживал на вепря, не слышал, как гремит рог перед травлей оленя, не свеживал зверя и не был главарем над охотниками, которому жарят на угольях лакомые куски. Я только делаю вид, что могу складно рассказать о воспитании юного принца Вилигиса, и напускаю словесного туману. Рука моя никогда не размахивала габилотом, не держала пику наперевес; да и никогда не обманывал я никакого зверья манком, и слово «манок», употребленное здесь с этакой непринужденностью, я просто-напросто где-то подцепил. Но таков уж дух повествования, воплощаемый мною; он делает вид, будто отлично разбирается во всем, о чем ведет речь. Также и бугурд, веселая верховая игра, которую юный Вилигис, с кавалерами и пажами, затевал в рыхлоземной долине у подножия замка и участники которой скачут карьером, отряд на отряд, пытаюсь потеснить друг друга (в то время как дамы, расточая насмешки или влюбленные похвалы, сидят вокруг поля боя на деревянных балкончиках), – также и эта забава по сути глубоко мне чужда и, пожалуй, даже противна. Но все-таки я непринужденно повествую о том, как мчался, взметая пыль, во главе своего отряда принц Вилло, прекраснейший пятнадцатилетний отрок, – на гнедом коне, без доспехов, в одной только бармице из легких стальных колец, обрамлявшей его бледное и тонкое мальчишеское лицо, в камзоле и бандаже красного александрийского шелка, – и о том, как ему вежливо поддавались, нарочно позволяя пробиться через цепь противников, понеже он герцогский сын, а дамы поздравляли с его победой Сибиллу, его прелестную сестру, которая смеялась от радости и учащенно дышала.

Мнимость этой победы несколько утешает меня в моих столь же мнимо непринужденных разглагольствованиях о материи, весьма мне далекой. Однако обманчивые победы тоже опьяняют, и, опьяненный, гордый тем, что с ним так вежливо обошлись, Вилигис возвращался в замок и шел к своей сестре, которая тоже отлично знала, что здесь восторжествовал должный респект, и, несмотря на это, или как раз поэтому, была так же опьянена и горда, как ее брат. Если вам угодно знать, во что

нарядили принцессу в честь такого дня, то на ней было прекрасное, просторное и длинное, зеленое, как трава, платье ассагаукского бархата, собранное в пышные складки, а спереди в широких сборках виднелась подкладка из красного и нижняя юбка из белого шелка. Круглый вырез на смугло-бледной шее, как и рукава на запястьях, был усеян жемчугами и алмазами, смыкавшимися ниже, на груди, в широкое ожерелье. Не менее густо испещряли драгоценные камни и ее кушак, а девичий венец на непокрытых ее волосах тоже был усыпан рубинами и гранатами, красными и зелеными. Читая, как я расписываю герцогскую дочку, иная девчонка, наверно, позавидует и ее длинным ресницам, под сенью которых вспыхивали ее иссиня-черные глаза, позавидует, говорю это, по-иному потупив очи, и тому, что под бархатом и самоцветами уже колыхалась ее расцветающая грудь. Не могу не упомянуть и о необычайнейшей красоте ее рук, – едва ли меньше братних, они были, однако, удивительно хрупки в кости, и на некоторых пальцах, сплошь заострявшихся к ногтю, сверкали кольца, одно на верхнем, другое на нижнем суставе. Стройная, она отличалась пленительной линией бедер, а пухловатая верхняя губа у нее, как и у Вилигиса, оттопыривалась к носику. И точь-в-точь, как у брата, трепетали ее тонкие ноздри.

– Ах, государь мой и братец, – говорила она, помогая ему снять кольчужный шлем и приглаживая его темные волосы, – ты был великолепен, когда им пришлось пропустить тебя сквозь весь свой отряд! Как стояли в стременах твои ноги во время приступа, мне любо было глядеть. Ни у кого здесь нет таких юно-красивых ног, как твои. Только мои, на свой особый, женский лад, столь же прекрасны. Больше всего меня волнуют твои колени, когда ты жамблируешь и берешь коня в шенкеля.

– Ты, Сибилла, – отвечал он ей, – великолепна сама по себе и без бугурда! При моей мужской стати нужно шевелиться и действовать, чтобы быть великолепным. При твоей, женской, достаточно жить и цвести, ты и так великолепна. Таково самое общее различие полов, не вникая в подробности.

– Мы завидуем, – сказала она, – вашим отличиям, восхищаемся ими и объаты стыдливостью, потому что в бедрах мы шире, нежели в плечах, а стало быть, живот у нас слишком велик, да и *derriere*^[30] слишком объемист. Но я вправе сказать, что ноги мои все-таки высоки и стройны, тут уж не приходится желать лучшего.

– Да, – отвечал он, – ты вправе это сказать и не вправе забывать, что мы, в свою очередь, если не с завистью, то с приятным любованием взираем на ваши отличия. Впрочем, пожалуй, даже и с завистью, ибо где уж

наш цвет? У нас нет ничего ни вот здесь, ни вон там, разве только немного силы, чтобы выкарабкаться из своей невыгоды.

– Не говори, что у тебя ничего нет! Но давай присядем под сводом окна и немного поболтаем о сегодняшнем бугурде: как смешон был граф Киневульф из Нидерлангау, прозванный за малый рост «коротышкой», на своей огромной вороной кобыле и как жеребец господина Кламиде, *fils du comte*^[31] Ультерлека, оступившись, подмял под себя всадника, отчего госпожа Гаршилуа из Бофонтана чуть не лишилась рассудка.

Они последовали ее совету и уселись на скамье под стрельчатым сводом, обнявши друг друга за плечи одетыми в шелк и бархат руками, и время от времени прижимались друг к другу своими красивыми головками. В ногах у близнецов, опустив голову на лапы, улеглась их англоландская собака по имени Ханегиф, славный пес с превосходным чутьем, белый, с чернинкой вокруг одного глаза, захватывавшей ухо. Он тоже делил с ними опочивальню и спал там всегда между их постелями на набитом конским волосом *materas*^[32]. Из окна видны были крыши и башенки замка, а ниже – дорога в долине, окаймленная лугами и желтоцветным кустарником, по которой тихо тянулось стадо толсторунных овец. Сибилла вопрошала:

– Ты, наверно, поглядывал на Алису де Пуату, важничавшую в своем шутовском платье, наполовину из златотканого шелка, наполовину из ниневийского атласа, и в юбке из пестрых лоскутьев? Многие находили ее весьма милостивой.

– Я не глядел на ее напыщенную красоту. Я гляжу только на тебя, женская моя ипостась на земле. Другие – чужая кровь, не однородная, как ты, родившаяся со мной в один день. Я знаю, де Пуату расфуфыривается только для мужчин, подобных великану Хугебольду, и для таких развалин, как господин Рассалиг Лотарингский, для тех, кто выше и вдвое жирнее меня, чуть более толстого, чем прут. Но с чех пор как губы мои опушились темными волосками, у многих дам, когда они глядят на меня, влажнеют глаза. А я, напротив, холоден к ним, *que plus n'i quiers veoir*^[33], чем тебя.

Она говорила:

– Эскавалонский король прислал письмо нашему господину Гримальду и просит у него моей руки, поелику я созрела для брака, а он еще не женат. Я узнала это от моей *maistresse*^[34], от этой де Клев. Нет, ты не вставай на дыбы! Герцог мягко ему отказал, объяснив, что я хоть и созрела для брака, но еще слишком молода и не доросла до звания королевы даже такого неказистого королевства, как Аскалон, и посоветовал обратить внимание на других княжеских дочерей христианского мира.

Впрочем, не ради тебя и не затем, чтобы мы еще пожили вместе, отверг наш отец и государь предложение этого короля. «Я, – написал он, – хочу еще некую толику времени сидеть за трапезой с обоими моими детьми, с дочерью по правую и с сыном по левую руку, а не с одним только мальчишкой да еще с попом насупротив». Вот какую причину имел его refus^[35].

– Неважно, – говорил он, играя ее рукой и рассматривая кольца на ее пальцах, – какая на то причина, лишь бы нас не разлучили в нашей сладостной юности до времени, о коем я знать не желаю, когда оно наступит. Ибо нас обоих никто не достоин, ни тебя, ни меня, и только мыс тобою достойны друг друга, потому что мы совершенно особые дети, рождения столь высокого, что весь мир должен быть с нами *devotement*^[36] кроток. И оба мы отпрыски смерти, и у каждого щербинка на лбу. Это, правда, лишь следы от ветряной оспы, каковая ничуть не лучше, чем почечуй, грыжа и свинка, но дело не в происхождении отметин, они *tout de tete*^[37] знаменательны своею сугубой бледностью. Когда бог продлит век дорогого и любимого господина нашего и отца до предельного срока человеческой жизни, что да будет ему благоугодно, я стану герцогом над Артуа и Фландрией, благословенной землей, ибо по тучным нивам здесь волнами ходят колосья злаков, в то время как по холмам десятки тысяч и более щиплющих траву овец вынашивают руно для отменных сукон, а пониже, к морю, настолько обильно растет на полях лен, что крестьяне, как я слышал, пляшут в трактирах с мужичьей радости, и к тому же вся страна усеяна богатыми городами, что твоя рука кольцами: веселый Ипр, Гент, Лувен и битком набитый товарами Анвер и Брюж *la vive*^[38] у глубокого залива, где из Южного, Северного и Восточного моря непрестанно прибывают и вновь отбывают ломящиеся от сокровищ суда. Горожане разгуливают там в бархате и мехах, но они не учились ни вскакивать на коня без помощи рук, ни целиться пикой в четыре гвоздя на щите, ни сходиться в бугурде, и посему они нуждаются в герцоге, который бы их защищал, а этим герцогом буду я. Но тебя, лучшую из дев, единственную мне под стать, я хочу, когда они будут бросать в воздух шапки, провести рядом с собой через их толпу как сестру-герцогиню.

И он поцеловал ее.

– Мне приятнее, – сказала она, – когда меня целуешь ты, чем когда наш дорогой и достолюбезный государь царапает мне шею и щеку своей ржаво-красной щетиной. Хотя нам следовало бы от души радоваться, если он придет нас проведать, что может случиться с минуты на минуту.

И в самом деле, когда они так сидели и нежно болтали о всевозможных вещах, к ним часто заходил герцог Гримальд, не затем чтобы к ним присоединиться, но чтобы резкими речами прогнать принца и понежничать с принцессой.

– Fils du due Grimald^[39], – говаривал он, – я, никак, застаю тебя, хлыща этакого, у сего прекрасного дитяти, твоей сестры? Что ты заботишься о ней, похвально, и я тебя одобряю за то, что ты ретиво о ней печешься, помогаешь ей и развлекаешь ее, насколько хватает твоего щенячьего разумения. Но, клянусь, пока я жив, я – первый ее защитник, и у меня еще достанет сил постоять за нее, и если ты обольщаешься, думая, что такое прелестное дитя более привязано к брату, нежели к своему полному мощи и здоровья отцу, то на-кась выкуси. Allez avant, вон отсюда! Пойди постреляй по мишени со своим наставником Патафридом! Герцог желает поболтать со своей дочуркой.

А затем старый рыцарь присаживался к ней в нише и оказывал ей отменную *cortésie*, что я, монах, могу представить себе лишь с превеликим трудом.

– Beau corps^[40] у тебя, – говорил он, – и то, что франконцы зовут *florie*, блеск цветенья, – он лежит на тебе, ты с недавней поры чудеснейше им воссияла. Увы, время благоволят к юности, оно дает ей цвести пышнее день ото дня, зато нас, стариков, уродует все больше и больше: и оголяет чело, и посыпает усы сединой. Да, да, дряхлость должна стыдиться младости, ибо она отвратительна! Между тем, *pourtant*, почтенность возмещает красоту, и ты, любимейшая, не вправе забывать, что Гримальд твой отец, которому одному причитается твоя умильная и великая благодарность за то, что он дал тебе жизнь, и который столь рано лишился своей любезной супруги. Что же касается тебя, то нам нужно позаботиться, чтобы ты скоро стала невестой, ибо множество сладостных знаков говорит о твоей зрелости. Я помышляю только о твоём счастье. Но, конечно, я не помирюсь с первым встречным, и мало того, что он должен нравиться тебе, нужно, чтобы и я согласился отдать тебя за него, хотя, по правде говоря, мне, старому рыцарю, никому не хочется тебя отдавать.

Примерно так говорил господин Гримальд, сидя с ней в нише, я воспроизвожу его речь настолько, насколько ее может представить себе монах. На следующий год, когда детям минуло шестнадцать, для отрока Вилигиса наступил праздник посвящения в рыцари – много ли я смыслю в таких вещах? – но на языке света это значит, что молодой дворянин получает право препоясаться рыцарским мечом. Герцог Гримальд сам

посвятил сына в рыцари под крики «виват» и рев боевых рожков, после торжественной обедни у св.Вааста в Арраском замке, в присутствии многих вассалов и кровных, а затем, между двух своих детей, ведя сына правой, а девушку – левой рукой, на глазах ликующей *q̄etune*^[41] знатнейших, спустился с почетного помоста, и новопринятому шевальеру, привыкшему носить только короткий охотничий нож на бедре, приходилось, конечно, следить, чтобы преогромный меч, висевший у него на поясе спереди, не путался меж ногами. А обоим детям думалось, что было бы гораздо лучше, если бы они только вдвоем, рука об руку, ступали по этим мосткам, а отца не было бы между ними.

И поелику Вилигис прошел уже через обряд посвящения в рыцари, то одновременно и на Сибиллу все стали глядеть как на совершеннолетнюю девицу на выданье, и множились притязания на ее руку со стороны гордых князей христианского мира, у которых хватало духу обратиться с таким предложением. Одни писали послания, другие направляли в Бельрапейр благородных сватов, третьи приезжали свататься самолично: старый король Анжуйский привез своего сына Шафильора, придурковатого малого. Граф Шиольарс Ипотентский, гасконский герцог Обилот, Плигоплигери, принц Уэльский, а также государи из Эно и Гасбания, – все они прибывали и красовались собольими оторочками и горностоями, изысканной свитой и учтивыми, кудрявыми речами, каковые они отчасти читали по писанному. Но господин Гримальд отказывал всем, ибо никому не желал отдать Сибиллу, и даже плохо скрывал свою гневную ненависть к соискателям, решительным «нет» возвращая их всех, сколь ни были они деликатны, домой, восвояси.

Юному же Вилигису привиделся о ту пору страшный сон, от которого он пробудился в поту. Ему приснилось, будто отец кружит над ним в воздухе с задранными назад ногами, с медно-багровым от ярости лицом и, встопорщив усы, безмолвно грозит ему обоими кулаками, словно вот-вот вцепится сыну в горло. То было несравненно страшнее, чем получается на словах, и от одной лишь боязни, что сон повторится, ему и вправду приснилось в следующую ночь в точности то же самое, разве только еще страшнее.

Скверные дети

На семнадцать лет, не больше и не меньше, пережил господин Гримальд свою жену Бадугенну, а затем переселился к ней под могильную плиту в Ипрском соборе, но и на могильной плите, высеченные из камня, возлежали они благочестивыми супругами, скрестив на груди свои руки пред господом богом. После кончины жены своей сей государь все непомернее пил кларет и вот однажды действительно побагровел лицом, как привиделось Вилигису, но затем застыл: удар хватил его в висок, и он умер, – поначалу только с правой стороны, так что не мог уже шевельнуть ни одним правым членом и наполовину лишился речи. Только левым углом рта ему еще удавалось кое-как изъясняться. Но и врач из Лувена, и грек Клиас, которого он велел призвать к себе, – оба от него не утаили, что удар вполне может хватить его еще раз, и тогда он неизбежно умрет и слева.

Сказали же это они затем, чтобы он загодя распорядился державой, и, наставленный их откровенным словом, он тотчас же созвал цвет государства, кровных родичей, вассалов своих и дружинников, дабы вверить их попечению свою душу и своих детей и привести их к присяге на верность наследникам, коль скоро уж смерти с ним по пути. И вот, когда они все, родичи и ленники купно с детьми, собрались у его одра, на коем он покоился куда как обезображенный, ибо одно его око было закрыто, а щека обмякла в параличе, он молвил им елико мог внятно:

– Seignurs barons^[42], воспримите мою речь так, словно бы я произнес ее неущербными губами, ибо, к сожалению, я способен лишь прощамкать ее уголком рта. Не взыщите. Смерть схватила меня и уже трубит надо мной в cornure de prise^[43], дабы освежевать в могиле благородного оленя. Тяжким ударом она сковала меня наполовину, но того и гляди свалит меня вконец; об этом без обиняков оповестили меня мои лекари, чем и явили свое врачебное искусство. Стало быть, мне суждено удалиться из этого садка червей, из этого гнусного волчатника, в которое ввергло нас преступление Адамово и который я тем более готов хулить, поелику должен покинуть его, надеясь ради мученических ран господних войти in portas паридиза, во врата рая, где обо мне денно и ночью станут пещись ангелы, тогда как вам придется еще чуточку помешкать в этом садке червей. Посему незачем обо мне убиваться! Лучше, seignurs barons, припомнить тот час, когда вы клялись быть моими вассалами и влагали свои простертые длани в мои. В том же поклянитесь и моему сыну, когда я

совсем умру, и вложите в его длани свои, хотя, может быть, и смешно, чтобы он вас защищал, ибо скорее уж этот молокосос нуждается в *вашей* защите. Оказывайте ему таковую, сродники и сеньеры, не за страх, а за совесть, и блюдите верность моему дому, дабы он и впредь пребывал в мире и благоденствии!

Когда он наставил так своих подданных, он обратился к Вилигису и молвил:

– У тебя, сыне, меньше, чем у кого бы то ни было причин убиваться, ибо корону, скипетр и земли, доставшиеся мне по наследству, я ныне оставляю в наследство тебе, хотя и крайне неохотно, и ты вдосталь вкусишь почестей в этом волчатнике, который я покидаю. За тебя я спокоен, но тем беспокойнее мне за сие прекрасное дитя, сестру твою. Слишком поздно убеждаюсь я в том, что не позаботился об ее будущем, и осыпаю себя за это упреками. Vere, vere^[44], так не подобало вести себя отцу! И пред тобой, знаю, я тоже до некоторой степени провинился, вызвав своей привередливостью при выборе супруга для этого чудесного ребенка великое недовольство нашим домом у многих князей. Не могу искупить промаха своего иначе, чем наилучшим отцовским напутствием, которое, пред лицом баронов моих, даю тебе напоследок, пока еще могу говорить, хотя бы только левою половиною рта.

И он сказал ему все, что некогда говорил ему его собственный отец, что старо, как мир, и что, по его мнению, приличествовало сказать в такой час.

– Будь совестлив и честен, – говорил он, – не алчен, но и не излишне щедр, смирен в гордыне, приветлив к людям, но никак не в ущерб благородной чинности, со знатным тверд, с просящим подаяния кроток! Чти близких своих, однако и чужих старайся расположить и привлечь к себе. Предпочитай общество умудренных годами старцев обществу молодых глупцов! Более всего люби бога и следуй его закону. Таковы общие советы. Но как душу свою поручаю тебе вот эту твою прекрасную сестру, чтобы ты был ей защитником и братом и не покидал ее дотол, пока не найдешь ей, и притом поскорее, равного по рождению супруга, что я, увы, затруднил своей греховнейшей привередливостью. Князья, которые уже добивались ее руки, они не вернутся, ни граф Шиольарс, ни князь Плигоплигери, ни остальные, ибо я был с ними куда как необходим. Однако на свете еще много христианских государств, главы коих покамест не домогались ее, и ее прекрасные глаза, черные с синим отливом, ее прелестные ноздри, цветущее тело и не в последнюю очередь богатое приданое, что я ей положил, привлекут еще, смею надеяться, не одного

знатного жениха. Но и ты тоже поспеши вступить в брак и родить сына, которому сможешь оставить владычество над Артуа и Фландрией. Кое-кто из стоящих здесь сродников, вижу по их глазам, только и ждет, чтобы прекратилось прямое наследование. Говорю так потому, что умирающий волен молвить правдивое слово. При дворах, греховно мною обиженных, искать тебе нечего. Но ведь есть еще много других в Британии, в Пармении, Эквитании и Брабанте, да и в немецких землях. Однако вот уже левая щека моя заболела от долгих речей, и мне пора на покой. Да пребудет с вами милость господня! Прощайте!

После того как он это сказал, господин Гримальд прожил всего только несколько дней; затем удар хватил его вдругорядь, и он умер уже совсем: неподвижный и желтый, подобно восковым свечам, что горели по обе стороны его высокого одра, лежал он в герцогском уборе, к таковому, впрочем, совершенно безразличный, как и к земной жизни вообще, принадлежа вечности, в часовне замка, пока его не доставили к жене, где монахи всю ночь молились возле него за его душу. Да, я скорблю и сокрушаюсь об этой ночи, когда герцог Гримальд, едва умерший и телом еще не ушедший, хотя и усопший, больше не пребывал как отец между сестрою и братом. Ибо по злему наущению сатаны и к омерзительной его радости, каковую они обманчиво приняли за свою собственную, в ту же самую ночь брат спознался с сестрою как муж с женою, и спальня их, наверху, в донжоне, вокруг которого кружили совы, вместила столько нежности, скверны, ярости, крови и бесчестия, что от жалости, стыда и печали сердце мое разрывается и я почти не в силах вести рассказ.

Они оба лежали нагие под одеялами из мягкого собольего меха, в тусклом свете лампы и в благоухании амбры, обильно разбрызганной по их кроватям, каковые, по скромному обычаю, стояли поодаль одна от другой, а между ними, свернувшись калачиком, дремал Ханегиф, добрый их пес. Дети, однако, не могли уснуть и лежали с открытыми глазами или же изредка насильственно опускали веки. Как обстояло дело с барышней, не знаю, но Вилигис, взволнованный смертью отца и собственной долей, стонал и терзался под стрекалом сатаны, так что наконец не выдержал, выскользнул из постели, босиком обошел Ханегифа, тихонько приподнял одеяло Сибиллы и лег, богопротивный, к сестре, осыпая ее тысячами нечестивейших поцелуев.

Она говорила шутя, не на шутку задыхающимся голосом:

– Что я вижу, господин герцог, какую высокую честь оказали вы мне своим нечаянным посещением! Чему я обязана столь приятной возможностью ощущать телом ваше милое тело? Я была бы рада и

счастлива, если бы только совы не кричали так жалобно возле башни.

– Они всегда кричат.

– Но не так жалобно. Наверно, это потому, что вы не даете покоя своим рукам и столь странно со мною боретесь. Что означает, брат мой, сия борьба? Вот уже твое сладостное плечо у меня на губах. Почему бы нет? Мне это приятно. Только не старайся разнять мои колени, которые всенепременно должны быть сомкнуты.

Внезапно пес Ханегиф сел на задние лапы и жалобно заскулил, задравши морду к балкам потолка, точь-в-точь как если бы был на луну, – протяжно, раздирая душу и сердце.

– Замолчи, Ханегиф! – воскликнул Вилигис. – Он разбудит людей! Замолчи и ложись, чудовище! О бестия дьявольская, если ты не угомонишься, я заставлю тебя замолчать!

Но Ханегиф, обычно такой послушный, продолжал выть.

Тогда юный герцог, опрометью вскочив с постели, в неистовом бешенстве схватился за свой охотничий нож, перерезал собаке горло, так что она с хрипом издохла, швырнул нож на труп, орошавший кровью песок на полу, и хмельной воротился к месту сугубого срама.

О горе, славный, добрый пес! По-моему, то было наихудшее из всего, что случилось в ту ночь, и я скорей уж простил бы другое, сколь оно ни богомерзко. Но, видно, тут сошлось одно к одному, и нельзя порицать что-то больше и что-то меньше, когда пред тобою единый клубок любви, убийства и похоти, такой черный клубок, что упаси всевышний и сжался над ними. Я, во всяком случае, исполнен жалости.

Сибилла прошептала:

– Что ты сделал? Я не глядела, я закуталась с головой в одеяло. Стало так тихо вдруг, и ты немного влажен.

Он говорил, запыхавшись:

– Ничего, Анаклет, мой телохранитель и паж, верен мне и любит меня. Он поутру наведет порядок, похоронит собаку и заметет следы. С нас никто не вправе спрашивать. С того часа, как умер Гримальд, – никто, о сестра-герцогиня, мой милый двойник, моя возлюбленная!

– Опомнись, – лепетала она, – он только сегодня умер, он лежит внизу, окоченелый и обряженный. Оставь меня, ночь принадлежит смерти!

– Из смерти, – говорил он заплетающимся языком, – мы родились и есмь ее дети. Во имя ее, о милая невеста моя, отдайся твоему брату во смерти и одари его тем, чего как желанной цели алчет Любовь.

Затем они бормотали слова, которые уже нельзя было понять, да и не следует понимать:

– Nen frais pas. J'en duit.^[45]

– Fai le! Manjue, ne sez que est. Pernum co bien que nus est prest!^[46]

– Est il tant bon?^[47]

– Tu le saveras. Nel poez saver sin gusteras.^[48]

– О Вилло, ну и громадина! Ouwe, mais tu me tues!^[49] О, стыдись! Совсем как жеребец, как козел, как петух! О, прочь! Прочь, прочь! О ангелок мой! О небесный мой мальчик!

Бедные дети! Как хорошо, что я всегда стоял в стороне от любви, от этого неверного сполоха над трясинной, от сладостной сатанинской пытки. Так дошли они до конца, диаволу на утеху. Тот утер свою пасть и сказал: «Ну вот, дело сделано. Можете преспокойно повторить его и продолжать в том же духе». Так уж он всегда говорит.

Наутро молодой Анаклет, слепо преданный своему господину, привел в порядок опочивальню и, никем не замеченный, убрал труп верного Ханегифа. Но каким внешним был этот порядок и как непорядочно сложилась жизнь заблудшей пары, брата и сестры, которым я сочувствую, хотя и не могу их простить, и которых вождение приковало друг другу, разумеется, еще крепче прежнего. Безмерно любили они друг друга, и вот почему, да простит меня бог, я не в силах вполне избавиться от сочувствия этим несчастным.

Принято говорить: «Кто в постель забрел, тот и право обрел», – но что было обретено здесь, кроме неправедности да неслыханной извращенности! Давно повелось, что совокупление подчас предваряет обряд и свадьбу, но здесь после соития помышлять об обряде и свадьбе было бы чистым безумием, и Сибилла, потеряв девственность, по-прежнему не смела подбирать свои волосы по утрам и надевать повязку замужних женщин. Простоволосая, она лживо носила девичий венец, порванный ее собственным братом, когда шествовала рядом с ним перед сонмом подданных при погребении господина Гримальда и на празднике вассальной присяги. Множество роскошных шатров с трехцветными бархатными крышами (если скинуть кожаные чехлы, покрывавшие их в ненастье) разбила тогда на лугу у Арраса, и тьму-тьмущую шестов, больше, чем деревьев в Шпесском лесу, водрузили тогда на равнине, увешанных гербовыми щитами и пышными знаменами. Немало старых рыцарей вложили тогда свои длани в тонкие руки молодого грешного герцога Вилигиса и склонились перед девою-герцогиней, хотя лучше было б ей схорониться в пепле и прахе. Но она держалась иного, странного мнения, каковое и поведала своему блудному супругу, – будто та, которая

принадлежала лишь собственному брату, не становится женщиной в обычном смысле, но все еще пребывает в девах и по праву носит венец.

При этом они продолжали жить в непотребном браке месяц за месяцем, и не было похоже, чтобы кто-либо из них помышлял о брачном союзе, как то наказывал им отец. Слишком пылко любили они друг друга и рука в руке, герцогскою четой, шествовали к трапезам, а пажи с прискоками двигались впереди. Однако последние, и даже сарацины, уже перемигивались, и так как печальная смерть Ханегифа тоже не осталась незамеченной, то по двору пошли толки и пересуды, каковые подчас прорывались в смелых речах. К примеру, господин Виттих, рыцарь с кривым плечом и злым языком, заявил за трапезой, что герцог Вилигис непременно стяжает себе славу поимкой единорога, когда тот задремлет у лона его невинной сестры. При этих словах не по-здешнему бледная молодая госпожа стала еще чуть бледнее, а ее брат позабыл вовремя спрятать кулак под столом: все видели, как судорожно сжалась его рука на камчатной скатерти и побелели костяшки пальцев.

Господин Эйзенгрейн

Когда же миновало несколько месяцев, герцог заметил великое смятение и оторопелость, а равно и маяту своей желанной, и привычка ее, сходная с его собственной, глядеть искоса, словно прислушиваясь, стала неизменной и постоянной, так что по-другому она, казалось, уже и глядеть не могла, и тонкие губы ее бывали при этом испуганно отверсты.

– Что с тобой, радость моя, возлюбленная, единственная, что пугает тебя?

– Ничего, ступай.

Однажды он застал ее припавшей к столу: схоронив руками лицо, она горько рыдала.

– Сибилла, теперь наконец скажи мне все! Я не вынесу долее твоей тоски, я терзаюсь мыслями об ее причине, которой не вижу и на которую при всем желании я не в силах напасть. Умоляю тебя, откройся мне!

– Ах, дурачок! – отвечала она, вспыхивая и едва отрывая лицо от рук. – Ах, глупыш! Сладостный ночью, но глупый-преглупый днем! О чем ты спрашиваешь? Ведь только одно повергает меня в отчаяние и в адский ужас, а тебе и невдомек. О Вилло, как ты посмел утаить от меня, что и через собственного брата можно действительно сделаться женщиной и стать матерью? Я этого не знала, да и никак не считала возможным. Но вот это объявилось или, если еще не объявилось, то очень скоро обнаружится, даже при самых широких и сборчатых платьях, и мы оба, мы все трое, погибли.

– Как, неужели ты...?

– Ну конечно! Зачем спрашивать? Я уже давно такая и в муке ношу свою тайну и твой плод. E! Deus, si forz pechiez m'appresset!^[50] Вилло, Вилло! Если ты знал, что девушка может обрести благословенное чрево без венчанья и мужа, только через брата, ты причинил мне великое зло, как и себе самому, как и нашему чаду, которому нет ведь иного места в обширном мире господнем, кроме как в моей любви. Ибо я уже люблю его в его отверженности и невинности больше всего на свете, хотя оно, бедное, и есть горькая наша кара. Но как не знала я, что можно обрести благословенное, вернее, проклятое чрево чрез брата, так и не ведала я, что можно возлюбить кару свою. Отныне я только и буду делать, что молиться, чтобы бог смилостивился над нашим дитяtkом, хотя бы мы оба были обречены гореть в аду!

Дрожа и бледнея, юный святотатец упал перед пей на колени и смешал с ее слезами свои. Ища прощенья, целуя ей руки, он прижал ее мокрую щеку к своей, и так как голос его по младости лет еще ломался, то слезная речь его звучала куда как жалостно.

– Ах, горемычнейшая, любимейшая, любезнейшая, – плакал он, – как сокрушается сердце мое о тебе, о твоей печали и о моей великой вине! Прости, прости меня! Но коли ты меня и простишь, какая я кому от этого помощь? Если бы мы вовсе не родились, не родилось бы и это запретное и бесприютное в мире дитя, что лишает и нас приюта под солнцем и делает невозможным наше существование на свете! О тебе, возлюбленная, сокрушается мое сердце, хотя тебе, в отчаянии твоём, некоторым образом легче, чем мне. Ибо ты способна любить наказание наше материнской любовью, тогда как я не способен любить его, а способен лишь проклинать. Какое злосчастье! Двадцать лет и более суждено было Бадугенне в праведном браке с Гримальдом ждать нашего появления, мы же сразу и столь жестоко благословлены отпрыском! Неужто ж греху так не терпится плодоносить? Я не знал, что грех настолько плодovit, не знал, как и ты! А уж чтобы грех гордыни тотчас же понес плод и чтобы такова была природа греха, я, право же, никак не предполагал! Ведь в гордыне, о горемычнейшая и любимейшая, состоял наш грех, в том, что мы никого в целом свете знать не желали, кроме самих себя, столь избранных и особых детей. Но долю вины, да будет сие сказано с надлежащим почтением к нему, несет и господин Гримальд, покоящийся в могиле, не только потому, что он произвел нас на свет, но и потому, что он весьма по-рыцарски обходился с тобою, радость моя, и часто ревниво прогонял меня от тебя, а это и погнало меня к тебе в постель. Ах, к чему все мои слова? С кем бы мы ни делили свою вину, мы оба обречены – здесь на позор, а там на адский огонь.

И он снова заплакал безмолвно.

Тогда она перестала плакать и сказала:

– Герцог Вилигис, мне неприятно видеть вас хнычущим. Умеете быть мужчиной ночью, да еще как, – будьте же им и днем! Женское хныканье не может помочь в нашем положении, которое столь ужасно, что тут, пожалуй, ничто уже не поможет, но и в таком положении надлежит что-то предпринять, хотя бы только во имя нашего невинно проклятого дитяти, этого плода гордыни, коему нужно сыскать место на земле и на небеси, коль скоро уж мы погибли и здесь и там. Посему ободрись и размысли!

Устыженный, он вытер глаза и щеки носовым платком и возразил:

– Я готов это сделать, и мне хочется быть мужчиной, днем тоже. Я

плакал вместе с тобой и разглагольствовал при этом о распределении вины и несправедливом распределении плодovitости. Но вполне возможно плакать и размышлять одновременно, и, ведя свои речи, я про себя придумал выход, или понеже таковой вряд ли у нас имеется, то, скажем, вывод из нашего злосчастливого и безвыходного положения. Он может быть только суров, но сделать его нужно, причем мы не можем сделать его сами, разве что выбросившись втроем из самой верхней бойницы нашего донжона прямехонько в ад. Или, по-твоему, мы должны действовать самостоятельно?

– Ни в коем случае. Я же сказала тебе, что ребенку, которого я вынашиваю вот здесь, нужно сыскать место на земле и на небе, а не в аду.

– Стало быть, мы должны открыться и, хотя слова не хотят слетать с наших уст, так пагубно прикинув друг к другу, пересилить молчанье и во всем признаться. Я подумал уже, не следует ли нам в храме, стена и запинаясь, рассказать о случившемся нашему попу на ушко, дабы он дал нам наставление свыше. Сие, однако, лучше, пожалуй, сделать потом, ибо сдается, что светское наставление насущнее здесь, чем поповское. И вот – известен мне в землях моих один мудрый, надежный муж, господин Эйзенгрейн, *cons du chatel*, мой гюрвенал и *maistre de corteisie*, у кого я учился ловитве, и легкой посадке при верховой езде, и всем правилам рыцарства. Да и вообще он давал мне немало добрых, праводушных наставлений, хотя я не очень-то его жаловал как раз потому, что он был так праводушен и тверд, и еще потому, что я знал, что наш отец, господин Гримальд, часто призывает его на совет. Но хотя великое его праводушие немного меня раздражало, доверие мое к нему было всегда столь же непоколебимо, как он сам. У него серые, как лед, глаза, светящиеся из-под густых бровей добротой и умом, и короткая седая борода, и шагает он твердой поступью, а на камзоле его вышита львица, кормящая агнца, геральдический зверь с его герба, символ силы и христианского духа. Ему-то мы и поведаем свои печали. Пусть он укажет нам суровый вывод, который надобно сделать, исходя из нашего положения, пусть даст совет и рассудит, как быть нам, горемычным, на этом свете. Ежели я пошлю к нему, в его приморскую крепость, своего Анаклета с настоятельным призывом, он не замедлит явиться.

Невозможно вообразить, как утешило Сибиллу в тот миг предложение брата. Хоть оно покамест нимало не изменило и не улучшило их отчаянных обстоятельств, но деве, столь чудовищно благословенной, все-таки казалось, будто самый отъезд гонца уже означает выход из ее беды, и так же смотрел на это ее не в меру любимый брат, а посему они с поднятой

головой, рука в руке, шествовали к трапезам вослед за прискакивавшими пажам. Кстати, они не обманулись в вассальной верности господина Эйзенгрейна, ибо не прошло и двух недель, во время коих нечистый плод в лоне юницы произрос еще более, как рыцарь Эйзенгрейн, сопровождаемый Анаклетом, миновал бельрапейский мост, снял во дворе доспехи с помощью слуг и поднялся в опочивальню, где с надеждой и робостью ожидали его грешник и грешница.

Вид у него был в точности такой, как, напомним ради, описал своей возлюбленной Вилигис, и на камзоле его красовалась львица, кормящая агнца. Дородный и осанистый, он переступил порог, поздоровался по-отцовски почтительно и спросил, каковы будут приказания герцога. Тот, однако, молвил тихим, прерывающимся голосом:

– Дражайший барон и гюрвенал, мне нечего вам приказывать, но я и вот эта прекрасная сестра моя – мы можем только просить, даже молить вас, молить о совете и мудром наставлении, молить, чтобы вы с присущей вам твердостью извлекли тот вывод из крайне затрудняющих нас обстоятельств, который не способна извлечь наша малодушная молодость. Ибо затруднение сие таково, что честь нашу можно считать погибшей, если только бог не просветит вашу верность добрым советом и не вразумит вас порешить о нас во спасение наше. Вот мы пред вами!

При этих словах оба, как условились ранее, упали перед ним на колени и со слезами простерли к нему руки.

– Любезные высокородные дети, – молвил рыцарь, – храни вас бог, что вы вздумали! Подобного рода приветствие смутило бы меня, даже будь я вам ровня. Прошу вас, объясните мне, в чем дело! Ты же, герцог, изъяви свою волю, которой я никогда не стану перечить! Коли она в том, чтобы открыть мне вашу заботу, – ну что ж, я твой слуга, и что в моих силах, то в твоих силах, в этом не сомневайся. Итак, говори!

– Но мы не встанем, – отвечивал юноша, – пока не откроемся, ибо стоя этого вовсе нельзя сказать.

И весьма по-рыцарски он стал говорить за обоих, так что Сибилла могла не раскрывать рта и только стоять рядом с ним на коленях с низко опущенной головой, – он рассказал все, что было и что, даже упав на колени, нелегко рассказать: запинаясь, а подчас и совсем беззвучно, слетали слова с его сопротивлявшихся губ, и господину Эйзенгрейну приходилось не раз наклонять ухо, из которого рос большой седой клоч, чтобы внимать речи юноши. Когда тот наконец умолк, старый воин держался как нельзя лучше. Не могу на него нахвалиться и хочу от души поблагодарить его здесь за его поведение. Хороший это был человек! Не

стал он кричать «караул» и «разбой», не разразился проклятьями, не свалился без чувств, но молвил:

– Да, худо, ох, как худо! О любезные высокородные дети, как все это худо! Вы, стало быть, и впрямь совокупились друг с другом, так что в животе у сестры произрастает плод брата, и сделали вашего покойного отца вашим же тестем и свекром, а равно и дедом на самый постыдный лад. Ибо то, что ты вынашиваешь, принцесса, это его внук по слишком уж прямой линии. И хотя он всегда воздыхал о непрерывном наследовании, таковое прервано настолько, что о наследовании здесь вообще уже не может быть речи. Я вижу, вы плачете оттого, что боитесь грозящего вам позора. Но вполне ли вы разумеете, что учинили вы в мире, вот что мне хотелось бы знать. Учинен величайший беспорядок и застой в природе, так что ей не легче тут разобраться, чем вам самим. Все живое, по воле божьей, должно плодиться и размножаться, вы же заставили ее топтаться на месте и произвели третий брато-сестринский плод, или как там назвать эту застойную жизнь. Ибо, коль скоро отец есть брат матери, он есть дядя ребенка, а мать, коль скоро она отцова сестра, приходится ему теткой и безумно вынашивает в лоне своем племянничка или племянницу. Вот какой беспорядок и смуту внесли вы, неразумные, в мир божий!

Вилигис, который между тем встал и пособил подняться сестре, ответил:

– Гюрвенал, мы это понимаем. Мы и сами, но еще лучше с помощью ваших слов, понимаем всю пагубность происшедшего. Но во имя Христа, господине, посоветуй, как нам быть, ибо в этом мы несказанно нуждаемся. Скоро сестре придет время разрешиться ребенком, а где ей родить, чтобы не обнаружилось, что мы сделали сей шаг на месте? Что до меня, то я, не желая упреждать вашего решения, размышляю, не следует ли мне покамест, скрытности ради, удалиться от нее за пределы страны.

– За пределы страны? – спросил господин Эйзенгрейн. – Это, господин герцог, сказано очень уж мягко, ибо в окрестных христианских державах нет для вас места при таких обстоятельствах. Но дайте-ка мне подумать!

И он задумался с весьма сосредоточенным видом.

– Да, я знаю, что посоветовать, – молвил он наконец. – Но совет свой я выскажу только при том условии, что вы заранее обещаете последовать ему без всяких уверток и проволочек.

Они сказали:

– Мы обещаем.

– Вы, герцог, – заговорил тогда рыцарь, – должны призвать ко двору всех, кто вершит делами в вашей стране, молодых и старых, кровную

родню, вассалов и дружинников, всех советчиков вашего родителя – словом, весь цвет державы и объявить нам, что вы во славу божью и ввиду грехов ваших (я говорю «грехов», а не «греха») решили взять на себя крест и совершить паломничество ко гробу господню. Затем просительно потребуйте от нас, чтобы мы все принесли вассальную присягу вашей сестре, дабы она управляла страной в ваше отсутствие, хотя бы вы и навсегда нас покинули. Ибо походы и невзгоды состоят в близком родстве, и вполне возможно, что вы не вернетесь и в походе загубите свое тело, согрешившее против господа бога, чтобы тем скорее была помилована ваша душа. В этом случае, который я наполовину приветствовал бы, наполовину оплакивал (на поверку – чуточку больше оплакивал бы), присяга на верность оказалась бы особенно необходима, чтобы повелительницей нашей стала сия женщина. Пред лицом всех баронов вам надлежит поручить ее моей верности и опеке, что должно снискать их одобрение, ибо среди них, по воле всевышнего, я самый уважаемый и богатый, поелику владею всеми полями льна окрест Рулера и Тору. Деву же я возьму к себе и к жене своей в наш замок и – это я обещаю – предоставлю ей все удобства родить своего племянничка или племянницу в полнейшей тайне. Заметьте, я не советую, отнюдь не советую, чтобы она из-за содеянного ею греха отрешилась от мира, отеклась от земных благ и укрылась в монастыре. Искупить свой грех и позор у нее будет куда больше удобств, если ее доброта и ее добро не разлучатся и она сможет одарять бедных и тем и другим. Лишись она добра, у нее осталось бы одно добротолубие, а много ли толку в добротолубии без добра? Почти так же мало, как и в добре без добротолубия. Нет, я за то, чтобы она сохранила и добро и добротолубие, ибо с помощью добра своего она сможет явить и добротолубие. – Угоден ли вам совет мой?

– Он угоден нам, – отвечал юноша. – С присущей вам твердостью вы сделали сколь должно суровые и сколь возможно мягкие выводы из нашего положения. Вечная вам благодарность!

– Но что, – вопрошала Сибилла, – станется с милою карой моей, с ребенком моего брата, когда я рожу его под вашей защитой?

– Сие более поздний вопрос, – ответствовал господин Эйзенгрейн, – сначала достигнем моста, а потом уже через него переправимся. Я и так дал вам с ходу кучу советов. Вы не вправе требовать, чтобы я решил все задачи сразу.

– Мы, конечно, не станем этого делать, – заверили его дети. – Вы и так уже, добрый наш господин, решили многое! Да, вы поистине подобны львице, к сосцам которой припали мы, агнцы.

– Да, по мне вы доподлинные агнцы, – молвил он не без горечи. – Но так и быть! За дело! Ты, герцог, разошли гонцов! Как можно скорее нужно объявить вашу волю и просьбу баронам. Вам, – нет, всем нам троим или четверым, – нельзя терять времени!

Госпожа Эйзенгрейн

Сколь часто, повествуя об этих скверных детях, вспоминал я других брата и сестру: учителя нашего, *divum Benedictum*^[51], сына Евпроба, и его милую Схоластику; благолепно и свято жили они вместе в долине вблизи Сублаквия, покамест сатана не прогнал их оттуда низкой уловкой. Ибо он привел семь отменно красивых гетер к ним в монастырь, отчего многие из его учеников (не все, но, повторяю, многие) поддались плотскому вожделению. Брат и сестра, разумеется, бежали и, сопровождаемые тремя вранами, пустились в суровое странствие, они обращали в истинную веру всех язычников, что им еще встречались, ниспровергали алтари идолов, и под одобрительные возгласы Схоластики святой ее брат разрушил последний храм лирника Аполлона. Вот она, христианская братская любовь: неразлучны и ангелоподобны! Я же рассказал о любви столь греховной! Не лучше ли было мне с благочестивой обстоятельностью изложить историю Бенедикта и Схоластики? Нет, по доброй воле избрал я настоящую повесть, ибо та свидетельствует только о святости, эта же – о беспредельной и неисповедимой милости господней. Повинюсь, – я питаю известную слабость – не к греху (избави господи!), но к несчастным сим грешникам, более того, я смею полагать, что и учитель наш, хотя он, естественно, бежал из долины Сублаквия по ее осквернению, тоже не отказал бы им в некотором сострадании. Ибо ему довелось отправиться в суровое странствие вместе с милой сестрицей, тогда как моему грешнику выпал жребий (признаю его неизбежным) разлучиться со своею сестрою, – а ведь они сызмальства были нежно привязаны друг к другу, и пагубная страсть только тесней их сплотила, что вообще-то не должно увеличивать моего сострадания к ним, но все-таки его увеличивает, – и вдвоем со своим Анаклетом начать поход в священную неопределенность, настолько чреватую невзгодами, что его возвращение было хоть и священным, но довольно-таки неясным делом.

Бледные как смерть, они дрожали всем телом, когда расставались друг с другом. «Прощай, счастливого пути!» – сказали они друг другу, так и не осмелившись еще раз поцеловаться. Не впади они прежде в грех, они могли бы слиться в поцелуе, но ведь тогда Вилигису и вовсе не надо было бы уезжать. Он сказал:

– Ребенка нашего, братца или сестру, я куда как хотел бы еще увидеть воочию. Мне все представляется очаровательное дитя.

– Бог весть, – отвечала она ему, – что порешит об этом наш ангел, господин Эйзенгрейн, когда мы дойдем до моста. – Но вот что, Вилло, я тебе обещаю: я не буду принадлежать ни одному мужчине, кроме тебя. Наверно, я и не смею принадлежать, но прежде всего не хочу.

До этого, разумеется, состоялась встреча местных баронов, и герцог произнес предписанную ему речь. Как он ни молод, сказал он, у него накопилось уже столько грехов, что душе его крайне необходимо паломничество ко гробу господню, и на время его отсутствия, долгого ли, короткого ли, вассалы должны принести присягу его сестре как своей повелительнице. Сестру же он поручает гюрвеналу, господину Эйзенгрейну, поручает ее верности этого самолучшего, чтобы он был ей опорой и она правила страной из его приморской крепости.

Однако с вассальной присягой дело обстояло не так-то просто, ибо немало толков и пересудов ходило насчет девицы и ее брата, и многим баронам вовсе не улыбалось выполнить просьбу герцога и признать принцессу своей повелительницей. Но господин Эйзенгрейн пустил слух, что каждого, кто воспротивится воле герцога, он вызовет сразиться в тйосте на длинных пиках и коротких мечах и никому не даст пощады. А так как тело у него было железное и еще никто не вышибал его из седла, то они поразмыслили и присягнули все как один. И он повез свою подопечную через страну к морю, в свою крепость, сопровождаемый всадниками спереди и сзади, и Сибилла, бледная, овдовевшая и осиротевшая, покачивалась Между лошадьми в мягком паланкине, а господин Эйзенгрейн, при оружии, ехал рядом с нею верхом, грозно озираясь и смело упершись рыцарским кулаком в бедро.

Нельзя не возблагодарить господина за то, что он послал ей такого сильного и умного покровителя, какие бы еще страдания ей ни предстояли и как ни была она несчастна уже теперь. Бедняжка! Я чернец, я ни к чему не прилепился сердцем на этой земле, я, так сказать, закален против счастья и против страданья и, опоясанный цингулом, неуязвим для судьбы. Потому-то дух повествования и выбрал меня своим сосудом, чтобы я помог горю бедняжки и возвеличил ее бледное страданье своею повестью, хотя бы само по себе оно отнюдь не было достойно возвеличиванья. Тяжко далось влюбленным прощанье. Им, с их серповидными отметинами на лбу, с ребенком брата в лоне сестры, не пристало бы разлучаться. Дева была бледна отчасти из-за беременности, отчасти же и главным образом – оттого, что у нее вырвали сердце, ибо сердце ее пребывало с паломником. А его сердце, в свою очередь, пребывало с нею, хотя было крайне необходимо ему самому, чтобы вместе с Анаклетом пробиться через просторы земные,

полные разбойников, диких чудовищ, зыбких болот, недобрых лесов, сыпучих камней, стремительных вод, и достичь массилийской гавани, откуда они собирались, наняв корабль, отплыть в Святую землю. И юноше и девице – обоим было горше, чем когда-либо может быть мне, препоясанному. Но девице моей, признаю, приходилось все-таки чуточку легче, ибо она готовилась родить, и посему она известным образом глядела в лицо жизни, а он – только лишь в лицо смерти.

В замке же господина Эйзенгрейна, в низине, близ рокочущего моря, Сибиллу приняли так хорошо, так ласково, так приветливо, с такой деликатностью, с таким, позволю себе сказать, сведущим участием к ее обстоятельствам, что лучшего и пожелать невозможно. Ведь господин Эйзенгрейн отлично знал, к кому он везет прекрасную грешницу – к своей жене, даме Эйзенгрейн, матроне, которая по-своему заслуживает такого же восхваления с моей стороны, как и ее супруг. Ибо таилось в ней нечто совершенно особенное и притом образцовое: если он являл собой образец недюжинно твердого и сильного мужчины, то она была женственна паки и паки, нравом и помыслами, и деятельно, всею душою, радела о женской доле, – пожалуй, кроме бога (она отличалась благочестием и носила на своей высокой, как гора, груди большой крест черного янтаря), ее занимало только то, что касается женского бытия, женского ложа, в благочестивейшем смысле, особенно, надо разуместь, тяготы беременности и священно-многострадальная женская плодовитость, прекращение месячных, тяжелое чрево, и тошнота, и странные прихоти, и шевеленье в утробе, и схватки, и роды, и торжественный стон, и рожденье, и послед, и блаженный вздох, и горячие пеленки, и омовенье покрытого слизью младенца, которого она крепко шлепала прутиком и держала за ножки, вниз головкою, если он не хотел сразу же кричать и жить.

Вот чем, как сказано, была одержима дама Эйзенгрейн, однако в стенах замка, среди челяди, ей не хватало событий подобного рода, и владетельная госпожа навевалась даже к крестьянкам окрестных, сеявших лен деревень, чтобы искусно помочь им в родильный час. Она сама шесть раз рачительно становилась матерью. Четверо ее детей умерли еще во младенчестве, о чем (и это меня удивляет) она скорбела гораздо меньше, чем радовалась, производя их на свет. Произвести на свет – это, сдается мне, и было для нее самое главное. Один из ее возмужавших сыновей погиб в поединке, другой, женатый, жил в собственном замке. И, не способная более зачать, она коротала свой век вдвоем с господином Эйзенгрейном, горестно вспоминая те времена, когда в почетной женской страде могла благоговейно водить по округлой утробе белой рукой. Высока

была ее грудь, но живот уже не вздымался, и тем ближе к сердцу принимала добродетельная женщина чужую плодовитость, весть о которой всегда наполняла ее водянисто-голубые глаза (она родилась в Швабии) теплым светением и зажигала розоватый румянец на ее славных, покрытых пушком щеках. Давно уже такие утхи стали для нее редкостью, а несколько месяцев и вовсе не приключались, так что прибытие Сибиллы и тайна, поведанная ей супругом, немало ее всполошили. Как помирилось ее любочестие с неподобающим и нелепейшим состоянием гостя, того не ведаю. Вероятно, всякое материнство, каким бы безумным путем оно ни осуществилось, представлялось ей священным и благодатным деянием Всеблагого, взывающим к ее неистовой приверженности ко всему женскому, к ее почти жадной готовности пособить будущей матери.

Как родная мать, разве лишь усерднее и горячее, воспеклась о скорбной герцогине госпожа Эйзенгрейн. Она тотчас укрыла ее от своей дворни в отдаленной опочивальне, где Сибилла, не зная ни в чем недостатка, стала достолюбезной пленницей хозяйки замка, которая одна ее только и навещала, кормила и холила, выслушивала и ощупывала, и пыталась утешить бледную, уже на сносях, принцессу, когда та плакала о странствующем, о погибшем, о единственном, кого она любила.

– Ах, матушка Эйзенгрейн, где мой желанный, мой единственный, брат мой? Как справиться с мыслью, что мы разлучены в этом мире? Нет, я не свыкнусь! Не удваиваю ли я грех свой, не усугубляю ли я проклятья тем, что плачу о нем? Ах, я ношу ведь под сердцем семя плоти его и жизни, принятое мною в его объятьях! Совы кричали, Ханегиф лежал в крови, и в постели тоже пролилась кровь. Зато как сладостна была его близость, когда я ощущала губами его прекрасное плечо и он сделал меня пусть не женою, но женщиной!

– Оставь, – говорила тогда дама-прислужница, – пускай себе едет! Как только они сделали нас женщиной и внесли свою лепту, пускай убираются на все четыре стороны, тут от них уже нет проку, все прочее – женская забота. Порадуемся, что теперь мы одни, мы, женщины! У нас будут чудесные роды, и уже не за горами тот час, когда я посажу тебя в горячую ванну – это ослабляет и ускоряет. Едва почувствуешь боль, хотя бы поначалу совсем глухую, я уже не отойду от тебя ни на шаг и, если придется, буду сидя дремать возле твоей кровати, пока не начнутся настоящие схватки. Увидишь, это премилое дело, куда милее, чем всякие там объятья.

Сибилле, однако, привиделся дурной сон, каковой она и рассказала хозяйке замка. Впросонье ей примерещилось, будто она родила дракона,

который жестоко вспорол ей чрево. Затем он улетел, что вызвало у нее великую сердечную боль, но вернулся и вторгся во вспоротое чрево, чем причинил еще пущую боль.

– Это значит, дитя, что ты боишься, и ничего больше. Какой там дракон! Мы чудесно родим самого настоящего человечка, и по мне пускай это будет девчушка. Не робей! Я-то уж сумею принять ее и повить, а не захочет сразу пищать – отшлепаю.

Подмет

В сем, однако, вовсе не случилось нужды, ибо дитя, что в муках своих произвела на свет божий девица-роженица, запищало сразу же, как того и желали, и было мальчиком, на диво благообразным и складным, с длинными ресницами, каштановыми волосиками на продолговатой головке и приятнейшими чертами лица, похожим на мать, а стало быть, и на дядю, таким хорошеньким, что дама Эйзенгрейн признала: «Что верно, то верно, я хотела девчоночку, но и этот совсем недурен».

Шесть месяцев ее дорогая пленница просидела в опочивальне, что гусыня на откорме, затем пришло ей время родить, и она родила при споспешестве одной лишь хозяйки замка, ибо все надлежало свершить без свидетелей, и повитуха никого не подпускала к родильнице. То была жаркая работа, ибо хотя на дворе стояло лето, госпожа Эйзенгрейн вздула в камине яркий огонь (что считала полезным), и у обеих, пока они трудились под балдахинном постели, распарились и пылали румянцем потные лица. Но все шло как по маслу, до того естественно и ладно, словно дитя было сотворено не в кровосмесительном грехе, а, как положено, с чужим мужчиной. Женщины и впрямь совсем позабыли про грех и что на земле нет места сему пригожему и восхитительному младенцу. Это у них вовсе выскочило из головы у обеих, когда ребенка омыли и спеленали; только и было заботы, что поскорей показать его господину Эйзенгрейну, чтобы тот разделил их радость. И вот он пришел по зову хозяйки, осмотрел новорожденного и молвил:

– Да, дитя сие миловидно и царственно, это я должен признать, поскольку дозволено такое признание при столь греховном рождении. Словом, его жаль, и я этого не отрицаю, у меня тоже есть глаза и сердце. Я только спрашиваю: что нам теперь с ним делать?

– Делать? – воскликнула молодая мать в ужасе.

– Уж не хочешь ли ты его умертвить, ирод? – спросила госпожа Эйзенгрейн.

– Я? Умертвить? – отвечал он. – Уж не хочешь ли ты толкнуть меня на убийство этого прекрасного младенца, женщина? Мертвым, – продолжал рыцарь, – он явился на свет, хотя и живет, вот что несообразно, нет у него места в мире, хоть он и налицо. Вот бессмыслица, которую вы заставляете меня разрешить, и еще возводите на меня напраслину. Прикажете, чтобы мальчишка рос здесь, взаперти? Ибо вне этих стен его не должен видеть ни

один глаз. Не для того я заставил баронов присягнуть на верность этой деве, чтобы теперь предать огласке ее грех и позор и вместе с ее честью погубить свою. Но у вас, у бабья, куриный ум, вы смыслите только в плотских делах да в пригожих младенцах, вам невдомек, что такое честь и политика.

Тут обе женщины стали плакать: Сибилла – уткнувшись в свои бледные ладони под балдахин, а госпожа Эйзенгрейн, которая держала ребенка, – кропя его своими слезами.

– Я поразмыслю, – говорил он, – и пораскину умом, как поступить наилучшим образом. Только я запрещаю вам возводить на меня напраслину.

Затем он пальцем пощекотал подбородок младенцу.

– Ах ты, красавчик, ах ты, крошка, ах ты, бедный мой грешничек, нечего унывать, что-нибудь да придумаем для тебя!

Жене же своей он молвил назавтра в зале:

– Лучше всего, Эйзенгрейниха, как можно меньше вмешиваться в судьбу этого прекрасного ребенка и отдать его всецело в руки божий. Господь уже знает, как Ему поступить с бездомным, и останется ли дитя жить, или нет, мы смиренно предоставим определить всевышнему. Мы, я полагаю, сделаем только то, что нужно, чтобы всецело доверить мальчика божьему попечению – не больше, но и не меньше. Посему я решил пустить его в море, но предосторожностью, с которой сие учиню, показать богу, что мы, коли дело за нами, были бы рады, если бы он спас ребеночка. Я хочу положить младенца в бочонок, какой у меня уже есть на примете, весьма крепкий и ладный, бочонок же поместить в челнок, последний же пустим на волю волн. Поглотят его волны – ну что ж, тем хуже, значит, такова воля господня, не наша, ибо мы-то выказали величайшее тцание. Если же рука всевышнего даст пристать бочонку к земле, где живут люди, то пусть будет дитя возвращено как найденный и пусть оно радуется жизни сообразно с обычаями той земли и своим званием. Как ты полагаешь?

– Я полагаю, что бог наделил вас, господине, суровым добросердечием, – молвила женщина и, сидя на кровати Сибиллы, пересказала ей все, что поведал ей муж. Та держала ребенка у своей материнской груди и громко возопила, так что малыш испугался, выпустил грудь и тоже сморщился в горьком плаче.

– О, горе, горе! Сладкая моя кара, которую я столь сильно люблю, с тех пор как она впервые шевельнулась во мне! Единственное, что мне осталось от моего желанного, дар его плоти, выношенный мною в страданиях и в великом жару рожденный мною на свет! О рыцарь Эйзенгрейн, о чудовище, такова твоя вассальная верность! О, tu es mult de pute foi!^[52]

Неужто затем ты называл его «крошкой» и обещал ему помощь, чтобы теперь выбросить его в бочке в дикое море и чтобы очи мои, погибнет ли он, или выживет найденьшем, все равно никогда его не увидели? Нет, нет, не снести мне этого! Пусть лучше сунет в бочку и меня, меня тоже в придачу, чтобы обоих нас поглотили дикие хляби, меня и мое дитя, мой милый залог! Ах, матушка-восприемница, госпожа Эйзенгрейн, ты пособила мне в час родин, пособи же и днешь, ибо я в отчаянии!

– Однако, женщина, пора и образумиться, – воскликнула, желая успокоить ее, старуха. – Какая же это бочка вместит вас обоих, чтобы поплыть по хляби морской? Та, что у него на примете, крепкая да ладная, для обоих куда как мала. Опричь всего, тебе надлежит властительно пещись о стране заместо брата, как договорено, и что станется с ним, вернись он и узнай, что и ты отбыла с дитятей? Погляди на меня, четверо детей, которых я родила, вскорости умерли, а один погиб в бою, и что же, разве я лишилась из-за этого разума? У нас была славная беременность и чудесные роды, а что дитяти не найдется на земле пристанища, это мы, увы, и наперед знали. Разве что с моря оно сыщет себе местечко, тут Эйзенгрейн кругом прав. Но как нам приступить к делу, это он наметил только вчерне. Тонкости нужно домыслить нам, женщинам. Он бы просто-напросто сунул крошку в бочонок, и вся недолга, но так не выйдет, нет! Мы подстелем ему самолучшие шелка на одежду, первейшего сорта, и щедро укроем его такими же. Что мы еще прибавим? Казну денег червонного золота, не меньше, чем пристало князю, чтобы дитя наилучше воспитали на эти средства, если бог милостиво даст ему прибиться к земле. Что скажешь теперь? Уж не сдобрила ли чуточку госпожа Эйзенгрейн совет господина Эйзенгрейна? Но коли ты думаешь, что тут моему совету конец, ты ошибаешься. Ибо еще мы положим в бочонок вот что. Мы положим в бочонок дощечку, исписанную на манер грамотки, а на ней деликатно, не упоминая ни людей, ни страны, опишем обстоятельства его рожденья. Он, мы напишем, высокого рода, только, увы, сложилось так, что он оказался братом своих родителей и тетка приходится ему матерью, а дядя соответственно отцом. Потому-то, и чтобы сие сокрыть, его пустили в море и Христа ради просят нашедшего (ибо надо уповать, что это будет христианин) сподобить мальчика святого крещения и не жалеть золота на его воспитание. Пусть приумножит он по-христиански его богатство и поставит ребенка на ноги. И пусть сбережет ему дощечку и допреж всего научит ребенка азбуке, чтобы тот, возмужав, прочитал по дощечке эту историю. Так он узнает, что родом он хоть и высок, но очень и очень грешен, и не возгордится, а устремит свои помыслы к богу и праведной

жизнью искупит родительский грех, и вы все трое попадете на небо. Теперь отвечай, дала или нет матушка Эйзенгрейн дельный совет!

Родильница только прижала ребенка к себе и всхлипнула, но не промолвила больше ни слова, чем и выразила горестное согласие. Да и не могла она вовсе не радоваться дорогим шелкам, которыми хозяйка замка собиралась устлать дно этой бочки и укрыть ее ребенка, а равно и казне, которую та ей выделила, – двадцати маркам^[53] золотом: старица запекла деньги в два хлеба, чтобы положить их младенцу в ноги. Всего же лучше была дощечка, ею подаренная, – да пошлет мне бог такую прекрасную писчую дощечку! Я одержим страстью к письму и к хорошим письменным принадлежностям, но я бедный монах, и такой дощечки, тончайшей слоновой кости, да в золотой оправе, да еще украшенной алмазами, мне никогда не иметь. О подобных вещах я могу только рассказывать, вознаграждая себя за свою бедность похвалами и славословием. На этом-то благородном грунте, соком чернильных орешков, мать описала обстоятельства сына в точности так, как учила ее хозяйка, и еще начертала в слезах: «Ты, которого я не могу назвать по имени, не поминай, коли будешь жив, своих родителей лихом. Очень уж они любили друг друга, а друг в друге себя, отсюда их грех и твоё рождение. Прости их и загладь их вину перед богом, возлюбя всей душою чужую кровь и по-рыцарски защищая ее в беде...» Она хотела еще что-то приписать с краю и заполнить малейший уголок, но дама Эйзенгрейн отняла у нее дощечку.

Настал час, когда она отняла у нее и дитя, – кротко и утешительно. Ему было только семнадцать дней, когда хозяин замка почел за лучшее не оказывать ему долее приюта, но со всею тщательностью передать его в руки божий. Оно еще раз досыта напилось материнского молока, так что даже раздулось и покраснело от сытости. Затем хозяйка его забрала, и под ее руками, а также под руками ее господина прочный бочонок тайно превратился в его обиталище – новое материнское лоно, из темноты которого, коли будет на то воля божья, ему предстояло родиться заново, с приданным в виде шелков, хлебов, начиненных золотом, и уведомительной грамоты. Все делалось в спехе и тайне, и когда засмолили крышку бочонка, из крепости, сквозь ночь в туман, покатила к морю странная колесница: господин Эйзенгрейн, закутавшись наподобие кучера, сам гнал лошадку по дюнам, по траве и песку, а за спиной у него, охраняемый молчаливым холопом, покоился выпуклый гробик с расписными обручами, отверстием и железными кольцами по бокам: эти были необходимы, ибо внутри челна, ожидавшего путников на пустынном берегу, имелись такие же ушки, к которым накрепко привязали бочонок канатами, в безмолвном труде, под

бегущими тучами, то скрывавшими, то обнажавшими месяц. Затем господин и холоп столкнули корабль со слабеньким корабельщиком на воду, а Христос послал добрый ветер и благоприятное течение. Тихо качаясь, удалялся челнок, уплывало дитя, ведомое богом.

А с крепостной вышки, куда она, преждевременно поднявшись после родин, кое-как добралась с помощью хозяйки замка, Сибилла при неверном свете луны вглядывалась в нырявшую по дюнам повозку. Ей казалось даже, что она видит, как вдали, на взморье, хлопочут над бочонком мужчины, как отплывает ладья. Но когда и она уже оказалась не в силах уверить себя, что что-то видит, она спрятала лик свой на груди престарелой наперсницы и возроптала:

– Вот он и улетел, мой дракон, ах, горе мне, горе!

– Пускай себе летит! – утешала ее госпожа Эйзенгрейн. – Всегда-то они улетают, и мы, страдалицы, остаемся ни с чем. Пойдем, я сведу тебя с башни к священной родильной постели, ибо там твое место!

Пять мечей

Дух повествования, что я воплощаю, – это лукавый и умный дух, досконально знающий свое дело, а потому не тотчас же потрафляющий всякому любопытству: нет, будя его многократно, он частично его утолит, частично же, так сказать, заморозит, чтобы оно сохранялось и как бы даже обострилось. Если кто хочет незамедлительно выяснить, что случилось с ладью, доверенной дикой стихии господней, то его сейчас отвлекут и усердно займут другой историей, которую знать ему столь же необходимо, хотя бы она его и опечалила. Но пусть то, что она так печальна, позволит ему надеяться, что в море события примут более счастливый оборот, ибо не настолько уж безрассуден дух повествования, чтобы сообщать одни лишь печальные вести.

На очереди весть о грешнице-матери, о том, как худо ей все еще приходилось. Поистине, на долю этой женщины выпало столько страданий, что не знаю, в силах ли уста мои достойно передать их словами. Я отлично чувствую, что мне не хватает опыта. Мне не суждено было изведать ни настоящего счастья, ни настоящего горя. Я живу как-то межеумочно, огражденный своим одиночеством и от того и от другого. Потому, должно быть, я и прибегаю к аллегории, чтобы описать страдания моей героини, и говорю, что пять, никак не меньше, мечей пронзили ей сердце. Сейчас объясню свою метафору и назову эти пять мечей поименно.

Первым была сведавшая ее духовная скорбь о грехе, который она учинила совместно с братом, хотя ее плоть и кровь блаженно вспоминали содеянное и лелеяли надежду на возвращение супруга. Вторым была ее послеродовая немощь и хворость, ибо, несмотря на заботливый уход повитухи, роды оказались весьма долгими и тяжелыми. Прилив молока вызвал у нее жар, и через шесть недель, по истечении коих, как слышал я, роженице положено встать с постели и в первый раз посетить церковь, Сибилла была еще так слаба, что едва держалась на ногах. Только ли молочная лихорадка тому виною? Ах, нет, ибо теперь я назову третий меч: это – опасения, грусть и тоска о маленьком корабельщике, гонимом дикими ветрами, отданном целиком в руки божий, который уже не отсасывал у нее молока и о коем она не знала, спасся ли он, или проглочен пучиной. Как терзал ее этот меч! Но четвертый, обоюдоострый, был всажен ей в сердце такою жестокой рукой, что диву даешься, как она могла это пережить и еще продолжать дни свои – себе не на благо, или разве в самом конечном счете

на благо, о чем сообщу в надлежащее время. Дважды, правда, падала она замертво от этого меча: один раз – когда приняла его в сердце, и опять – когда, очнувшись, убедилась, что он все еще там. Затем, однако, она жила с ним и носила его в себе. Как? Спросите об этом нежную и завидно стойкую женскую природу, я этого не могу вам сказать.

Ровно за три дня до того дня, когда недужной надлежало пойти в церковь, в замок явился паж Анаклет, со щитом наизворот – в знак дурного известия. Какое это могло быть известие? Анаклета поняли бы и без слов, и без перевернутого щита. Достаточно было того, что он вернулся один. Его возлюбленный повелитель погиб.

Ах, я неутешно скорблю об этой утрате! Тут рассказ мой доставляет мне настоящее горе, которое, как и настоящее счастье, не отпущено моему монашеству в действительности. Вполне возможно, что и пишу я это только лишь для того, чтобы хоть как-то отведать человеческого страдания и счастья. Я едва удерживаюсь от слез при виде перевернутого щита Анаклета, и если бы там, среди хлябей морских, не было никакой надежды на возмещение и на благоприятный исход, я бы не решился убить бедного Вилигиса. Ибо тот же самый дух повествования, что звонит в колокола, когда они сами звонят, убивает людей, умирающих в песне.

Юный Вилигис, такой стройный, такой красивый, – и мертв! Что правда, то правда, он никого не считал достойным себя, кроме своей купнорожденной и столь же красивой сестры, и недозволительно с ней согрешил. Мне весьма трудно простить ему также убийство Ханегифа, предоброго пса. Однако он был по-рыцарски готов к покаянью, хотя оказалось, что оно ему не по силам. Этот юноша, хотя и отважившийся на грех, никогда, как бы это сказать, не отличался душевной твердостью. Слишком уж легко охватывали его робость и трепет, он был храбр, но слаб. Разлука с милой сестрой и женою явилась для него жестоким и сокрушительным ударом, он не был внутренне закален для крестоносного подвижничества. Немало тягот вынес он с Анаклетом, встречая на пути своем разбойников и диких чудовищ, пробираясь через болота, леса, скалы и воды, но масиллийской гавани ему не привелось достичь: еще раньше он схватился за грудь, повернул исказившийся лик к небесам и свалился во мхи, где его конь принялся жалостно его обнюхивать. Как быстро спешил тогда Анаклет! Он на руках отнес его в ближайший замок, хозяин которого радушно их принял и заботливо уложил в постель больного путника. У того, однако, разорвалось сердце, на второй день он испустил дух, и поелику его с головою укрыли саваном, то земле, как бы она ни старилась, не суждено было еще раз увидеть это совершенно особенное лицо

близнеца, этот строгий рот с пухловатой верхней губой, эти черные, с синим отливом, глаза, эти чуткие ноздри, этот лоб, и отметину, и темные локоны, и прекрасные брови.

При мысли о том я украдкой вытираю слезу, и я хвалю чужеземного хозяина замка за то, что он распорядился с почестями препроводить на родину тело паломника-князя. Анаклет опередил траурную процессию на один день пути и явился к Сибилле со щитом наизворот, с опущенной головой. Она была уже близка к обмороку, когда ей назвали только имя пажа, только его имя. Когда же она увидела Анаклета, она лишилась чувств и упала ему на руки. Мне стыдно собственных слез, ибо я пролил их в тихой грусти, а ее обуяла боль, которой не утолить никаким слезам, и когда она снова очнулась, глаза ее были сухи, а лицо неподвижно. Она выслушала рассказ пажа о том, что случилось с его господином, и молвила: «Хорошо». Ничего хорошего в этом «хорошо» не было. Такое «хорошо» отнюдь не отдает покорностью воле божьей, скорее оно означает оцепенение, вечное отрицание божественного промысла, и словно бы говорит: «Как тебе угодно, господи, а я извлеку вывод из твоего приговора, для меня неприемлемого. Я была перед лицом твоим женщиной, пусть грешной, не спорю. Отныне же я вообще не буду женщиной, а буду навеки оцепенелой невестой боли. Я так замкнусь в себе, так ожесточусь, что ты удивишься». – Упаси меня боже от такого меча и такого оцепенения! Но я ничуть не подвержен подобным бедам. И все же я рад, что повесть моя позволяет мне отведать от них и что я в каком-то смысле их познаю.

Господин Эйзенгрейн молвил ей:

– Катафалк брата вашего прибыл и стоит в церкви моего замка. Он отдал богу тело ради души своей, и вы теперь наша повелительница. Примите же мое коленопреклонение! Одновременно, во имя вашей и моей чести, разрешите почтительно просить вас, чтобы вы, когда мы станем его хоронить, не выказали иной скорби, кроме той, с которой оплакивают погибшего брата. Всякую же иную, более горячую, скорбь вам следует тщательно скрыть.

– Благодарю вас, господин рыцарь, за науку и деликатный намек. Мне кажется, на меня не похоже, чтобы я уронила вашу, моего защитника, честь изъявлениями чрезмерной скорби. Вы весьма неопытны по части скорби, если полагаете, что самая глубокая многошумна. Теперь я намерена три часа молиться над гробом моего любимого брата. Это никак не выходит из границ скромности. Затем, в умеренном трауре, доставьте его на его место. Мое же – далее не здесь, не в вашей приморской крепости, и не отсюда собираюсь я править страной. Надеюсь и впредь иметь в вашем лице

верного вассала, *cons du chatel*, но я вас не люблю, и хотя вы сделали меня также и своей повелительницей, вы не пользуетесь моей милостью, о чем вам сейчас и сообщаю. Вы отняли у меня моего дорогого племянника, отправили его в дикое море, а его отца, моего любезного брата, послали на смерть – все это делалось, правда, во имя чести и пользы государства, и все-таки я на вас в обиде и по горло сыта вашей суровой добротой. Я не назначу вас ни сенешалом, ни стольником и вообще не хочу видеть вас около себя, когда поселюсь в своей столице, в Брюже у глубокого залива, в высоком замке. Находись вы при мне, вы бы, ради прямого наследования, строили политичнейшие планы и непременно выдали бы меня замуж за кого-нибудь из равных мне по рождению князей христианского мира, тогда как рождением был равен мне только один, по ком и пребуду в вечном трауре. О замужестве я не хочу и слышать, *celui je tiendrai ad espous qui pos redemst de son sane precious*^[54]. Подаяния бедным, пост, бдение, молитва на голых камнях и все, что докучает и претит плоти, – в этом только и будет состоять жизнь повелительницы страны, дабы господь увидел, что перед лицом его больше не грешная женщина, и вообще не женщина, а княгиня-монахиня с омертвевшим сердцем. Таково мое решение.

Да, таково оно было и осталось и, клянусь Христовым распятием, несправедно было это решение. Ибо, увы, господь поразил Сибиллу, поразил всю страну пятым мечом, о чем сейчас и поведаю. Сибилла не вернулась в Бельрапейр, обитель ее отрочества и греха, замок пребывал в запустении, охраняемый лишь кастеляном да небольшим отрядом сервиентов. Княгиня держала двор в Брюже, у залива, оцепенелый двор, где не слышалось смеха и к тому же повелительница не показывалась на люди, а в одиночестве или между двух монахов лежала в молитве на голых камнях. В белом платье, сопровождаемая двумя корзиноносцами, спускалась она и одаряла бедных, которые благоговейно ее славил. Себе в удел она взяла не радость и не привольность, а только всенощные бдения, укрощение плоти да постную пищу, все это, однако, не в угоду богу, а назло ему, чтобы он вконец обомлел и испугался.

Так жила она много лет, но в расплате за грех не заплатилась своей красотой, которой бог ее не обидел, и хотя от бдения у нее часто бывали синие круги под глазами, она, сохраняя на земле черты покойного брата и созревая от года к году, становилась красивейшей женщиной, что, думается мне, отвечало ее желанию, ибо ей хотелось досадить богу тем, что она не отдает столь прекрасного тела супругу, но остается кающейся вдовой брата. А меж тем, как уже в пору ее отрочества, не один христианский князь имел на нее виды и – через посредство послов и посланий, а иногда

самолично – предлагал ей руку и сердце. Но каждый встречал отказ. Сие огорчало двор, град и страну, как огорчало и бога, хотя господь опять же ничего не мог возразить против такой покаянной воздержности. В этом-то разладе с самим собою она и хотела оставить всевышнего.

На шестой год один весьма знатный князь, Роже-Филиппус, король Арелата, стал просить ее выйти замуж за своего возмужалого сына по имени тоже Роже, но уже без Филиппа. Принц этот был бесстыдник, каких я смерть не люблю. Уже в пятнадцать лет он носил козлиную бородку, черную, как его глаза, подобные пылающим уголькам, с бровями столь же мохнатыми, как его усы; он был долговяз, волосат, задирист и галантен, этакий петух, сердцеед, дуэлянт и повеса, – терпеть не могу таких молодцов. Отлично понимаю, что отец, желая ему добра, считал разумным поскорее остепенить его женитьбой. Благородная и любочестивая дочь господина Гримальда казалась как нельзя более подходящей невестой, к тому же в пользу такого выбора, помимо прочих, говорили и политические соображения, ибо мало того что королю хотелось женить своего наследника на красавице, ему прежде всего хотелось, чтобы Роже присоединил к Арелату и Верхней Бургундии Артуа и Фландрию.

Потому-то одна страна стала засыпать другую посольствами и просьбами, нежными предложениями и ценными подарками, и сам король Роже-Филиппус со своим сыном и представительной свитой бургундских рыцарей посетил брюжский двор, где принц тотчас же соблазнил трех статс-дам, но неизменно встречал холодный взор государыни. Она измеряла всю его рыцарственную фигуру в длину, снизу вверх, насмешливым взглядом, и это донельзя ожесточило и навеки распалило забияку, так что Роже считал свою честь поруганной, коль скоро не овладеет Сибиллой. Да и весь двор, включая трех дам, столь быстро им побежденных, мирволил этому сватовству, ибо все хотели, чтобы Сибилла дала стране герцога и чтобы наконец-то был положен предел ее целомудрию. Она, однако, учтиво уклонялась от домогательств короля, не говорила ни «нет» ни, тем более, «да» и вытребовала себе неопределенный срок на размышление, когда бургундцы стали собираться домой. Оттуда снова пошли посольства, напоминанья и просьбы, но она по-прежнему отделялась невразумительными посулами, походившими то на отказ, то на вежливое полусогласие и нисколько не прояснявшими дела, дабы все это, как она надеялась, наконец наскучило отцу и сыну.

Так продолжалось четыре года, но вот король Роже-Филиппус обручился со смертью и отбыл в ее пределы, а козлинобородый Роже стал королем Арелата. Этот, хоть и пользовался уже милостями всех дам своего

двора, числом около пятидесяти, и множества молодых горожанок, однако не переставал вождедеть к белоодежной строптивице, столь презрительно на него взиравшей, и теперь, когда он оказался на троне, к страсти его присовокупилось желание увеличить свое государство и завладеть ее землями, как ему завещал понаторевший в политике родитель. Теперь, когда он ей писал и осаждал ее посольствами, в галантных предложениях проскальзывали кичливые угрозы, в том смысле, что он-де скорее уж станет добиваться ее оружием, чем откажется от нее, лучшей из дев, и женится на другой. Она, мол, виною, что его государство остается без королевы, и ее же вина, что у нее в стране нет хозяина, и бог, видя сию беду, в конце концов повелит ему взяться за меч. Так или в подобном роде писал этот петух и жеребчик. Поелику, однако, ответы Сибиллы, тщившейся его обуздать, стали вновь походить на согласие, то миновало еще три года, прежде чем терпенье его иссякло. Но тут уж оно иссякло, и Роже, с двумя тысячами рыцарей и десятью тысячами сервиентов, вторгся в ее страну и принес с собою войну.

– На помощь, господин Эйзенгрейн! Забудьте, что мы в горе заказали вам путь к своему двору! Вспомните, какие службы вы сослужили нашему почившему в бозе родителю! Призовите моих рыцарей, соберите моих пехотинцев, отоприте арсенал, доброчестный мой полководец, и обрушьте свой меч на дерзкого разбойника, вознамерившегося метнуть нас в свою постель окровавленной десницей! Защитите свою герцогиню, посвятившую себя богу.

Так началась между Бургундией и Фландрией-Артуа война, прозванная певцами «любовной войной», которая благодаря упорству обеих сторон с переменной удачей губительно бушевала целых пять лет.

«Довольно, жено, рати, пора покой нам дати. Несносен ваш отказ желающему вас. Так уступите же судьбе!» Она в ответ: «Jamais!»^[55]

Санкт-дунстанские рыбаки

Я, Клементий, воздаю хвалу содеянному премудростью божьей! Сколь превосходным и восхитительным кажется человеку, хоть мало-мальски знакомому с географией, то обстоятельство, что океанус сообщается с Северным морем; сообщается через пролив между Каролингией и Англией, именуемый в шутку, за его узость, «рукавом» или еще «каналом», хотя, строго говоря, каналом возможно назвать лишь канаву, прорытую руками человеческими, но не соленую стихию господню, которая отнюдь не отличается застойным спокойствием канала, а куда как часто, секомая бурями и взъяряемая валами, учит корабельщика помнить о вседержителе. Сие касается даже больших и надежных кораблей, вроде того судна, на коем я сам недавно переправился через эти воды. Но как подумаю, каким случайностям подвержен здесь утлый челн, открытая лодка, к тому же еще, на потеху волнам, без всякого кормчего, или, пожалуй, с кормчим, но с беспримерно нежным и беспомощным, – меня ужасает скудость надежды на спасенье такой ладьи, и я удивляюсь искусству, с коим господь бог, коли на то его воля, ведет ее сквозь опасности, которые сам же уготовляет, и хочется тут воскликнуть: «Nemo contra Deum nisi Deus ipse»^[56].

В этих водах, там, где они почти уже открыты вселенскому морю, сотворены острова: и большие, и малые, и малые вовсе, именуемые «Норманскими», потому, наверно, что расположены ближе к Франконии и к землям норманнов, нежели к Корневиллю и к Суссексу, и на один из самых малых, удаленный от других в сторону Англии, я и хочу мысленно перенестись вместе с читателем. То был омываемый хлябями кусочек земли божьей, обитатели коего, хотя во спасение себе и приобщившиеся к христианской вере, жили весьма первобытной, обособленной от мира жизнью. Большинство их обосновалось в широко разбросанном, перемежаемом пастбищами и огородами селении, называвшемся, насколько они знали, как и весь остров, Санкт-Дунстан, кормились же они скотоводством, маслобойным промыслом, огородничеством и рыбной ловлей. Туда-то я перенесусь, и не под конец рассказа, а допреж всего, ради одного благочестивого и превосходного мужа, к которому питаю живейшую приязнь и которому уже сейчас хочу принести благодарность за те преизрядные услуги, что он в доброте своей оказал герою повести, богоугодным возобновлением коей я занят. Я говорю об его преподобии Грегориусе, настоятеле монастыря «Agonia Dei»^[57], каковой монастырь,

ведущий начало от старинной лавры-киновии^[58] и послушный уставу Цистерциума^[59], находился на западном берегу означенного острова и являл собой – впрочем, надеюсь, являет и ныне – духовное украшение оногo. Монахов, принявших схиму, в стенах его укрывалось немногим более, чем было учеников у господина и спасителя нашего, этак с четырнадцать, и еще проживало тут несколько служек-бельцов^[60], ходивших за скотом, да послушников-отроков, отданных братии «Муки господней» для духовного наставления и частью прибывших с других островов. Все они, от мала до велика, старики, мужи и юнцы, взирали на своего аббата Григориуса, по причине его доброты, кротости, справедливости и заботливости, с единокорным и доверчивым почтением, как на отца своего; да ведь по смыслу слова «аббат» – кто учен^[61], знает – так оно и быть должно.

Аббата Григориуса надлежит представлять себе человеком привлекательной наружности, среднего роста, с полным, тщательно выбритым лицом, маленьким ртом, округло выступающей вперед нижней губой и прекраснолощеной, блестящей лысиной, каковую обрамляли кудрявые седые волосы у висков. Его орденскую ризу, ладно опоясанную витым вервием, чрез которое были продеты четки, оттопыривало небольшое брюшко, казавшееся скорее выражением спокойной совести, нежели бременем, и отнюдь не лишавшее фигуру аббата приятной подвижности, замечательной для его лет, а лет ему было пятьдесят. Что леность и себялюбивая изнеженность не вязались с его натурой, видно уже из того, что ранним утром, в более чем неласковую погоду (ибо низко нависли тучи, накрапывал дождь и всюду бушевал северо-северо-западный ветер), мы застаем его одиноко бредущим вниз, к берегу, в обход подковообразной бухты, что с этой стороны врезается в остров и куда море, дробя их о каменные отмели, катит свои валы. Спиною к монастырю, строения коего в пелене дождя вырисовывались на темной полоске леса, аббат шагал, заноса вперед посох и подобрав рясу, где по мокрому песку, а где среди каменного лома, громоздившегося тяжелыми глыбами или размолотого в щебень. На плечи, для защиты от сырости, он накинул войлочное покрывало и придерживал его спереди рукой, на голову же нахлобучил отнюдь не монашескую шляпу с широкими, загнутыми вниз полями, какие, наверно, носили, правя свое ремесло, рыбаки-островитяне. Жмурясь, он старался подставить ветру затылок, но то и дело поворачивал свое мокрое лицо в противную сторону и озабоченно вглядывался в открытое море.

Мысли у него были вот какие:

«Мерзко, мерзко! Ненастье на нашем острове не в диковинку, но уж в это время года оно на редкость противно. Я не ропщу, но мне неспокойно. Ишь как разбиваются в брызги буруны на отмелях, как они затопляют их от поры до поры и накатываются на пресносольные заводи по правую мою руку, вынуждая меня с почти непристойным проворством отскакивать в сторону от бешеных волн, а ведь здесь, в бухте, они уже помирнее! Каково же в открытом море, где, по моему повелению, находятся сейчас рыбаки, братья Виглаф и Этельвульф! Увидь меня кто-нибудь здесь, он сказал бы, что я вышел на берег, *невзирая* на эту непогоду. А меж тем я пришел сюда в такую рань именно *по причине* ненастья, гонимый своим беспокойством. Не что иное, как беспокойство, и внушает человеку столь праздные и маловажные рассуждения, как это о «невзирая» и «по причине», слившихся воедино в моем беспокойстве. Бог не желает, чтобы люди были слишком спокойны. Наказания ради он наделяет их беспокойством и при этом внушает им, будто они сами наделили себя таковым, что и случилось со мною, пославшим на лов рыбаков в подобную непогоду, которой, впрочем, нельзя было предвидеть вчера пополудни. Как мог бы я быть спокоен, когда бы не эта мной же самим уготовленная забота! Ибо в остальном все обстоит отлично или по крайней мере вполне хорошо на сем острове, зовущемся, по уверению старейших его обитателей, «Санкт-Дунстаном», а равно и в моей калугерии, спокон веков бесспорно именуемой «Мука господня» и ведомой под именем сим также на ближайших, хотя уже и весьма отдаленных островах. Лишь во смирении возможно о ней вспоминать, и игуменство в ней – не искус гордыне. Ибо убога она среди монастырей христианского мира, и нет у нее даже собственного капитула^[62], так что трапезная, где царит устоявшийся запах пищи земной, служит подчас и местом собраний. Да и всего только у половины братьев имеются особые кельи, остальные ночуют в общей спальне, и, конечно, лишь у меня есть отдельная просторная горница, о чем надлежит думать не с самодовольством, а с благодарностью, памятуя, сколь smoothly, добroleпно, каким налаженным ходом тянутся дни в нашей маленькой вотчине божьей и сколь отрадно почить на загодя посланном ложе, когда можно уже не копать землю и не корчевать дебри, а всего лишь блюсти да поддерживать давно заведенный порядок. Труд землепроходцев и корчевателей исполнили сто и еще много более лет назад братья уединенно-сообщной жизни, которые первыми явились в эти места, орудовали мотыгами, лопатами и кельнями, свозили на тачках камни и, строя свое схимническое прибежище, а также возделывая под огороды пески, одновременно просветили темных островитян и причастили их

правде Иисусовой. Они, видать, знали, что праздность есть мать всех пороков, а посему не только предавались созерцанию, коим, кстати, не были бы и живы, но еще прилежно копали и корчевали, подобно тому как и я считаю полезным, чтобы паства моя, помимо размышлений о божестве, всенепременно посвящала себя той или иной грубой работе, – ремесленной или земледельческой, – сопряженной с правочестной усталостью. Сам я, разумеется, слишком стар и сановит для этих занятий. Слишком стар, но не слишком сановит. Слово «сановит» нашептывает мне диавол, дабы посрамить смирение мое, и без того постоянно подверженное известной опасности, поелику я как инфулированный аббат на радость свою являюсь на острове самопервейшей персоной и над рукою моею склоняется каждый встречный. Воистину ли оттого приняли древле здешние жители веру Христову, что некая уже обращенная дева, которую они собирались пожертвовать опустошавшему остров дракону, показала таковому распятие, после чего, напоследок еще раз извергнув из пасти пламень и дым, чудовище улеглось и издохло? Говорят, будто сие настолько их впечатлило, что они тотчас же все как один уверовали в Иисуса. Я не очень-то полагаюсь на эту историю, ибо как мог явиться сюда дракон и из какого яйца он выполз? Я просто не в силах представить себе в этих местах дракона, принимающего в жертву девиц. Но, может быть, все дело тут в греховном недостатке простодушия, хотя я, рискуя угодить в когти беса гордыни, считаю богооправданным известное различие между верой, подобающей образованному человеку, и тем, во что верует vulgus^[63]. Надо, кстати, отметить, и отметить с тревогой, что христианство здешнего люда отнюдь не имеет прочных корней, независимо от того, был ли в сих местах дракон, или нет, а потому превеликое благо, что мы, братья «*Agonia Dei*», стоим здесь на страже веры. Ибо обретенное может быть вновь утрачено: ведь говорят же, что в Алемании, далече отселе, христианство утвердилось еще во времена римлян, но что затем земли сии погрузились во мрак неверия вплоть до прибытия неких ирландских посланцев, которые снова возожгли светоч. Отгороженность от мира обильной водой имеет, конечно, свои преимущества, она сохраняет простодушие и остерегает от всяческого смятения. Однако, с другой стороны, не так уж и хорошо, когда великие передвижения народов, перемены и переселения, каковыми, насколько я знаю, богата старина, протекают где-то в стороне от ушедшего в себя затворника, отчего, если возможно мысленно так выразиться, творящееся в мире его не захватывает, и он остается в неведении на прежней, первобытной ступени. Мне отлично известно, что здесь, и в умах и в негласных обычаях, бытует множество пережитков, кои вряд ли

заслуживают более мягкого наименования, чем «мерзость друидовская»^[64], и засилию коих единственной твердыней противостоит наша малая крепость господня. Эти люди, понеже никому не было до них дела, искони жили замкнуто и не покидали насиженных мест, тогда как вообще-то, думается мне, на земле не найдется страны, населенной ее коренными жителями, ибо всем случалось перемещаться и вытеснять других, которые, в свою очередь, уходили в иные края, то ли уже кем-то покинутые, то ли у кого-то отторгнутые. Так, например, я слышал, что бургундцы, подавшись из дальней Фулы на юг, до римского пограничного вала, не без самодовольства обосновались на реке Ренусе, где были, однако, почти сплошь перебиты гуннами. Мало того, мне известно также, – что Вортигер, князь бриттов, призвал мореходов-германцев, чтобы те помогли ему справиться с дикими пиктами, а эти последние в мгновение ока объединились с призванными против призвавшего. Британское государство нежданно-негаданно основали хауги, англы, юты, и саксы, а затем явился норманн и наложил на него свою десницу. Да, знания мои поразительны! Но, ей-богу, вместо того чтобы хвастаться ими перед самим собой, мне надо бы вспомнить, зачем, опираясь на посох, забрел я сюда в дождь и ветер, вспомнить, что все эти побочные и суетные мысли мои – только от беспокойства о недостаточной рачительности, хотя как раз рачительность-то и ввергла меня в вину. Ибо, по-отечески заботясь об агнцах своих, я намерился нынче ради постного дня вдоволь попотчевать их доброй рыбной похлебкой. Потому-то я и наказал рыбакам Виглафу и Этельвульф у выйти в море еще до рассвета и посулил им отменную мзду, коли наловят в обилии лакомой рыбы. Но, наславши непогоду, какая обычно бывает только в порубочную пору, диавол обратил мою рачительность в прямую ее противоположность. Ибо, прельщенные маммоной, они забрались невесть как далеко, и если сейчас рыбаков уже поглотили волны, то я, не приведи боже, их убийца. Правда, оба они – насквозь просоленные морские волки, крепкие, как угорская кожа, им не впервой тягаться с дикими хлябями. Но как быть, если они все же погибнут, как погляжу я в глаза их вдовам и сиротам? У старшего, Этельвульфа, всего одна дочь, ее выдали замуж за жителя ближайшего на восток острова, именуемого, как большинство полагает, Санкт-Альдгельм. Но Виглаф, его брат, с трудом кормит шестерых детей, и младший из них еще сосет грудь. Мое беспокойство о них обо всех растет и растет. Стоп! Теперь стану как вкопанный и буду следить за входом в бухту, где мои глаза, к счастью, все еще острые, кажется, заметили парус. Наблюдение мое облегчается тем, что дождь перестал, хоть ветер и не стихает. Да, хвала богу, это парус, это лодка

Виглафа и Этельвульфа! Поелику они достигли защитной бухты, их можно считать спасенными, и, глядишь, они даже доставят мне желанную рыбу. Поистине удивительно: едва у меня затеплилась надежда на спасение братьев, как я уже снова думаю о рыбе, которая, ввиду грозившей опасности, уже потеряла было значение. Как переменчиво все-таки сердце человеческое, как мечется оно между унынием и заносчивостью! Благо еще, что мысли о рыбе пробуждает во мне добродетель рачительности! – Но что это? Не две ли лодки, одна близ другой, качаются там на волнах? Не обманывает ли меня зрение, хотя вообще-то глаза мне еще служат исправно. Нет, – свидетель Христос! – я вижу парус и две лодки. Или, вернее, видел одно мгновение, ибо вторая вот уже снова как бы растворилась или утонула в тумане, и налицо уже только одна, парусная, которая, собственно, мне и нужна, и попутный ветер стремительно несет ее в бухту. Чтобы миновать каменистые отмели, у морских волков достанет искусства и сноровки, об этом мне беспокоиться нечего. Вот они, вот они, так и мчатся сюда, наискось, под вспученным парусом! Я, пожалуй, окликнул бы их: «Хо-хе, хой-хо!», приставив ладони ко рту, если бы не мое духовное званье. Они, я вижу, держат вон на тот мыс, чтобы пристать в узком и мелком заливе между камнями и берегом. С благодарностью в сердце вернусь туда и встречу спасенных. Теперь я, наверно, даже не удивлюсь, если они возвратились с богатым уловом!»

И вот рыбаки, которым аббат делал знаки рукой, провели лодку мимо камней и, опустив парус, шестом подогнули ее к самому берегу, после чего спрыгнули в воду и руками вытащили свой челн на песок, меж тем как аббат радостно их приветствовал:

– Халло, хойхе, смельчаки, Виглаф и Этельвульф, добро пожаловать на сушу, в надежную гавань! За то, что вы выбрались из такого ненастья, хвала создателю! Мы поступили бы наилучшим образом, если бы тут же, на месте, втроем опустились на колени и восславили имя его. Вы видите, ваш аббат горько о вас сокрушался, недаром прибред он на взморье в бурю и дождь. Как у вас дела? Есть ли рыба?

– Хехо, халло, господине, на сей раз обошлось, – отвечали они. – Рыба? Нет, это вы littel bit^[65] слишком уж многого захотели. За счастье вы почли бы, что нас не съели рыбы: такие были волны, такие coups de vent^[66] – вам, сударь, и не представить себе! Один должен был всечасно drawn^[67] воду из лодки, другой – изо всей мочи holden^[68] кормило, ни о чем ином не приходилось и thinken^[69].

«Как они говорят, – думал аббат. – Как грубо и низко. – Ибо мнил, что

досадует на их речь, а на самом деле был разочарован тем, что они не наловили рыбы. – Хоть я и рад их благополучному возвращению, – думал он, – хоть на душе у меня теперь куда легче, все же они погрязли в невежестве».

– Поелику господь вас спас, – молвил он, – я полагаю, ребята, что вы усердно зывали к нему в беде.

– Да, да, сударь, не без того.

– И не примешали к молитве вашей никаких иных словес, всяких там неподобных заклятий и прочего вздора прежних времен?

– Нет, нет, сударь, как можно.

«Наверно, все же не удержались, – думал он. – При таком-то невежестве. Какие у них рыжие бороды, какое красное, просоленное, жилистое и мускулистое тело, нагое до пояса. Почему они так обнажены, почему сбросили с себя фуфайки и куртки в такую погоду?»

Он окинул глазами лодку, которая снаружи была выкрашена в зеленый цвет, но на которой уже сплошь облупилась краска, так что повсюду проглядывал белый грунт. В ней лежали сети, два весла, шест. У кормы, заваленной их одеждой, возвышался какой-то предмет.

– Что это у вас там? – спросил он и указал посохом на корму.

– Это наше poor people's^[70] добро, – пробормотали рыбаки. – Господину оно ни к чему.

«Неужели они все-таки с рыбой, – думал он, – и хотят съесть ее сами? Что бы еще прятать им под одеждой? Они явно смущены. Нужно разобраться, в чем дело». И со словами: «Дайте-ка посмотреть» – он потянулся к загадочной кладке посохом и откинул в сторону их пропотевшую ветошь. Под ней оказался бочонок, ядреный и ладный, с расписными клепками.

– Ну вот! – сказал он. – Как попал к вам в лодку, мужчины, этот нарядный бочонок? Что в нем такое?

– What shall^[71] быти овамо! – отвечали те, стараясь не глядеть на него. – Пожитки poor people's. Fresh water^[72], смола, dram^[73], чтобы пропустить глоточек.

И один до смешного противоречил другому.

– Вы лжете, – молвил с укором аббат. – Вы не обязаны правильно говорить. Но говорить правду обязаны.

И он подошел поближе, ощупал бочонок и склонился над ним, дабы лучше все рассмотреть. Вдруг он отпрянул и всплеснул руками. Изнутри, через отверстие, до уха его донесся плач.

– Боже правый! – воскликнул он. – Тихо! Молчите, не шевелитесь, мне нужно прислушаться!

И наклонился еще раз. Плач повторился.

– Блаженные духи, благовестники славы небесной! – промолвил аббат, на этот раз уже совсем негромко, ибо у него пропал голос, и многожды сотворил крестное знаменье. – О мужчины, сыновья одной матери, Виглаф и Этельвульф, откуда у вас сия бочка? Ибо, знаете ли вы о том, или нет, клянусь вам, что в ней сокрыто дитя человеческое.

– Всего только дитя человеческое? – спросили они. Об этом они и ведать не ведали, они даже разочарованы, если в ней ничего больше нет. Студя руки, выловили они бочку из волн, ибо у входа в бухту носилась ладья без mariner'a^[74], они повернули к ней, подтянули ее шестом и погрузили бочонок в свою лодку, полагая, что в нем найдется какая-нибудь пожива для роог реорле^[75] и что никому нет до этого дела, если они приберут находку к рукам.

– Ни слова больше! – прервал их Грегориус. – Ибо каждое слово праздно, а каждое мгновение дорого. Мигом вытащить бочку на берег, вот сюда, где я расстелил покрывало с собственного плеча. Не болтать и не мешкать! Тут же, на месте, откройте чудесную, необычную бочку сию. Говорю вам: в ней живое дитя. Вышибите сразу же днище, быстро, но осторожно! Возьмите топор, ножи! Соскоблите кругом смолу, которой заделаны щели! И живее, живее!

Так они и поступили. Зараженные его пылом, они быстро вытащили бочонок на сушу и ловко, как подобает умелым морякам, освободили от обруча, расщепили и отодрали клепки. Аббат стоял на коленях, и когда бочку открыли, он благоговейно, с тихой молитвой, извлек из нее то, что она содержала: дитя в пеленах, уложенное на свертки александрийского шелка и такими же шелками покрытое, а еще два хлеба и драгоценнейшую дощечку, исписанную на манер грамотки, в ногах у младенца. От дневного света, сколь ни был он сумрачен, дитя зажмурило глаза и чихнуло.

Аббат порадовался, что заранее опустил на колени и что теперь ему, стало быть, уже не надлежало на них пасть.

– Deus dedit, Deus dedit^[76], – молвил он, сложив ладони. – Сие рожденье из дикого моря – самое священное чудо, случавшееся на моем веку. В чем наставляет нас эта дощечка?

И он схватил ее, поднес к очам и пробежал ими грамоту. Поначалу он не вполне уразумел прочитанное, но что происхождение ребенка, хотя и благородное, связано с какими-то ужасными обстоятельствами, понял

сразу.

«Чего, собственно, я ждал? – думал он. – Что ребенок, у которого все благополучно, будет носиться по волнам в бочке?» С великим состраданием склонился он над нежной, греховной находкой. И тут же, увидевши рядом с собой его кроткий лик, малыш улыбнулся ему сладостными устами.

У доброго пастыря увлажнились глаза. Душа его тотчас исполнилась хлопотливости, и он поднялся, готовый распорядиться самым решительным образом.

– Мужчины, – сказал он, – этот найденыш, как пишут мне, мальчик, столь отраден и мил, а к тому же столь чудесно сбережен богом в сей малой бочке, что мы, несомненно, обязаны воспещися о нем, с умом и оглядкой, во имя бога и покорствуя его недвусмысленно изъявленной воле. Разумеется, это дитя, еще не крещенное, принадлежит монастырю. Но покамест, и тотчас же, ты, Виглаф, возьмешь его с собой в свою ближнюю хижину, и без того кишмя кишашую плодами благословенного брака, и передашь его своей жене Магауте, у которой, кстати, грудь опять полна молока и которая да согреет его и вскормит, ибо, хотя бог милостиво сохранил ему жизнь в его странствиях, наверно, оно тем не менее рискует погибнуть, коли за ним не присмотрят. *Credite mi!*^[77] Все, что вы сделаете для этого карапуза, не будет вам в убыток. Имущественные его обстоятельства, разумеется, весьма запутанны, но стесненными их нельзя назвать, как вы уже видите по редкостным тканям, кои с ним прибыли.

Он снова справился с дощечкой, извлекая такую из складок своего платья, куда успел ее спрятать, и прочитал эпистолу. Затем взял один из хлебов, преломил его и заглянул внутрь.

– Если я, – обратился он к Виглафу снова, – дам тебе две марки золотом на содержание ребенка, раз и навсегда, будешь ли ты пещися о нем и холить его наравне со своими детьми, как своего собственного, разве только с чуть большим тщанием, понеже он, достигнув немногих лет, отправится в монастырь?

Таких денег, как две марки золотом, Виглафу никогда не случилось видеть сразу, и поэтому он согласился.

– А теперь по домам! – воскликнул аббат. – Мы стоим здесь и совещаемся и так уже слишком долго, если принять во внимание неотложные нужды сего дитяти. Ты, Виглаф, закутай – малыша в подостланные под него скарлаты, – они сотканы в левантийском Алисаундре, понятно тебе? – возьми его на руки и неси, насколько способен, бережно! Верхние же я возьму к себе, равно как и оба хлеба, ибо

дитя не может их съесть. И помни, если люди спросят тебя и твою жену, как это получилось, что у вас стало вдруг семеро детей вместо шести, – а, впрочем, кто заметит такую разницу? – ответствуйте, что сие сын вашей племянницы с Санкт-Альдгельма или как там называется ее остров, – она, дескать, его родила, но из-за теснения в груди не в силах за ним ходить, а потому вы его привезли и будете печься о нем из любви к родственникам.

– Но ведь that's^[78] кривда и отговорки, – воспротивясь, вмешался Этельвульф. – Нет у дочки моей никакого теснения, здорова она и крепка, что яблочко налитое, и могла бы upbringing^[79] хоть twelve kiddens^[80], когда бы они только у нее были. That's hoax^[81], а вы, господине, always^[82] учили нас, что надобно говорить правду, хотя и низкими словесы.

– Зачем тебе, Этельвульф, – спросил аббат, – порочить столь тонко придуманную уловку и пакостно поносить то, что так походит на правду? Ибо в точности так же, по крайней мере на вид, с ребенком в лодке вы вполне могли бы вернуться с острова Альдгельма, от твоей дочери, которую я не знаю, но которую ты, конечно же с умыслом, изображаешь этакой здоровячкой. Вот что я тебе скажу. согласишься ли ты, если я дам тебе одну марку золотом, раз и навсегда, подтвердить благочестивый обман, порученный мною твоему брату, и свято молчать о том, как мы нашли младенца сего?

За одну марку Этельвульф сразу же на то согласился.

– Виглаф, – предостерег рыбака аббат, – когда понесешь ребенка, смотри не споткнись от радости, что так разбогател. Да ведь и Этельвульф теперь тоже состоятельный человек. Он ничего не имеет против того, чтобы ты и Магаута, как только поедите, немного за полдень, принесли мальчугана ко мне в монастырь и сказали, что это – ребенок вашей племянницы и что вы хотите заменить ему родителей, ибо мать его по большей части хворает, а меня дружно просите быть ему духовным отцом и тотчас же совершить над ним обряд святого крещения, коего он еще не сподобился. Говорите пристойно и деликатно! Я приму вас в кругу братьев-монахов, а там не годится давать волю привычному просторечью. Иначе братья вас засмеют. Не говорите: «Ji shellt^[83] сосунка dopen^[84] или happen!»^[85] Это неприлично. Возьмите себя в руки, поднатужьтесь и скажите: «Ваше преподобие, господин аббат, сие новорожденное дитя направили к вам наши доброчестные parentes^[86], которые доверили его нам и просят вас самолично даровать ему святое крещение, дабы снискать младенцу блаженную жизнь, а сверх того, коли соблаговолите, наречь его вашим собственным именем – Григориус». Ну-ка, Виглаф, повтори!

И Виглафу пришлось поднатужиться и трижды с великим трудом повторить эту просьбу, прежде чем аббат отпустил его в его хижину. Там он отдал дитя своей жене Магауте, наказав ей под страхом жестокой порки никогда не спрашивать, откуда оно взялось, людям же, если понадобится, говорить то-то и то-то и ходить за ним как за своим собственным, только еще чуточку лучше. А Магаута думала: «Нашел чем пугать! Нужно быть мужчиной, чтобы поверить, будто такое дело можно долго таить от женщины. Уж я-то докопаюсь до правды!»

Заветные деньги

Теперь послушайте, как все устроил бог и с каким величайшим искусством, себе же наперекор, добился того, что внук господина Гримальда, отпрыск скверных детей, благополучно доплыл до суши в своем бочонке. Сильное течение понесло его жалкий кораблик, игралище диких ветров, в узкий пролив, где от земли до земли всего один шаг, а затем, вдоль рукава, к уединенному острову, каковой премудрость господня избрала пристанищем неприкаянного. Лишь две ночи и один день продолжалось его плавание, и я уверен, что более длительного путешествия не выдержал бы даже такой сильный и дотоле сытый ребенок, как этот. Полагаю, что почти все время он спал, укачиваемый волнами и укрытый от них в темном лоне бочонка, ибо если по прибытии своем он был не вовсе сух, то виною тому не море. Великой опасностью грозили его греховной жизни еще и в самый последний час многопенные рифы бухты, в которую понесло его челн. Но здесь его нашли рыбаки, и этим не удалось утаить от аббата свою находку. Дальше все пошло так, как я рассказал.

Магаута, жена Виглафа, обычно тощая и сварливая, после родов неизменно становилась пышнотелой и ласковой, отчего муж, несмотря на нищету его хижины, старался как можно чаще наделять супругу благословенною ношей. Молока у нее было больше, чем потребно ее собственному младенцу, вполне хватало и на приемыша, и она накормила и согрела его со всей кротостью, какой на краткое время снова сподобилась. И вот, румяный, умиротворенный, мальчик лежал на грубых пеленках и на соломе, бок-о-бок с рыбацким сыном Фланом, что теперь приходился ему молочным братом. И вот, когда супруги поели, они взяли дитя и понесли его в монастырь, как наказывал аббат. Тот задержал братьев в трапезной и велел чтецу, брату Фиакриусу, монаху, обладавшему бархатным басом, прочитать им одну превосходную главу из книги «Summa Astesana». Они с наслаждением ее слушали, когда доложили о приходе Виглафа и Магауты, и мой друг, аббат, казалось, немного посетовал на эту помеху.

– Зачем они отвлекают нас, – молвил он, – от этой великолепной главы!

Но потом явил беднякам полнейшую кротость, хотя и с примесью удивления.

– Добрые люди, – сказал аббат, – какая нужда привела вас к нам, втроем, с этим на редкость красивым ребенком?

Теперь Внулаф должен был поднатужиться и наизусть отбарабанить затверженное – о добродетельных parentes, хворой племяннице и крещении, и речь его весьма развеселила монахов. Настоятель полагал, что они будут смеяться над грубою речью рыбака, а смеялись они как раз оттого, что он говорил столь вычурно, и еще оттого, что это не вполне ему удавалось, и он, вопреки запрету, все-таки вставил словечки «harpen» и «сосунок».

– Послушайте только этого мужлана! – восклицали они. – Послушайте только его язык и его eloquentiam!^[87]

Но аббат, хоть и сам улыбался, упрекнул насмешников и взял мальчика на руки с нежностью и восхищением.

– Случалось ли здесь, – молвил он, – на сем острове Санкт-Дунстане, видеть когда-либо столь благообразное и очаровательное дитя? Посмотрите на эти глаза, черные с синевою, на эту изящную верхнюю губку! А эти необыкновенно красивые ручки! Дотронувшись тыльной стороною перста моего до этой ланиты, я ощущаю нечто воздушно-благоуханное. Если это substantia^[88], то разве только небесная. Мне больно слышать, что дитя сие – своего рода сирота, ввиду хворости его далекой матери, и я могу только похвалить супругов Виглафа и Магауту за то, что они пожелали воспечься о нем и холить его, как собственное чадо. Особенно же огорчает меня, credite mi, что такое прелестное дитя еще не приобщено к христианству. Давно пора бы о том позаботиться. Сейчас мы все направимся с ним в церковь, к купели, и там я самолично его окрещу и буду ему, как меня просят, духовным отцом, нарекиши его по себе – Грегориус.

Так оно и случилось, мой друг сделал все, как сказал, и мальчуган отныне носил его достославное имя – Грегориус, но обычно именовался попросту Григорс. Под сим именем он и возрастал среди мужичьих детей, и Магаута недурно за ним ходила, даже когда ее пышнотелая кротость давно уже сменилась худобой и сварливостью. Ибо аббат Грегориус исправно следил за тем, как она выполняет свои материнские обязанности, и почти не было дня, чтобы он не наведался в хижину Виглафа и не удостоверился в благополучии своего духовного сына. Но и всем детям этой четы, да и ей самой, жилось теперь лучше, чем прежде, ибо двух марок, полученных Виглафом от аббата, с великим избытком хватало на содержание седьмого ребенка, и если дотоле жестокая бедность держала рыбака в своих когтях, то ныне он вырвался из них и сумел понемногу наладить свое хозяйство. До сих пор дела его шли из рук вон плохо, он тяжело трудился и едва сводил концы с концами, теперь же все изменилось. Он купил трех коров и двух свиней, и сверх того – право пасти скот на выгоне, пристроил к своей

хижине коровник, свиной закут и горницу и сиживал там вместе с семьей за молочной похлебкой, колбасой и кислой капустой. Ибо еще он приобрел у общины полосу земли под репник и огород и, удобряя ее навозом, выращивал частью на собственную потребу, частью же для продажи, морковь, капусту и полевые бобы, а горемычным рыбацеством занимался отныне только при случае – и все это благодаря счастливой находке!

Когда его жена Магаута увидела, что он строит коровник, она воздела руки горе и донельзя удивилась его затее при их бедности. Но он промолчал. Когда же вдруг появились две коровы и вскоре – еще одна, а после закут и свиньи, а затем горница, а потом еще огород, она удивлялась каждой обнове несказанно и громогласно:

– Муже, не рехнулся ли ты? Помилуй, муже, какая муха тебя укусила, и как же нам теперь быть с нашей-то нищетой? Муже, ответь бога ради, откуда у тебя деньги на всю эту роскошь? Никогда у нас не было ничего, кроме черствого хлеба, а теперь у нас и колбасы, и пахтанье, и мы богачи! Муже, тут что-то нечисто, вот ты уже разводишь морковь. Если не скажешь, откуда у тебя деньги, значит, они от дьявола.

– Разве я не посулил тебе ремня, – пригрозил ей муж, – если будешь спрашивать?

– Ты запретил мне спрашивать про ребенка, а не про деньги.

– Я вообще запретил тебе спрашивать, – сказал муж.

– Так-таки ни о чем нельзя и спросить? Ты наживаешь добро, наколдовал нам коров и свиней, а мне и спросить нельзя – с чьею помощью?

– Жена, – сказал муж, – еще одно слово, и я возьмусь за ремень, и ты у меня вдосталь накричишься.

Тут она замолчала. Но однажды ночью, когда он по-супружески пожелал ее тощего тела, она не подпустила его к себе, пока он ей не поведал, как они с братом замерзшими руками выловили ребенка из волн и как сие обнаружил аббат, который и дал ему, Виглафу, две марки золотом, чтобы тот вырастил подкидыша для монастыря. Но чье это дитя и кем оно брошено в море, никто не знает. Затем, исполнив свою нужду, он сказал:

– Фу ты, дело не стоило того, чтобы выдать тайну! Если ты ее не сохранишь и начнешь twaddein^[89], что Григорс – найденыш, я избыю тебя до полусмерти.

И она действительно хранила тайну и не осмеливалась twaddein долгие годы, поелику боялась, что исчезнут колбасы и пахтанье, коли она не будет молчать. О приеме же она заботилась не хуже, чем о Флане, ее собственном младшем сыне, и когда аббат заходил к ним, чтобы

посмотреть, все ли в порядке, она показывала ему двух благополучных молочных братьев. А он делал вид, будто ему одинаково важно благополучие обоих, и хвалил ее грубовато-нескладного Флана не меньше, чем чужое дитя, которое явно было сделано из более тонкого теста и которому тайно принадлежало все его внимание – не только потому, что мальчик отличался от детей рыбака благородством и красотой, но прежде всего потому, что он знал, в сколь великих грехах тот рожден, ибо подобные обстоятельства глубоко волнуют христианина и вызывают в его душе своего рода благоговение.

Глядя, как идут впрок рыбаку деньги найденыша, аббат усмехался. Но он помнил, что сам он, по смыслу грамоты на писчей дощечке, обязан умножить приданое ребенка и пустить его золото в рост. Много раз, начиная с первого дня, читал он сию дощечку, – в общем, наверно, ни одна дощечка на свете не читалась так часто, как эта. Аббат Грегориус запирался у себя в келье, когда ее изучал, и на первых порах у него ушло немало времени, чтобы из робких иносказаний о родне дитяти (говорилось, что оно – брат и племянник собственных родителей) вывести греховную и потрясающую христианское сердце правду. Брат и сестра, какая мука! Господь сделал наш грех мукой своею. Грех и крест – они совокупились в нем воедино, ибо господь есть по преимуществу бог согрешивших. Потому-то пристанищем неприкаянного чада он и назначил эту свою твердыню – «Муку господню». Аббат глубоко сие восчувствовал, и ему была дорога его миссия. Первый наказ дощечки он уже выполнил и окрестил некрещеное дитя. Второй – научить ребенка грамоте, чтобы тот некогда прочитал свою дощечку, – собирался исполнить, как только мальчик, под присмотром жены рыбака, достаточно подрастет для ученья. Но нельзя было пренебречь и третьим – приумножить достояние подкидыша, семнадцать золотых марок, оставшихся от найденных в хлебах двадцати, после того как аббат отдал три из них рыбакам. Это весьма тревожило благочестивого мужа, ибо разве такая сумма уже сама по себе не есть пища адского пламени, даже если не надобно наживать лихвы и взимать плату за время господне? А ему все-таки очень хотелось учинить сие для своего крестничка, как наказано было в дощечке.

Посему он призвал к себе в келью монастырского келаря, брата Хрисогонуса, запер двери и молвил:

– Брате, у меня, твоего настоятеля, имеется некий в меру большой capitale^[90], сиротские деньги в золотых марках, числом семнадцать, доверительно мне врученные – не для того чтобы я просто положил их в кубышку мертвым богатством, но чтобы извлек из них прибыль. Писано

же: благочестиву рабу надлежит не зарывать в землю данного ему от бога таланта, но растить оный. Однако, по сугубом размышлении, ростовщичество опять же – не христианское дело, но грех. При таком разладе что бы ты мне посоветовал?

– Это проще простого, – отвечал Хрисогонус. – Вы отдадите деньги еврею Тимону Дамасскому, бородачу в островерхой шляпе, мужу верному и надежному, весьма искусному в ростовщичестве. В своей меняльной лавке он только деньгами и торгует, и вы представить себе не можете, какой он дока по этой части. Он пошлет ваши деньги хоть в Лондиниум, в Эссексе, и пустит их там в оборот, чтобы они принесли проценты на проценты, и если вы оставите ему ваш capitale на достаточно долгий срок, то он сделает вам из семнадцати марок золотом полторапта.

– Так ли это, – спросил аббат, – неужто он и впрямь умеет столь искусно доить время? А можно ли на него положиться?

– Нет на свете ростовщика, – отвечал монах, – честнее, чем санкт-дунстанский еврей.

– Хорошо, Хрисогон, в таком случае прошу тебя: возьми эти сиротские деньги и доставь их в лавку желтошляпного Тимона! Ступай тотчас же, дабы capitale поскорее начал расти, и принеси мне расписку!

Так наказал аббат монаху, но потом, когда тот уже подошел к двери, еще раз его окликнул:

– Хрисогоне, – промолвил он, – я, настоятель твой, обладаю обширными познаниями, жить с которыми, credemi^[91], подчас не так-то легко. Я припоминаю не один собор и не один синод, запретивший ростовщичество как священникам, так и мирянам или, если не этим последним, то уж во всяком случае нам, священникам. Посему, отдавши деньги еврею, почти за лучшее отправиться в бичевальню и принять умеренное наказание очищения ради.

– О нет, – возразил монах. – Мне уже за шестьдесят, и я с великим трудом выдерживаю удары бича, даже если наношу их себе осторожно. Вы же на десять лет моложе меня и деньги-то ваши. Посему, коли вы печетесь об искуплении, вам придется самим побывать в бичевальне и воздать себе причитающееся.

– Ступай с богом! – сказал аббат и стал снова читать дощечку.

Печальник

Мальчик Григорс знать не знал обо всех этих делах и заботах, да и о себе и о своих обстоятельствах он тоже знал лишь то немного, что видел собственными глазами. Он рос среди детей рыбака, которые считали его своим братом, как и он их – своими братьями и сестрами, да и у жителей острова, если это их вообще занимало, он слыл младшим сыном Виглафа и Магауты, ибо в выдумке аббата, будто дитя привезено с Санкт-Альдгельма, от хворой дочери Этельвульфа, не было вовсе нужды или, если какая нужда и была, то сведенья эти быстро изгладились из памяти островитян. Он носил такую же грубую одежду, как его братья, и в три года начал говорить так же, как они и их родители – «What shall быти овамо» и «Мне оно ни к чему»; разве что от аббата, его крестного отца, который часто их навещал, он научился вставлять в свою речь словечко «credemi», так что, бывало, скажет: «Флан, credemi, have not stolen^[92] у тебя твоих мячиков», отчего братья, а в конце концов и родители, на первых порах в шутку, а затем и не в шутку, привыкли называть его «Кредеми». И он откликался на это имя.

Кредеми-Григорс был хорош собою. Казалось, что губы его не созданы для грубой мужицкой речи, слетавшей с них, его мягкие каштановые волосы не походили на свалявшиеся соломенные вихры сорванцов из рыбацкой хижины, а его улыбка – на их ужимки, и ничего общего с их ревом не имели его тихие слезы, когда он плакал от боли. В пять лет он сильно вытянулся и приобрел стройность, все больше и больше отличаясь от местных детей и сложением, и вылепкой рук и ног, осанкою, и походкой. Миловидный, с серьезным, приятным лицом и строго очерченным ртом, он уже тогда часто склонял к плечу свою продолговатую головку и, держась рукой за другое плечо, скосив и потупив глаза, мечтательно куда-то глядел из-под темных ресниц.

В шесть лет он перекочевал в монастырь; аббат нашел, что время пришло; ибо этот добрый человек спешил научить мальчика грамоте. Он отнюдь еще не собирался ознакомить ребенка с пресловутой дощечкой, но ему не терпелось увериться, что уже скоро тот будет способен ее прочитать. Расставанье с родными, по-видимому, не явилось особым событием ни для них, ни для Григорса. Ведь путь ему предстоял недалекий: от отцовской хижины к монахам рукой подать. И все же разлука была глубже, перемена в его жизни значительнее, чем думалось обеим сторонам при этом безгорестном прощании, и хотя он мог общаться с семьей сколько угодно,

пропасть между ними от месяца к месяцу становилась все шире и шире, так что родные по большей части молчали, когда он захаживал к ним.

Он был теперь монастырским школяром, заменил свою пестревшую заплатами рубаху подобием стихаря, ровно подстригая волосы на затылке, отпустил их в длину над ушами и содержал в опрятности руки и ноги. Читать и писать он с великою быстротой научился у патера Петра-и-Павла, незлобивого брата, который, как ученый и поэт, именовался Гальфрид Монмутский и был попечителем и наставником пяти-шести воспитанников «*Agonia Dei*», ночевавших вместе с Григорсом в сводчатой спальне. Они превосходили его годами и уже знали грамоту, когда он к ним присоединился; но вскоре он сравнялся с ними в умении владеть грифелем и пером, а затем, к радости Петра-и-Павла, решительно опередил их в малых сциенциях, художествах словесности, счета и пения, ибо мальчики также певали латинские величания, которые сочинял и сопровождал игрою на лютне упомянутый брат. Григорс тоже обучился игре на лютне, а равно и латыни.

Его речь стала чиста, как его руки и ноги, и вскоре он при всем желании, совсем не из высокомерия, не мог говорить грубым мужицким языком. Когда по восьмому и десятому году он приходил в гости к поселянам, он из вежливости старался употреблять их слова, но таковые звучали в его устах неестественно и были ему не к лицу, так что все только морщились: он – от стыда, а они – от злости, ибо им казалось, что он над ними глумится. С особенной неприязнью, искажая в гримасе толстые губы и даже сжимая кулаки, взирал на него Флан, его молочный брат, малый с шарообразной головой на короткой шее и такими же круглыми, похожими на лущеные каштаны глазами.

Это причиняло Григорсу боль, ибо на уме у него не было ничего недоброго, и если он все же несколько зазнавался, то совершенно произвольно. Успехи его были отменны и доставляли радость Петру-и-Павлу, а также другим братьям, его обучавшим, и аббат, проверяя знания крестника, только диву давался. В одиннадцать лет он был отличный грамматикус, а в последующие годы разумение его настолько окрепло, что и *divinitas*^[93] стала ему вполне понятна. Это наука о божестве. Он читал свиток за свитком, и, что бы ему ни преподавали, он быстро во все вникал, схватывал самую суть и сразу овладевал предметом. В пятнадцать и шестнадцать лет он слушал *de legibus*, науку, трактующую о законах и требующую весьма ясного ума. Молодой Кредеми усваивал ее играючи и вскоре сделался таким законником, каких поискать надо. Замечу, однако, и притом с полной уверенностью в своей правоте, что все эти знания он

приобретал без особого рвения. Добавлю также, хотя слова мои, может быть, прозвучат здесь загадочно, что если причиной отчуждения его от родной хижины и послужила изысканная ученость, то существовали еще и другие вещи, чувства и мысли, которые подчас даже отбивали у него вкус к монастырской науке и книгам, и ему втайне казалось, будто он не только отличается породой и складом от своих кровных, но по сути не находит себе места и среди монахов и школяров, будто не по нем его платье, его званье, все-его бытие, где молитвы сменяются корпением над книгами, будто он здесь такой же чужой, как и там.

Было ли это высокомерием или греховным чванством? Но если он не гордился успехами в ученье, не придавал им никакой важности и не считал их своим настоящим, почетным делом, то что же еще мог он вменить себе в заслугу? Допустимо ли гордиться собою просто так, ни с того ни с сего, независимо от своих дарований, и, стало быть, считать, что ученость – удел тех людей, которым она нужна, чтобы тоже что-то собой представлять? А он держался со всеми учтиво и скромно, не из подобострастия, но из врожденного добронравия. В пятнадцать – шестнадцать лет он вырос в красивого юношу – стройный, с узким лицом, прямым носиком, изящным ртом, прекраснобровый, овеянный мягкой грустью. Жители острова любили его. Когда он, по тому или иному монастырскому поручению, приходил к ним в деревню, они говорили с ним улыбаясь, а за спиной многозначительно перешептывались; он это подмечал без удовольствия и все же с какой-то особой жадностью. Беседуя с кем-нибудь, он в то же время прислушивался к речам тех, кто стоял сзади и рассуждал о нем, отнюдь не стараясь не быть услышанными.

– Это, – говорили они, – Грегориус, школяр, аббатов крестник, youngster^[94] прямо-таки удивительный, хотя всего-навсего сын нашего Виглафа и нашей Магауты, кто бы подумал! Grammatica^[95] и divinitas прозрачны для него, что твое стекло, а ведь нисколько не важничает и всегда приветлив с людьми при таком уме, ну и lad^[96]. Он и сам еще станет аббатом, вот увидите, и мы все, дайте срок, будем целовать ему руку. Да мы хоть сейчас поцелуем ее не в обиду себе, ибо (не знаю, слышит ли он меня, или нет) есть в нем что-то такое, перед чем нашему брату ничего не стоит и, пожалуй, даже приятно склониться; бог весть, откуда это у него! Не знай я наверняка, что его родила хижина, никогда бы я этому не поверил, и, право же, лучше бы мне о том не знать. Просто-таки жаль, что он не может похвастаться благородным происхождением, ибо, окажись оно у него, он, ей-ей, сгодился бы в правители какой-нибудь богатой страны – и так далее,

в этом же смысле.

С трепещущим сердцем прислушивался Григорс к таким разговорам. Не то чтобы они его услаждали; они его даже мучили, как ни жадно он к ним прислушивался, и казались ему злоречивым намеком на какую-то неправомерность его рождения. Они звучали как подтверждение его собственных дум и обостряли внутренний разлад, все больше и больше его тревоживший. Когда он вот так стоял, как я вам описываю, склонив к плечу голову и мечтательно глядя куда-то из-под ресниц, – он, представьте себе, мечтал о рыцарстве. Рыцарский бой, ратная служба, вассальство и гордая куртуазность стали ему знакомы из книг, которые, отдельно от ученых трактатов, также хранил монастырь: из преданий о Роланде и короле-бретонце Артуре, с его пышным двором в Дианасдруне. Когда он читал их, у него, как говорят поэты, «вздымалась левая грудь». Он мечтал быть в числе Артурова джентльфолька и, лежа в одиночестве на морском берегу, в своем стихаре, головою на камне, видел себя в другом наряде, – в пурпурном плаще, в наплечнике и нагруднике, видел, как он приближается к кринице в густом лесу, где на могучем древе висела золотая чаша. Стоило ее взять, зачерпнуть воды из криницы и, не сходя с места, окропить изумрудную лещадь, как в лесу разражалась гроза и буря, неминуемо губившая любого смельчака. Однако он, Григорс, остался невредим среди молний и рушившихся стволов и спокойно встретил одетого в латы властелина криницы, который, как и следовало ожидать, призвал его к ответу. Разгневанный властелин криницы был вдвое выше и вдвое сильнее его, но не обладал такой собранностью в бою, как Григорс, а потому отрок его убил, после чего снискал благорасположение добродетельной вдовицы поверженного.

Вот каковы были его мечты; но если испытания, коим он мысленно себя подвергал, его и будоражили, то они, собственно, не сами по себе занимали и омрачали его душу. Так уж он был сотворен, что не только мечтал, но одновременно призывал себя к ответу за свои мечты, подобно тому как властелин криницы призвал его к ответу за его дерзость. То, что он *лелеял* эти мечты и непрестанно *грезил* о рыцарстве, то, что его помыслы неизменно устремлялись к щиту, что ему так хотелось поднять собственный щит, стиснуть локтем ратовище копья, дать шпоры коню и скакать, скакать – вот что поражало Григорса и заставляло его думать о себе и своем положении. Смешно, когда кто-нибудь, не зная чужого языка, утверждает, что внутренне знает его, отлично владеет им и говорит на нем с естественной легкостью. Но именно так обстояло дело у Григорса с верховой ездой. О ком бы ни говорили, что он великолепно сидит в седле,

делает вольты, затягивает повод, жамблирует, – юноше всегда казалось, что у него самого это получится ничуть не хуже, а то, пожалуй, и лучше. Он ни с кем не делился такими мыслями именно потому, что находил их смешными, если на все взглянуть со стороны. Но для него тут не было ничего смешного, для него это была правда, которая, как и разговоры за его спиной – то он, мол, не походит на сына хижины, – лишь омрачала ему душу, заставляя его сомневаться в правомерности его рождения.

Наверно, поэтому на нем и лежал всегда флер печали, что, впрочем, только красило его и скорее усиливало, чем уменьшало юношеское его обаяние. А впрочем, не рискнуть ли мне на более смелое утверждение, не написать ли так: всей своей душой, да, поистине, всей своей плотью и кровью он чувствовал, что если жизнь его в чем-то неправомерна, то и сама ее правомерность опять-таки крайне неправомерна? Чем доказать столь смелое утверждение? Но тень грусти окутывала юношу, и братья «Муки господней», равно как товарищи Григорса по ученью, называли его «печальник», а если были родом с материка, из норманнских мест, – то «Тристан озабоченный, qui onques ne rist»^[97]. Таким образом, кроме «Кредеми», у него имелась еще вторая кличка, и, право же, он носил ее без стыда, ибо, называя его «печальником», никто не хотел сказать, что он неженка или ханжа. Да оно и не вязалось бы с его тайными мечтами о рыцарстве! Телосложения он был скорее тонкого, чем грузного и могучего, легорукий, стройный в ногах. Но в соревнованиях школяров на гравии монастырской площадки и на лугу, где молодежь острова упражнялась в бросании мяча, в борьбе, прыжках и фехтованье на палках, в метанье копья и в беге, он, при всей своей хрупкости, добивался большего, чем иные при более мощной стати – и притом по той же причине, по какой он мысленно одолел властелина криницы, то есть попросту потому, что, не в пример прочим, обнаруживал величайшую собранность и, в отличие от них, вкладывал в состязанье все свои силы, не только телесные, но и другие.

Если Григорс-печальник и без того был хорош собою, то во время игрищ он становился прямо-таки красив, по причине только что упомянутой, и это ни от кого не могло укрыться. На его сосредоточенный лоб ниспадали каштановые волосы, более мягкие, чем у других, а на узком лице с заметно выпуклой верхней губой, вплотную прижатой к нижней, и тонкими продолговатыми ноздрями – на этом лице, которое не багровело и не вздувалось от напряженья, как у его товарищей, а наоборот, приобретало бледность и матовость, горели с какой-то особенной силой пронзительные голубые глаза: они подмечали любое движение противника, любую его уловку, и молниеносно, пружинясь всем телом, Григорс встречал ее,

пресекал, отражал, добивался перевеса и одерживал победу. Все единодушно признали бы его первенство в играх, если бы не его молочный брат Флан, – этот ему не уступал.

Флан, как я уже говорил, был малый могучего телосложения, с короткой шеей, коренастый и широкогрудый. Он давно уже стал подручным отца в рыбной ловле, а равно и в крестьянской страде на пашне, в хлеву и свинарнике, что отвлекало его от игр не меньше, чем усердное учение Григорса. Но всегда, когда последний участвовал в игрищах, Флан тоже приставал к молодежи и благодаря своей силе оспаривал у него преимущество, так что никто не мог решить, кто же из братьев сильнейший. Григорс метал копье на редкость далеко, гораздо дальше, чем позволяли предположить его легкие руки, но затем, совершенно рядом, в землю, дрожа, вонзалось ратовище Флана, не дальше, однако же, ни на пядь и не ближе, – никакой судья не сумел бы тут установить чье-либо превосходство, как и в беге, когда они завершали его в точности одновременно, едва дыша, хотя одного несли мускулисто-кряжистые, а другого – стройные ноги: они вместе касались грудью шнура, и приходилось выкликать сразу два имени, ибо победителей было двое. Всем мальчикам хотелось, чтобы в игру вступили Григорс и Флан: тогда она становилась напряженнее, потому что эти предельно напрягавшиеся соперники заставляли и прочих напрягать свои силы и душу. Когда гоняли мяч ногами и головой, Флан никогда не играл на той же стороне, что и Григорс, и это все одобряли, ибо оба отряда желали иметь одного из братьев своим вожаком, зная, что его ловкость сделает их более ловкими в нападении, в беге, в гашении удара и защите ворот – одиннадцать игроков по обеим сторонам поля сливались, казалось, в единое целое и с точностью часовых колесиков передавали друг другу кожаный шар, так что последний одинаково часто пролетал между левыми и между правыми колышками.

Однажды этих несходных и все же сходно искусных в игрищах братьев подстрекнули побороться перед лицом всей молодежи, и эта борьба протекала странно. Флан, будучи сильнее, но не искуснее, быстро повалил Григорса, однако тот, упершись в землю ногой и руками и особенно головой, не давал положить себя на спину; повернуть его и прижать лопаткой к траве Флану не удавалось; видно было, что полупобежденный скорее позволит проломить-себе череп, чем перестанет упираться. Так длилось несколько минут, показавшихся зрителям едва ли не добрым часом, и за этот срок руки Флана набухли от усилия. Затем случились две вещи сразу, или, вернее, столь быстро одна за другой, что они, можно сказать, совпали во времени. В тот миг, когда эта сила на какую-то

ничтожную долю уменьшилась и чуть-чуть отступила, чтобы возобновить натиск, Григорс оттолкнулся от земли головой и ногой, которая служила ему опорой, и вместе с собой, подминая Флана под себя, бросил обвинившего его брата на мятый дерн, так что лопатка противника чуть коснулась земли – но лишь на мгновение, ибо сразу же, прежде чем следивший за ними судья успел выкликнуть имя Григорса, Флан, не ослабивший натиска, снова повалил победителя и прижал его лопатку к траве: таким образом он победил напоследок, а Григорс сначала, и опять нельзя было назвать имени победителя, иначе как выкликнув и то и другое.

Я вовсе не интересуюсь борьбой, да и вообще игрищами. Мне кажется, что я даже роняю свое достоинство, как и достоинство места, где я нахожусь, и столца, за которым пишу, повествуя о состязаниях каких-то там мальчишек-островитян у далекого канала. И все же сие согревает мне душу и странно захватывает воображение. Да ведь и в самом деле сноровка Флана еще поразительней ловкости Григорса, ибо этот был из особого теста, а Флан ничем не отличался от остальных, и такой же телесной силой, как он, обладают многие. Однако, говоря между нами, он тоже боролся не только телесною силой, о нет, но еще и другой. И если вы спросите, какая же это добавочная сила его вдохновляла, то отвечу вам: ненависть. Ненависть к Григорсу, его брату, – вот что вдохновляло его и уравнивало с ним в игре. Больше того, эта ненависть заставляла Флана досадовать и злиться, что его игра с Григорсом была только игрой, а не жестокой борьбой – не на живот, а на смерть.

Удар кулаком

Поэтому приключилось вот что. Однажды, когда молочным братьям было уже без малого по семнадцати лет, случилось так, что они почти одновременно оказались на берегу, неподалеку друг от друга, примерно на том самом месте, где некогда благополучно пристала ладья Этельвульфа и Виглафа. Дело было летом, после полудня. Солнце медленно склонялось над морем, но еще не румянилось и не багрило вод, которые не то что безжизненно, а мирно, набегая на отмелях длинными и мягкими грядами, синие, с серебристыми блестками, простирались в широкую даль. Хорошо было здесь в этот час. Грегориус пришел первым, воспользовавшись досугом. Он сидел на песке, прислонившись спиной к большому камню, вытянув ноги, обутые в просторные кожаные сандалии, и читал книгу, но иногда поднимал голову и смотрел, как кружат и парят чайки, или окидывал глазами море вплоть до четко обозначенного окоема, перед которым окраска воды густо темнела и который закрывал вид на страны мира. Между прочим, на указательном пальце правой руки он носил перстень с печатью, каковой недавно подарил ему его отец во Христе, аббат, и на темно-зеленом камне коего был вырезан агнец с крестом.

Немного позднее пришел Флан. Шагах в тридцати от места, где сидел Григорс, он стал хлопотать над отцовской лодкой, вытащенной на берег, – уже не той, которую некогда столь озабоченно поджидал аббат Грегориус: эта была больше и ладнее, прекрасновыпуклая, с красивым бушпритом, утлегарем^[98] и прямым парусом, снаружи приятного темно-красного цвета, и даже с названьем, красовавшимся у форштевня^[99]. Ибо если ее предшественница вовсе не имела названья, то сия именовалась «Непорочная Ингуза», что мог прочесть всякий, кто умел читать. Флан не умел, но хорошо знал это название с чужих слов.

По приходе он бросил на Григорса хмурый взгляд, а затем занялся сетями, чинил весло, наконец с глухим шумом швырнул его в лодку, отошел от нее и, насвистывая, лениво играя своею силон, вразвалку побрел по кромке берега в сторону брата. На Флане были только короткие штаны да свободная, распахнутая на груди холщовая куртка, рукава которой едва доходили ему до локтей. Когда он поравнялся с Григорсом, он резко, нимало не опасаясь причинить боль себе самому, оттолкнул левой ногою вытянутые ноги сидевшего, словно это какой-то ненужный, докучливый предмет, и пошел дальше.

Григорс, вскинувши брови, поглядел ему вслед.

– Прости, Флан, – крикнул он брату вдогонку, – что мои ноги загородили тебе дорогу!

Флан пропустил его слова мимо ушей. Сделав еще несколько шагов, он повернул назад. Когда Григорс это увидел, он согнул ноги в коленях и поставил их на песок, чтобы они не мешали Флану, даже если тот пройдет совсем рядом.

Но на сей раз он остановился перед Григорсом, так что этот опустил книгу и вопросительно на него взглянул.

– Читаешь? – спросил Флан.

– Да, читаю, – отвечал Григорс, улыбаясь и пожимая плечами, словно чтение – какая-то странная его причуда, и добавил:

– А ты, как я видел, навел порядок на «Непорочной Ингузе»?

– Это тебя не касается, – сказал Флан, качнув коротким зашейком. – Что же ты читаешь?

– Можно было бы сказать, – ответил Григорс, – что тебя это тоже не очень касается. Но все-таки книга, которую я читаю сейчас, носит название «De laudibus sanct'ae crucis».

– Греческая? – спросил Флан, снова качнув головой.

– Нет, латинская, – ответил Григорс, – и называется «О восхвалениях святого креста». Так, впрочем, следовало сразу сказать. Брат Петр-и-Павел велел мне читать ее в свободное время. Это, знаешь, стихи, снабженные хорошими прозаическими примечаниями.

– Нечего тебе *boasten* и *swaggen*^[100] передо мной, – обрезал его Флан, – какой-то ученой дребеденью насчет прусического мычания! Ты ведь хочешь посрамить меня своей болтовней и болтаешь нарочно, чтобы дать мне понять, насколько ты умнее и благородней, чем я.

– Да нет же, Флан, – возразил ему Григорс. – Клянусь тебе, ты ошибаешься. Когда ты спросил меня, что я читаю, я почувствовал прилив крови к лицу, и, несомненно, со стороны было видно, что я покраснел. Ты не мог этого не заметить. Я покраснел, как девица, оттого, что ты заставил меня говорить с тобой о книге и о латинских стихах. Я говорил неохотно, мне было стыдно, и я подсадовал на твой вопрос, ибо я отнюдь не хочу держать себя вызывающе.

– Ага, тебе было стыдно! Стыдно за меня, стыдно передо мною! Да знаешь ли ты, что эта самая большая обида и самый оскорбительный вызов? Я затем и спросил, чтобы показать тебе, что ты не можешь рта раскрыть, не можешь даже жить на свете, не бросая мне вызова! Но ты говоришь, что не хочешь этого. Ты, наверно, не хочешь, чтобы я вызвал

тебя на бой?

– Ты этого не сделаешь.

– Я уже это сделал! Но ты поджимаешь ноги. Зачем ты поджал ноги, когда я повернул назад?

– Потому что не хотел, чтобы ты снова споткнулся.

– Нет, тогда бы ты подошел ко мне, призвал меня к ответу, потребовал удовлетворения, как подобает мужчине и дюжему парню. А ты поджимаешь ножки и скрючиваешься, эх ты, рохля, сопливый, трусливый попик и рохля!

– Этого тебе не следовало говорить, – сказал Григорс и медленно поднялся.

– А я это говорю! – вскричал Флан. – Говорю потому, что ты попоповски виляешь, и не хочешь понять, и не хочешь признать, что пора нам с тобой посчитаться по чести, раз и навсегда, чем бы дело ни кончилось, по чести, каков бы ни был исход, – понимаешь? Ибо так продолжаться не может! Ты рожден в хижине вместе со мной, ты – такой же сын Магауты и Виглафа, как я и как прочие, а на, поди же – не такой же. Ты словно вышел из кукушечьего яйца, у тебя иное тело, иная жизнь, в тебе есть что-то несносно иное, черт его знает что именно, и ты осмелился пробиться к чему-то более благородному и высокому – добро бы ты этого не знал! Но у тебя хватает дерзости это знать и даже хватает дерзости быть ласковым с нами! Если бы ты нам дерзил, это было бы куда меньшей дерзостью с твоей стороны! Ты крестник аббата, тебя, помесь хижины и гордыни, он по шестому году взял в монастырь, ты обучен и грамоте, и науке, и всякой поповской блажи, но от поры до поры ты приходишь к нам в гости, и мы замечаем, что ты не хочешь, чтобы мы заметили разницу между нами, – твой нежный ротик подражает нашему говору, а это несносно, ибо мужицкая речь пристала только мужицкому рту, и если так говорят нежным ротиком, то это – издевка! Издевка – самое твое бытие, ибо ты вносишь в мир беспорядок и путаницу. Будь ты этаким святошей, slack и flimsy^[101], обабившимся монашком, хилым и немощным, то любой честный парень сказал бы: «Ладно, ты нежненький, а я сильный. Я тебя не трону, твоя слабость для меня священна!» Но ведь ты, как вор, добываешь откуда-то мощь, и в играх ты так же искусен, как я, в точности так же, как я, хотя я силен своей силой, а ты – своей нежностью, – этого не стерпеть честному парню, и поэтому я говорю: «Нам пора посчитаться не на шутку, без дураков, здесь же на месте, в простом кулачном бою и до решительного конца». Я бросил вызов и словом и пинком, и теперь тебе нельзя отвертеться.

– Да, конечно, нельзя, – сказал Григорс, и лицо его похорошело: смуглое, оно стало строгим и бледным, и верхняя губа юноши чуть-чуть прикрыла нижнюю. – Ты хочешь, стало быть, чтобы мы здесь наедине, без судьи и свидетелей, непременно сразились на кулаках и дрались до конца, пока один из нас не перестанет сопротивляться?

– Да, я хочу! – крикнул Флан и быстро сорвал с себя куртку. – Кончай, кончай, кончай сборы, чтобы я не ударил тебя прежде, чем ты примешь стойку, ибо я не могу больше ждать и не обязан щадить твою проклятую нежность, крадущий силу! Я отколочу тебя, я разобью тебе морду, я расквашу тебе желудок, я отшибу у тебя селезенку, так кончай же скорее сборы, чтобы я покончил с тобой!

– Позаботься лучше о собственной селезенке! – сказал Григорс; снимая с себя стихарь и опоясываясь рукавами приспущенной рубахи, он взглянул на живот Флана, туда, где находится селезенка.

– Я готов, – сказал он и, легкокукий, мальчишески тонкий, встал против могучего Флана. Тот бросился на него, наклонив вперед голову, как бык, и всадил кулак в руку брата, которая, прикрывая лицо и грудь, двигалась вверх и вниз, меж тем как другая его рука наносила удары, впрочем, не тяжелые, – удары, сыпавшиеся на шею, висок и ребра Григорса, были тяжелее, хотя часто стремительный кулак Флана, промахнувшись из-за увертливости противника, летел в пустоту и увлекал за собой нападающего, так что последнему тоже изрядно доставалось при неудачном выпаде. Это была сумятица неистовых кулаков, подергивающихся голов, растопыренных, упирающихся, топчущих ног, сталкивающихся, переплетающихся, выпрастывающихся и снова сплетающихся тел, – случалась, правда, и передышка, когда братья, подпрыгивая, обороняясь, примериваясь, подстерегали друг друга, но лишь для того, чтобы вновь схватиться, вновь наносить и вновь получать удары, промахиваться и попадать в цель, впрочем, не так уж долго.

Не так уж долго, ибо Флан, который, по-видимому, несколько перерасходовал свои силы, бросая вызов, и был ослеплен яростью, все время помнил слова ненавистного брата, посоветовавшего ему заботиться о собственной селезенке, и дюжему парню все время казалось, будто Григорс, с его тускло горевшими глазами на неизменно спокойном и необычайно сосредоточенном лице, метит именно в это место, – особенно в одно кратчайшее и всезавершающее мгновение, когда тот, пользуясь правой рукою лишь для защиты и глядя в злосчастную точку, явно направил на нее левую, которой отлично владел. Но так как Флан сразу же принял надлежащие меры, чтобы отвести удар, правая рука Григорса, без всякого

преднамеренья, опустилась на нос противника – опустилась молниеносно и с такой силой, какой Григорс дотоле не обнаруживал, да и не пытался выказать, и раздавила его: в самом деле, нос был разбит, переносица треснула, удару придав особую, тяжесть перстень с крестом и агнцем. Нос Флана сплюснулся, по подбородку у него потекла кровь, лицо его стало неузнаваемо; тараща глаза на безобразную, мокрую опухоль, он задрал голову и вслепую махал кулаками.

Григорс, испуганный своей грубостью, отступил далеко назад. Флан бросился за ним.

– Продолжим! – ревел он. – Защищайся, выблядок!

И при этом плевал кровью, которая текла по его губам, прямо в лицо Григорсу. Но тот по-прежнему отступал и не защищался, а только не подпускал к себе бесноватого, потерявшего человеческий облик, полуослепшего противника.

– Нет, Флан, – отвечал Григорс; он и сам задыхался, под глазом у него горел фонарь, да и тело было все в синяках. – Ни за что! Назови меня трусом, но сегодня я больше не буду драться, отложим наши счета до следующего раза. У тебя сломана переносица, и бою конец, и тут уже не до драки: сейчас тебе нужны холодные примочки и любое кровоостанавливающее средство, которое найдется у вас в хижине. Пусти, я оторву лоскут от своей рубахи и смочу его морской водой.

И в самом деле, когда Григорс отказался сражаться, Флан, помедлив, последовал его совету. Так уж устроено, что перелом кости удивительным образом потрясает всю человеческую *syst'hema*^[102]. Флан вполне мог бы упасть в обморок, и действительно, черная тень обморока уже мелькнула перед его глазами, но он был слишком крепок, чтобы лишиться чувств. Он отошел в сторону, туда, где прежде сидел Григорс, поднял свою куртку и, прижав ее к лицу, сел на землю.

Когда Григорс приблизился к нему с мокрым лоскутом, он отмахнулся от брата яростным движением плеча и даже попытался, сидя, толкнуть его ногой, но это неистовство причинило его разбитому носу такую боль, что Флан поневоле закричал во весь голос: «Ай! Ай!»

– Вот видишь, вот видишь! – пожалел его Григорс, однако уже не рискнул подойти к нему вторично с мокрой тряпкой. Флан посидел еще несколько мгновений, затем встал и, не отнимая от лица пропитанной кровью куртки, медленно побрел по траве дюн, – по песчанке, к родительской хижине.

Открытие

«Плохо! – думал Григориус, стоя на берегу и глядя вслед брату. – Как это плохо кончилось и для меня и для него, но для меня, пожалуй, совсем плохо. Ибо теперь виноват я, хотя сначала виноват был он, выказавший столь самозабвенную воинственность. Хижина меня проклянет, а аббат накажет, я должен буду поститься и стоять на коленях за то, что нанес родному брату такое увечье, от которого он, боюсь, никогда уже вполне не оправится. Но что мне оставалось делать? Ведь он же хотел, чтобы мы посчитались не на шутку, до решительного конца, и, значит, в любом случае я пострадал бы, либо телом, либо душой, и, может быть, лучше бы мне пострадать телом, чем вечно нести вину за его разбитую переносицу. Но что поделывать, если моему духу присуща в бою столь необычная собранность? У брата Кламадекса, который неустанно испытывает природу и в этом своем занятии тайно доходит до колдовства, есть лощеное чечевицеобразное стекло, собирающее солнечные лучи в такой степени, что если подставить под него руку, то сразу отдернешь ее, обжегшись, а если навести стекло на бумагу или на сухую траву, то они начнут тлеть, побуреют, задымятся и вспыхнут – а все от сосредоточенья лучей. Точно так же обстоит дело и с моим духом в бою, и потому-то нос Флана, увы, разбит, – я знал это наперед, о да, как только он вынудил меня драться по-настоящему, я уже знал это с полной определенностью, и, может быть, мне следовало его предупредить, но ведь в пылу самозабвения он бы все равно не послушался. Что же мне делать теперь? Исповедаться сначала аббату? Нет, пойду-ка я лучше за Фланом и, насколько это возможно, оправдаюсь перед родителями».

И, надев свое платье, он на некотором расстоянии от раненого бойца стал подниматься к отцовской хижине; он ускорил шаг лишь под конец, когда Флан уже миновал огород, разбитый у самого дома, и переступил порог. Магаута оказалась на месте, сразу же стало слышно, что встретила Флана именно она. Конечно, она увидела кровь, конечно, отняла от его лица куртку, недоуменно причитая, конечно, ужаснулась его носу, который меж тем, разумеется, еще больше распух и являл собою страшное зрелище, и, конечно же, разразилась громкими воплями.

«Так и должно быть, – думал Григорс. – В точности так она и должна вопить, коль скоро уж он застал дома именно ее. Лучше бы Виглаф тоже был дома. Он взглянул бы на дело разумнее. Но он, наверно, на морковном

поле или на рынке. Дам ей накричаться, подожду, пока Флан все объяснит, а потом уже покажусь».

И стал за отворенной дверью. Изнутри доносилось:

– О небо, о боже правый и всемогущий! Флан, Флан, дитя мое, на тебе кровь, ты весь в крови! Что с тобой, что случилось, на кого ты похож? Дай поглядеть, о дай же поглядеть! Нос? О lackadaisy!^[103] О, горе мне! О, несчастный день! Увы, увы, мои глаза меня не обманывают! Носа нет, нос проломлен, это уже не нос! Флан, дитя мое милое, что произошло – fisticuff, quarrel и scramble?^[104] С кем, с кем? Кто сделал это с моим ребенком? Я хочу знать!

– Да ведь не так уж и важно, кто это сделал, – прогнусавил Флан в расплоснутый нос. – Чем плакать, дай-ка лучше красной хлопчатой бумаги и воды.

– Не плакать?! Хлопчатой бумаги, примочку? Это – пожалуйста, это – изволь! Но не плакать? Чтобы родная мать да не плакала и не смела спросить, кто над тобой надругался, кто искалечил тебя на всю жизнь? О, горький день! Какой день, какой день. Увы, мои глаза меня не обманывают! Кто это сделал? Кто обидчик?

– Проклятый Кредеми, – выпалил Флан, – так и знай! Целился в селезенку, а стукнул в нос, хитрая бестия! Я хотел драться дальше, но он увильнул.

– Кредеми? Григорс? Да как он смеет? Что ты ему сделал такого?

– Спросил, что он читает, а он в ответ: «Сейчас отшибу тебе селезенку», и когда я ее прикрыл, он двинул меня по носу. Если нос теперь не выправится и я всю жизнь буду мычать, как коза, то учинил это твой любимый сын, попик, мой брат.

Но тут плотину поток свалил и сладить с водою не стало сил:

– Ха, ха, ха, ха! Мой сын, твой брат? Да не сын он мне вовсе, не я его родила на свет, и не от твоего отца он зачат, он такой же тебе брат, как свинья в закуте, не верь этим дурацким басням, этому вранью, это mockery!^[105] Горе мне, бедной женщине! Приблудший проходимец, морской бродяга, проклятый костедробитель, злодей и душегуб! Такова его благодарность? Для того ли я растила его вместе со своими детьми, этого негодяя без роду, без племени, приплывшего бог весть откуда? Для того ли кормила я его грудью, в ущерб другим, чтоб теперь избивал он, чтоб теперь убивал он моих же детей! Мои дети – люди как люди, у них есть и дом и родные, а у него, у найденыша, на острове нет родни! Ведь никому невдомек, кто он такой и откуда взялся! Но я, да поможет мне бог, заявлю

на весь мир, я, да пособит мне Христос, скажу где угодно, что он – подкидыш, хоть и пролез в господу, подкидыш, несчастный подкидыш, и все тут! Он об этом забыл, ему еще никто не выкладывал, как нашли его, убогого, в бочке, привязанной к лодке, среди пустынного моря! Но коль скоро он изувечил мое дитя, я это заявлю, я буду кричать об этом во весь голос! Горе мне! Что возомнил о себе незаконнорожденный прохвост! Черт принес его на мою голову! Уж я-то знаю, откуда он родом, – из бочки, из волн морских! Он, наверно, надеялся, что все будут вечно молчать о его позоре! Ха-ха! Ему только того и надо, он преспокойно бы чванился под защитой вранья! Проклятье рыбам, которые не сожрали подкидыша! Ему повезло, как всегда везет незаконнорожденным. Он попал прямо в руки аббату; если бы тот не отнял его у твоего отца и не стал его духовником и крестным, Христос свидетель, мы бы приструнили найденьша! Он пас бы у нас коров и свиней, чистил бы хлев своими ручками! Ну не чудак ли твой отец, если он, выловивший из волн ребенка озябшей рукой, уступил его аббату и позволил ему вырасти наглым неженкой, вместо того чтобы завладеть находкой и сделать мальчишку своим батраком, да, да, батраком, корпящим в навозе.

Так голосила Магаута. Наконец в хижине отзвучали ее вопли и брань. За дверью стоял Григорс, он учащенно дышал, глаза его были широко раскрыты. Он слышал все. Каждое слово звенело у него в ушах, жгло его мозг. Что это, как это понять? Сумасшедшие выдумки оскорбленной матери? Вздор и огульная хула? Нет, материнская ярость такого не выдумает: из бочки, из волн, приبلудший подкидыш, найденьш, чужак. Нет, это не ложь! Все так и есть. – Оцепенев, он постоял еще несколько мгновений, затем встрепенулся и поспешил прочь, однако не в монастырь, монастырь уже не был ему домом; у безродного и чужого, у беззащитного и отверженного оставался только один кров – небо, с которого уже спустился вечер и которое уже покрылось звездами. По пескам и по мхам, сосновыми, покосившимися от ветра рощами шагал Григорс к морю и от моря, он исходил весь остров, сторонясь деревни, сторонясь хижин, наконец сел под каким-то деревом и спрятал в ладонях лицо – лицо чужака! Ведь никто, никто не знал, кто он и что он – какой позор! Каждый, даже последний бедняк, мог отныне кольнуть его этим позором, мог бросить ему в лицо: «Ты – ничей!» – не ведая, сколь великую радость дарит ему таким оскорбленьем, радость, от которой у Григорса спирало дух, когда он задумывался о своем позоре. Ведь этот удар по переносице Флана, развязавший язык его, Григорса, кормилице, был освободительным ударом, ударом в ворота, теперь широко отворенные, – в ворота всяких

возможностей. Он ничей, но он существует, и кем-то он должен быть. Его прибило течением, но ведь он же – не пороет морской, он явился из какой-то страны. Где его страна, где его родители, и кто они? Неужели они, или кто-то другой, препоручили его, новорожденного, морю – и почему? Неужели истинные его обстоятельства настолько неблагоприятны? Не следует ли посвятить всю свою дальнейшую жизнь их выяснению, каковы бы они ни оказались? Они были тайной, он сам был тайной, но тайна есть кладезь всяких желаний, всяких надежд, догадок, помыслов и возможностей. Подкинут из-за какого-то темного пятна? Но где пятно, там благородство. Кто не знатен, тот и без пятен. Как хотелось ему променять плебейское благополучье на благородное благополучье!

С этими мыслями он уснул и проспал всю ночь под деревом. Когда забрезжил день, он пошел к морю и, умывшись, явился в монастырь как раз в тот час, когда аббат с братией и школярами возвращались из церкви после заутрени. Застав своего крестника в сводчатом коридоре, сей славный муж строго нахмурился, хотя нос его, как всегда по утрам красноватый, имел самый добродушный вид, отнюдь не соответствовавший хмурому взгляду.

– Григориус, – молвил он, – где ты был?

Тот и раньше уже стоял с опущенной головой и вместо ответа опустил ее еще ниже.

– Неужели, – продолжал аббат, – ты становишься с возрастом бездельником и вертопрахом? Тебя не видели ни во время вечерни, ни в трапезной, ты не ночевал дома и еще прогулял заутреню. Что за безрассудство! Какая муха укусила тебя, обычно такого благочестивого мальчика?

– Отче, – смиренно промолвил Григорс, – *reccavi*^[106].

– *Reccavisti?*^[107] – Аббат испугался теперь не на шутку. Несколько мгновений его пухлая нижняя губа беззвучно дрожала, и кровь отлила от его румяного поутру носа.

– Следуй за мной! – приказал он наконец. – Сию же минуту следуй за мной в мою келью!

Этого Григорс и добивался. Поговорить наедине с тем, кто купил его у Виглафа и дал ему свое имя, было единственным его желаньем. Спрятав руки в рукавах, склонив голову, последовал он за аббатом. Они вошли в келью. Перед молитвенной скамеечкой возвышалось распятие с мученическим, окровавленным ликом. Аббат указал на него рукой.

Диспут

– In nomine Domini^[108], – потребовал он, – говори!

Грегориус пал на колени и сложил руки.

– Так и поступлю, – молвил он, – сколь ни тщетны мои усилия. Ибо устам моим никогда не удастся по достоинству отблагодарить вас, отче и господине, за все, что вы для меня сделали. Однако клянусь вам, что всю свою жизнь я буду еще и от себя просить того, кто не обходит наградой ни одного доброго дела, чтобы он увенчал вас небесным венцом за то, что вы так бережно, на глазах всей своей паствы, воспитали меня, чужого ребенка, бедного найденыша.

Снова и по-новому испугался аббат. Последние остатки утренней красноты исчезли на его носу.

– Что ты говоришь! – сказал он торопливо и тихо, порывисто схватив сложенные руки Грегориуса.

– Я обманут, – продолжал тот и низко склонил голову, словно признавался, что обманщик – он сам. – Я обманут любовно и кротко. Я не тот, кем меня учили себя считать. Врата истины – а их можно назвать также вратами возможностей – распахнулись передо мной от одного удара. Я победил в бою Флана, которого считал братом, победил благодаря вообще-то не свойственной здешнему люду способности выказывать в схватке величайшую собранность. Разгневавшись, так как я причинил ему боль, моя кормилица, его мать, прокричала, – и я это слышал собственными ушами, – что я всего-навсего найденыш, без роду, без племени, в младенчестве вытащенный из волн озябшей рукой. Позор истерзает мне тело и душу, если мне когда-либо случится услышать это снова, и credemi! – я больше никогда этого не услышу.

Он встал. Уже не смиренно, не на коленях, а твердо, на ногах, стоял он теперь, и синеватым огнем горели его глаза на бледном, прекрасном лице.

– Простимся, господине возлюбленный, ибо я не останусь здесь долее. Странствующим холопов буду нести я тяготы поисков, скитаясь без крова, подобно тому как уже прожил без крова минувшую ночь. Несомненно, что где-нибудь я найду неведомую страну, откуда я родом. У меня есть сноровка и разум, и я, credemi, не погибну, коли не будет на то непреложной воли господней. Испытать же ее надлежит, и лучше мне умереть и сгинуть в пустыне, нежели пребывать долее на этом острове. Меня изгоняет бесчестье. Уж очень боюсь я насмешек. Чего только не

разболтает женщина! Стоит ей что-то сказать одному, как вскоре об этом узнают трое, четверо и наконец все. А посему, господине, благословите меня на странствия!

Как огорчился тут мой друг аббат, к которому я в ходе рассказа проникся еще большим уважением! Нос его снова покраснел, и в глазах его стояли слезы.

– Дитя мое, – молвил он, – выслушай теперь меня! Я хочу помочь тебе добрым советом, от чистого сердца, как дорогому мне человеку, который с детства находился под моим покровительством. Credemi, господь оказал тебе великую милость, ибо открыл тебе глаза, дабы ты больше не блуждал в потемках и не коротал век в неведении, а действовал по свободному выбору. Это решение я должен был предоставить ему, не предваряя премудрости божьей. Ты видел, что я испугался при первых твоих словах – на самом же деле мне стало легче, оттого что бог изъявил свою волю, сподобив тебя распоряжаться твоей жизнью по своему собственному разумению и выбрать между ним и миром. Теперь эта борьба должна отбушевать в твоём сердце, и тогда выяснится, как употребишь ты свою свободу – себе во благо и спасение или же на погибель. Господь ждал семнадцать лет, прежде чем поставить тебя перед выбором, но и сейчас ты еще слишком юн, чтобы свобода твоя не нуждалась в совете. Так возжелай же, любезный сын, добра самому себе и последуй моему наказу, дабы предпочесть надежность крайней ненадежности и в пылу ребяческого озлобления не поступить опрометчиво и потом не раскаяться. Пока ничего не говори! Ты меня еще не выслушал. Так слушай же. Ты превосходный юноша. Все складывается у тебя как нельзя лучше, здешние жители питают к тебе приязнь, у них добреют глаза, когда они тебя видят. Не покидай их! Ты привык к монашеству, не отступайся же от этого кроткого, многоотрадного поприща! Ты весьма сведущ в книгах, твой путь предопределен. Я стар годами, мне уже шестьдесят семь, dear me^[109], долго ли я еще проживу? Я не говорю, что, умри я завтра, тебя тотчас же назначат на мое место. Настоятельно приличествует старость, хотя мало кто умнеет от старости. Но однажды – в этом не сомневайся, так и в завещании моем записано – ты станешь настоятелем «Agonia Dei», владыкой над всеми, от мала до велика, и стражем веры на нашем острове. И этим ты хочешь пренебречь из-за какой-то брехливой дуры? Рано или поздно она должна была проболтаться; так было угодно богу, чтобы предоставить тебе свободу выбора. Но поверь мне, что уж я-то сумею раз и навсегда отучить ее от такой болтовни.

Григорс ему ответил:

– Стоя за дверью хижины, я услышал сущую правду. В этом убеждает меня каждое ваше слово, и прежде всего то, что вы, господине, называете Магауту брехливой дурой, ибо, будь она моей матерью, вы бы подыскивали другие слова. Но как бы то ни было, она – моя кормилица, и когда-то вы сами остановили на ней свой выбор. Если бы вы поглядели на нос Флана, моего бывшего брата, пострадавший, не премину заметить, в честном бою, то вы бы, конечно, согласились, что матери трудно совладать с собой при виде подобного зрелища. Я не гневаюсь на нее и не осуждаю ее за злые слова, ибо они были средством меня просветить. Вам я, конечно, навеки обязан. Вы известным образом почтили бога во мне, несчастном, и снискали этим такую святость, что любовь и благоговение должны были бы побудить меня выполнить вашу просьбу. Но все же я стою на своем, и отсюда вы можете судить, сколь бурно негодует моя молодость при одной лишь мысли, что презрительное злословье окружающих станет моим уделом. С тех пор как я узнал, что я не сын этого рыбака, я поневоле стал еще более щепетилен в вопросах чести, чем прежде. А почему? Потому что самый факт моей найденности таит в себе невероятнейшие возможности. Никто не знает моих предков. А вдруг они такого происхождения, что мне подобаает рыцарство? Господине, милый отец мой, все мои мечты говорят за то, что именно оно, а не что-то другое мне подобаает! Верно, у вас наилучшая жизнь. Покой отлично сочетается в ней с праведностью, и блажен избравший ее по праву. Но я не могу ни вести ее, ни принять в наследство. Я должен уйти, ибо с тех пор как я знаю, кем не являюсь, у меня только одно желанье: проделать путь к самому себе, допытаться, кто же я есмь.

– Сын мой, сын мой, не каждому полезно так уж точно знать, кто он и что он, даже если рыцарство станет его уделом. Ежели ты мне когда-либо верил, поверь и сейчас: в этих стенах твое место. Через мое посредство бог тебя защитил. От кого? Может быть, от тебя самого. И ты хочешь уйти из-под его защиты, не боясь, что попадешь в ад? Нет ничего более сообразного обстоятельствам, чем не знать, кто ты таков, и загадку твою нельзя разрешить лучше, нежели закончив свой век благочестивым и всеми любимым аббатом на этом мирном, отрезанном от мира острове. Внемли же предостереженьям, мольбам и уговорам любящего тебя человека – останься!

– Нет, господине, сберегите мне вашу любовь, как и я буду хранить и лелеять в сердце свою любовь к вам, но я должен уйти. Рыцарство – единственная моя страсть, и, право же, лучше быть рыцарем господним, чем обманщиком-иноком!

– Сыне, *credemi*, для старика это не такая уж легкая вещь, а напротив, жесточайшее испытание терпенья и доброхотства – выслушивать вздор, который мелет своим ломающимся, мальчишеским голосом зеленый юнец. Рыцарство! Ты жаждешь рыцарства. Да ведь у тебя нет ни малейшего о нем представления, и ты нисколько к нему не подготовлен. Умеешь ли ты хотя бы ездить верхом? Конечно, нет. Откуда тебе знать, как сидеть на коне? Тебе хочется стать посмешищем. Спроси любого сведущего в рыцарстве, и он тебе скажет: «Кто ходил в школярах, кто двенадцать лет корпел над книгами и не скакал на коне, тому всю жизнь быть попом, это для рыцарства человек пропащий». Но что значит – пропащий? Ведь этакий конник и забияка, не научившийся читать и не способный при всем желании взять в толк самое что ни на есть необходимое, прямо до него касающееся и, собственно, для него-то и написанное, он-то уж никогда не научится грамоте, и для священства он тоже человек пропащий. И тот пропащий, и этот пропащий, но ты – ты господу сын настоящий; едва ты покажешься, шепчет народ: «Глядите, стихарь ему очень идет!»

– Напяльте на рыцаря рясу – и он, отец мой, покажется вам смешон. А мне только дайте копье и шлем – увидите: я понравлюсь всем! А не понравлюсь – тогда, клянусь, в сутану снова я обряжусь!

«Ах, пострел, – с нежностью подумал аббат Грегориус. – Конечно, рыцарское платье ему пошло бы, да и за материей дело не стало».

Но он ничего не сказал и только озабоченно покачал головой.

– Вы не знаете, отче и господине, – продолжал Грегориус по-ребячески пылко, – как подготовлен я внутренне к рыцарству. Я никогда вам в этом не признавался, покамест врата возможностей были закрыты. «Ведь ты же не умеешь ездить верхом», – говорите вы мне по-отечески. Да, физически я ни разу этого не проделывал, но мысленно – тысячи раз, и в мечтах своих я сидел на коне лучше любого рыцаря из Эно, Гасбания или Брабанта, в самом деле лучше, а не просто бахвальства ради. В своей начитанности я не раскаиваюсь, *grammaticam, divinitatem* и *leges*^[110] – все это я изучал охотно и с легкостью. Сколь часто, однако, за книгой, тайком, я в мыслях играл копьем и щитом! О них я вздыхал, и была велика неутоленная эта тоска. Коня, коня мне! Он громко ржал, он сразу хозяина узнавал. И тут шенкеля пускал я в дело, настолько ловко, настолько умело, что ни в бок, ни в лопатку не шпорил коня, который стремительно нес меня. Нет, ближе к *sursangle*^[111], скача во всю прыть, я ухитрялся шпоры вонзить. Копыта летели с гривой рядом, и всякому, кто провожал меня взглядом, наверно, думалось обо мне: красавец писанный на коне! Здесь не поможет могучий

зад, здесь ловкость и легкость победу сулят. Небрежно-изящен, я вел себя так, как будто все мне – забава, пустяк. Коня пришпорив, к вольту готов, я в роigneis^[112] налетал на бойцов и помнил, что целятся при поединке в четыре гвоздя на щите, в серединке. Так дайте же добрый совет мне, отец, чтоб рыцарем сделался я наконец!

– Сыне, сыне, – сказал аббат, потрясенный этими знаниями. – Ты горазд говорить, и лексикон твой богат, – я поражен, я этого не отрицаю. Sursangle? Poigneis? Credemi, я не понимаю ни слова, с таким же успехом я мог бы слушать греческую речь. Всему этому ты научился не у брата Петра-и-Павла. Но откуда это у тебя, я отлично вижу: сердцем ты не монах. Жаль, Грегориус, весьма огорчительно, милое мое дитя! Но так и быть, сыне, я дам тебе отеческий добрый совет! Ладно, сними с себя это облачение, откажись от иночества! Надень светское платье или, пожалуй, даже рыцарское, во имя неких, кстати сказать, весьма неясных возможностей, которые вытекают из того, что ты не сын рыбака. Но останься здесь, Грегор, останься у нас! Не пускайся в странствия, не уходи в широкий мир! Умоляю тебя об этом, ведь у тебя же нет ни гроша за душой. Ведь ты же беден, как церковная мышь, дорогой мой! Как же ты явишься рыцарем в гордый мир без всякого денежного подспорья? Конечно, имей ты, к примеру, полтораста марок золотом, ты мог бы еще пойти в рыцари. Но где тебе их достать? Об этом нечего и думать. Так предоставь же действовать мне! Я устрою тебе, положишь на меня, выгодную женитьбу, я найду тебе богатую невесту если не на Санкт-Дунстане, то на Санкт-Альдгельме или на каком-нибудь другом острове. Уйми свое сердце хотя бы настолько, чтобы остаться у нас, пока я не уладил этого дела!

Однако упрямство Григорса было непоколебимо и не внимало советам.

– Отец мой, – ответил он, – я благодарен вам, от глубины души благодарен и за прежние ваши заботы, и за это предложение устроить мне выгодную женитьбу. Но, исполненный благодарности, я должен его отвергнуть. Юноша, обладающий честью, не может жениться, не выяснив, кто он таков, ибо ему пришлось бы сгореть со стыда, если бы его дети спросили его о своих предках. Удел мой – не поживать здесь в благоденственном браке, а попытать удачи в тяжких скитаньях, – не откроется ли мне, кто я таков. Удача манит и зовет меня властно. Она не обманет того, кто всечасно ее домогается. Сжальтесь, отец, благословите, и спору конец.

Тогда добрый аббат вздохнул и сказал:

– Ну что ж, видно, час пробил. Я предпочел бы еще немного

повременить, но твое упорство, которое я, впрочем, уважаю, хотя и сожалею о нем, не дает мне отсрочки. Сейчас ты узнаешь, дитя мое, как обстоят твои дела. Сейчас ты это прочтешь, ибо для того я и сделал тебя школяром, чтобы ты когда-нибудь сумел это прочесть. Да, так и знай *grammatica*, *leges* и даже *divinitas* суть лишь побочные, привходящие следствия того, что тебя нужно было вообще научить читать согласно полученному мною указанию и для вящего твоего вразумленья.

С этими словами он подошел к своей конторке, отпер ее, потянулся к самому дальнему, глубоко спрятанному ларцу и, отперев его тайно хранимым ключом, извлек оттуда изящную, драгоценную табличку слоновой кости, в оправе из золота и самоцветов, густо исписанную.

– Она твоя, – молвил аббат Григориус, – твоя собственность, хотя послание обращено к тому, кто тебя найдет, а нашедшим, по воле бога, оказался я. Дощечка была с тобою в бочонке, и семнадцать лет я берег ее для тебя. Присядь же, любимое мое чадо, на эту скамеечку и воспользуйся своей грамотностью, единственно для того тебе и завещанной. Такие вещи нехорошо читать стоя. Приготовься, бедное дитя мое, к великой сумятице чувств.

Смущенно взял Григорс дощечку из его рук, посмотрел на грамотку, на аббата, снова на дощечку, сел на скамейку и стал читать, время от времени поднимая голову и оцепенело, с разинутым ртом, глядя вперед невидящими глазами. За ним, сложив руки и с покрасневшим носом, часто мигая, чтобы скрыть свои слезы, наблюдал настоятель.

Юноша читал долго. Наконец он уронил дощечку и, съжившись, позвал старика судорожным движением руки. Шатаясь, он подошел к аббату и, горько рыдая, припал к его плечу; игумен старался успокоить несчастного, он похлопывал его по спине и даже немного покачивал. Сколь часто уже так бывало! Это от века повторяется на земле. Один безудержно рыдает на груди другого, а тот говорит: «Ничего, ничего! Полно, полно! Так уж случилось. Крепись! Бывает и хуже. Не твоя вина. Как-нибудь образуется. Черпай силы в боге...» и тому подобное. Так говорил и аббат Григориус, хотя у него самого текли по щекам слезы. И еще он сказал со вздохом:

– Кто ты, об этом тебе не поведано. Но каковы твои обстоятельства, бедное мое дитя, это ты теперь знаешь.

– Я отброс человечества! – рыдал Григорс. – Я мерзостный плод греха! Я не принадлежу к роду людскому! Я – изверг, чудовище, дракон, василиск!

– О нет, ты преувеличиваешь, – мягко возразил аббат, покачивая плачущего. – Ты тоже сын человеческий, и притом прелестнейший, хотя у

тебя и не все ладно. Каких только чудес не творит господь! Вполне возможно, что зло обернется добром и неладное станет ладным.

– Я это знал! – продолжал роптать Григорс. – Я чуял сердцем что-то неладное. Недаром товарищи называли меня печальником. Но что я – дракон и чудовище, что я племянник своих родителей – этого я никак не подозревал!

– Ты забываешь другую сторону дела, – сказал аббат, – которая до известной степени возмещает то, что ты, преувеличивая, именуешь чудовищностью; я имею в виду твое очень высокое происхождение.

– И это, – ответил Григорс, отпуская плечо аббата и выпрямляясь, – это тоже чуяло мое сердце. Ах, отче, мои родители, мои милые, грешные родители, родившие меня во грехе и на грех! Я должен их увидеть! Я должен их искать по белу свету, пока не найду их и не скажу им, что я их простил. Тогда и господь их простит, он, может быть, только того и ждет. А я, судя по всему, что известно мне о divinitas, я, жалкое чудовище, ныне приобщусь к человечеству через это прощенье.

– Сыне, сыне, обдумай все хорошенько! Предположим, твои родители еще живы, и ты найдешь их в огромном мире, – кто сказал тебе, что ты будешь для них желанным пришельцем? Поелику они когда-то бросили тебя в море, полагаться на это отнюдь нельзя. Простить их ты можешь и здесь, приобщаясь тем самым к человечеству и обретая блаженство. Именно сюда привел отверженного чудесный промысл, именно этот малый оплот своего покоя назначил господь пристанищем для того, кому во всем мире не было места. И ты хочешь бежать отсюда, хочешь ринуться в мир во что бы то ни стало? В глубине души я надеялся, что, когда ты узнаешь, каковы твои обстоятельства, ты согласишься, что твое место – здесь.

– О нет, отец мой! Стоило мне это узнать, я еще больше утвердился в своем решенье. Сколь часто читали вы мою дощечку? Я читал ее с жаром душевным и буду читать ее бесчисленное число раз, ежедневно, чтобы страдать и казниться. Вот она. Что пишут мне милые мои родители? Сверх меры любили они себя друг в друге, это их грех и причина моего появления на свет. И мне надлежит искупить их вину перед богом – не самоутешительно укрывшись в монастыре, а всею душою своею возлюбив чужую кровь и по-рыцарски защищая ее в беде. Так пробьюсь я сквозь дали мирские к моим родителям.

– Сын мой, пусть будет по-твоему, «я согласен, я тебя не держу. Конечно, твое присутствие здесь было бы мне отрадой на старости лет; но теперь я стану молиться за тебя и говорить о тебе, дитя мое, богу, а это ведь тоже значит не разлучаться с тобой. Так узнай же и последнее, что мне

осталось тебе поведать!

Аббат подвел Григорса к стоявшему в келье ларю, открыл его, отложил хранившиеся там священнические принадлежности, орари, епитрахили, всевозможную церковную утварь и, достав с самого дна несколько свертков превосходнейшего броката, вручил их юноше с такими словами:

– Это твое, вдобавок к дощечке. Это служило тебе подстилкой и покровом в бочонке, здесь хватит материи на рыцарское платье, а то и на добрых два. Это из левантийского Алисаундра, голубчик, тончайшей выделки. У того, кто наделил тебя таким приданым, был отменный гардероб. Я вижу, ты рад своему выводному добру. Но брокатом оно не исчерпывалось и не исчерпывается, как явствует из дощечки, читая которую, ты, наверно, не обратил особого внимания на эту часть сопроводительного письма. Когда я говорил тебе, дитя мое, что у тебя нет ни гроша за душой и что ты беден, как церковная мышь, я лукавил, на самом деле это не так. Кроме шелков, в подспорье твоему младенчеству были даны два хлеба с запеченным в них золотом, двадцатью марками, мздой за твое воспитание. Только три из них, предполагая, что ты согласишься со мной, отдал я рыбакам. Остальные деньги, однако, я не зарыл и не позволил им плесневеть и ржаветь, но доверил их отличному ростовщику, еврею Тимону, а тот пустил их в оборот и нажил тебе за семнадцать лет полтора ста марок. Таким образом, ты располагаешь суммой, с которой можно явить себя рыцарем гордому миру.

Смущенный и счастливый, стоял перед аббатом Григорс. Конечно, это чудовищный и тяжкий грех – родиться от собственной тетки. Но так как он не причиняет физической боли, то мысль о нем нетрудно прогнать при виде щедрых даров, которые сваливаются на тебя после такого открытия.

– Ты улыбаешься, – сказал аббат. – Ты улыбаешься, хотя глаза у тебя заплаканы и ты бледен. Ведь я же тебе говорил, что мои слова вызовут у тебя сумятицу чувств.

Господин Пуатвин

Сумятица чувств! Я, Клеменс, сидя за Ноткеровым столом в качестве гостя Санкт-Галлена, могу по ходу рассказа касаться и таких вещей. Откровенно признаю, что, излагая диспут между Григорсом и Грегориусом, я был целиком на стороне моего друга аббата и находил его доводы весьма убедительными, тогда как его воспитанник говорил, по моему, как зеленый юнец. Узнав о своем греховном происхождении, он, вместо того чтобы устремиться в широкий мир, должен был бы, наоборот, благодарно привязаться к уготовленному ему богом убежищу и сохранить верность духовному званию. В этом, по человеческому разумению, его отец во Христе был совершенно прав, и более чем справедливо оказалось предостережение аббата, что странствия и поиски не принесут юноше ничего хорошего и, возможно даже, сулят ему нечто ужасное. Но пределы человеческого разумения весьма ограничены, если дело идет не о рассказчике, который заранее знает всю повесть вплоть до ее чудесной развязки и как бы участвует в божественном провидении, а это – льгота, не имеющая себе равных и, собственно говоря, смертному вовсе не причитающаяся. Посему, стыдясь ее, я склонен предпочесть человеческое разумение и на этом месте повествования порицать то, что позднее, в силу милостивого разрешенья событий, вынужден буду хвалить.

Итак, я с некоторым неудовольствием повествую о том, как Григорс, завладев всем своим приданым, дощечкой, золотом и драгоценными тканями, поспешил расстаться с островом Санкт-Дунстаном, чтобы начать жизнь странствующего рыцаря. Он сбросил с себя одежду послушника-школяра и надел светский, полурыцарский или, скорее, пажеский наряд: кольчугу с поясом и капюшоном, а также легкие ножные латы, прикрывающие бедра и голени. Это было весьма скромное облачение. Но, кроме того, он тайком заказал монахам, промышлявшим портняжничеством, роскошнейшее платье из своих шелков: щегольскую, с темными переливами, епанчу, или *houppelande*, воздушно-легкие нарукавники которой принято носить наперевес; еще тонкотканые панталоны и берет. Епанча эта представляла собою геральдическую мантию, ибо на груди ее, в овальной вставке, было вышито изображение рыбы, каковое юноша избрал своим гербом, и надо сказать, что из всех его препараций мне действительно нравится только эта. Ибо если рыба означала, что странствующий рыцарь вскормлен в рыбацкой хижине, то

одновременно этот рисунок, будучи символом Христа, показывал, что носитель герба вырос в монастырских стенах. Сие похвально.

Светское платье и все прочее, необходимое в пути: съестные припасы, пресную воду и золотую казну – он разместил на судне из гнутых досок, с медной обшивкой и высоко вздыбленным бугом, которое ему удалось снарядить и для которого, с помощью денег и доброго слова, он нанял нескольких корабельников. На полосатом парусе была тоже выткана рыба. Григорс не задавался вопросом, выдержит ли его ладья плаванье в океане или хотя бы даже в том узком, но бурном водном пространстве, что в шутку именуют «каналом» и «рукавом». Когда-то он прибыл сюда на гораздо более утлом челне, и его решимость ринуться навстречу невзгодам и бедам питалась неодолимым желаньем искупить чудовищный грех своего рожденья, знатность которого он все-таки очень ценил. Что его корабельщикам, людям незнатным, рожденья хоть неказистого, но благословенного, собственно говоря, нечего искупать, нимало его не трогало, потому что себя он считал героем приключенья, а их – всего лишь безликим своим придатком. Я непроизвольно поступаю так же, за что себя порицаю – себя, не его, ибо кто волен противостоять провидению?

Когда – уже в начале осени – настал день разлуки с островом, где его взрастили и где честь и стыд не позволяли ему долее жить, – он, конечно же, проливал горючие слезы прощанья на груди аббата, который с несколькими монахами провожал Григорса на корабль, поминутно благословляя юношу на подвиг странствий.

– Но куда, дитя мое, куда? – вопрошал он с тревогой.

– Туда, куда зовет меня моя дощечка, – отвечал Григорс, указывая на свою левую грудь, – и куда подуют ветры господни. На их волю отдаем мы наш парус.

Так, в тумане, отчалили они от того берега, к которому некогда прибило младенца; отец и сын старались продлить горестное прощанье взглядом и жестом, покамест их не скрыла друг от друга широкая полоса воды у тумана. Это случилось куда как скоро: ладья исчезла в клубящейся пелене, едва они покинули сушу, и на всем пути, днем и ночью, с редким упорством, словно желая защитит корабельщиков своей опасной завесой, их окутывала сырая, беспросветная мгла. Кто уже предположил, что скитальца застигла буря, что он потерпел кораблекрушение или что судно его металось в волнах, тот ошибся: море было спокойно, и ветра почти не чувствовалось. Правда, очень слабый норд-вест иногда наполнял их парус, но и этот ветер в иные дни совсем затихал, так что они либо стояли на месте, либо ложились на весла, не зная, продвигаются ли хоть сколько-

нибудь вперед, ибо солнца они почти не видели, а звезд не видели вовсе, равно как и других кораблей, не говоря уже о земле. Поверьте мне, они предпочли бы жестокий шторм и высокие валы этому мертвому злополучью, этому многодневному блужданию в тумане. Семнадцать дней, по моим подсчетам, плыли они вслепую. У них иссякли запасы пресной воды и кончился провиант. Над морем царила гнетущая тишина, и корабельщики уныло прозябали на борту; одни слонялись без дела; другие дремали, потому что в такую погоду, да еще на пустой желудок, человека клонит ко сну. У мачты стоял Григорс, их кормчий, всматриваясь в беспросветную мглу, в которой, сколько в нее ни всматривайся, ничего не усмотришь.

Зато он первым увидел чудо, случившееся, по истечении семнадцати дней, сразу после полудня. О радость, туман рассеялся. Бриз, сначала легковейный, но вскоре уже стремительный, рассеял его, разорвал в клочья, и солнечный свет прямым и широким снопом озарил чудеснейшую картину, – неужели то был обман зрения, морок, фата-моргана? Нет, перед ними открылись гавань и берег, перед ними высился город с зубчатыми стенами и воротами, а они, окутанные клубами влаги, и не подозревали, что все это так близко. Кто опишет ликование приунывших было мореходов после такого открытия! За дело, скорее, под парусом и на веслах, к осиянному солнцем, увенчанному крепостью городу у глубокого залива, всколыхнувшиеся волны которого качали теперь их корабль. Вновь поднявшийся ветер дул им навстречу, и они лишь с трудом пробивались к желанной цели.

Но добро бы только ветер да волны противились их прибытию! Увы, против их приближения был и город, коего величественную картину открыл им рассеявшийся туман, ибо он же открыл и городу незнакомое судно. Казалось, что горожане решили защищаться от чужеземцев. На них полетели камни и железные ядра, пущенные из дальнобойных баллист. Греческий огонь преградил им путь. Лишь после того как они множеством знаков доказали горожанам свою скромность и миролюбие, те прекратили оборону и позволили им пристать. Ладья их обуглилась в пламени, и двум морякам в кровь расшибли головы меткие камни. Но ведь это были фигуры второстепенные.

На пристани, где грузчики выгружали товары из чрев нескольких кораблей, к Григорсу подошел в окружении стражников с пиками и в полосатых одеждах статный человек с лицом скорее озабоченным, чем суровым. На голове у него была шляпа, с полей которой ниспадал плат, прикрывавший его уши и грудь, но руки и ноги его были защищены

латами. Его вопросы о личности и происхождении чужестранца поначалу звучали грубо, однако стоило незнакомцу как следует разглядеть Григорса, как голос его смягчился, более того, покончив с расспросами, он даже не стал дожидаться ответа, а как бы в извинение сперва представился сам такими словами:

– Знайте, что я один из знатнейших в этой *цетуне*^[113], точнее говоря, самый знатный, ибо я – ее старшина и мэр. Мне доложили о вашем прибытии, каковое было сочтено враждебным действием. Поэтому я пришел, чтобы убедиться, враг ли вы, и, установив противное, приказал прекратить оборону. Не удивляйтесь столь негостеприимной встрече. Этот некогда веселый город пребывает в жестокой беде, и не будь открыта его задняя дверь – со стороны моря, откуда нам удастся по ценам, продиктованным отнюдь не людской совестью, получать кое-какие припасы, он давно бы уже погиб. Что касается вас, то мы не знали, что и подумать. Викинги свирепствуют в морях и то и дело разбойничают на побережье. Пока мы вас не увидели лицом к лицу, мы принимали вас за одного из них. Сколь далек ваш нрав от тех, кого мы опасаемся, я хотел бы услышать.

– Весьма далек, господин мэр! – отвечал юноша. – Я прибыл издалека, с Укерского моря, после долгого плаванья в тумане, и зовусь рыцарем Рыбы, имя же мое – Грегориус.

– А мое – господин Пуатвин, – вставил староста.

– Благодарю вас, – ответил Григорс. – Занятие мое, – продолжал он, – ратный труд, и я еду на рыцарские подвиги в чужие страны, за свой счет и без малейших поползновений к разбою, ибо в золоте у меня нет недостатка.

– Приятно слышать, – сказал господин Пуатвин и поклонился.

– А на скрижали жизни моей значитя, – присовокупил Грегориус, – что то, чем я есмь, мне надлежит обратить на чужую кровь и по-рыцарски защищать ее, если она в беде. Ради того я и отправился в странствия.

– Это в высшей степени похвально, *beau Sire*^[114], господин рыцарь Рыбы, – отвечал горожанин. – Вас произвела на свет, конечно, чистая женщина, ибо черты вашего лица правильны и привлекательны, а ваши манеры изящны. Вы из норманнов?

– Вы не ошиблись, – ответил Григорс.

– У меня наметанный глаз, – удовлетворенно сказал мэр. – Если вам угодно, последуйте за мною в мой овдовевший дом, чтобы запить *collacie*^[115] добрым и хмельным зельем, остатки которого, наверно, найдутся в погребе. Пусть знают, что этот город, даже пребывая в беде,

умеет оказывать гостеприимство.

– Любезность, с какою он через ваше посредство принимает странников, – отвечал Григорс, – как нельзя лучше говорит в его пользу. Но почему, – спросил он, когда они оба сели на мулов и по бревенчатому мосту въехали в городские ворота, – почему вы дважды упомянули, что ваш город пребывает в беде, что, впрочем, видно и по озабоченным лицам тех немногих горожан, которые нам повстречались? И почему мне сдается, что большинство их, исключая стариков и детей, с оружием в руках, заполнило крепостные стены и башни?

– Право же, издалека вы явились, укерский гость, – отвечал господин Пуатвин, – если вы явно не слышали о горе нашей страны и ее столицы Брюжа, которую некогда называли *la vive*, а ныне, пожалуй, можно назвать «мертвой». Да и не диво! Обособленно живут люди, у молвы не столь уж длинные ноги, и даже весть о диковиннейших событиях теряется в воздухе где-то поблизости, отдаленных же; мест достигает лишь поздно или вообще до них не доходит. Ведь и сам я мало что знаю, чтобы не сказать – ничего, о том, что творится у чужих народов, к примеру, у аквитанцев, гасконцев, англов, лотарингов и турок. Точно так же и вы никогда не слышали о любовной войне, как, несомненно, когда-нибудь назовут наше горе поэты, ибо уже и теперь это название у всех на устах. Вот уж пять лет, как она бушует. Роже Козлиная Борода, король Арелата и Верхней Бургундии, разорил наши земли и замки, и у нашей государыни-герцогини – да направит к ней господь своих ангелов – ничего не осталось, кроме этой столицы, стены которой покамест еще отражают натиск врага – доколе, о том ведает один лишь всеблагий господь бог, коему, кстати, следовало бы вспомнить о своей благодати, пока не поздно. Боюсь, однако, что он подавляет ее умышленно, потому что гневается на нас и потому что наша государыня, несмотря на ее непорочнейшее поведение, не совсем с ним в ладу. Ибо, не в меру целомудренная, она отрекается, на печаль всеблагому, от женского естества, упорно отказываясь подарить стране герцога-государя, за что мы и платимся так называемой любовной войной. Но вы вправе осведомиться о смысле этого названья. Дело в том, что Роже Козлиная Борода любит нашу государыню и, прельщенный ее красотой, домогается ее руки вот уже двенадцать лет, из которых семь он посвятил мирному сватовству, хотя все настойчивее и чаще прибегал к угрозам. Наконец он объявил нам войну, ибо этот волосатый забияка поклялся, что любой ценой положит к себе в постель гордое тело нашей правительницы. Мы дважды отбивали его нашествие и победоносно прогоняли бургундцев, что стоило жизни лучшим из наших лучших, например, господину

Эйзенгрейну, верному рыцарю, – вам, чужеземцу, это имя ничего не говорит, а нам – до слез многое. Ах, все напрасно! Воодушевленные упорством своего повелителя, враги три года подряд вторгались к нам снова и снова, бесчинствовали, жгли, угоняли наши стада, вытаптывали наш лен, разоряли нашу страну и на четвертый пробились к этому укрепленному городу, последнему, который им сопротивляется и который давно уже окружен; они осаждают его стены всевозможными приспособлениями: с помощью башенных катков, ежей, кошек, нагло водружаемых лестниц и отвратительных катапульти. В замке же, там, наверху, в единственном оставшемся у нас убежище, укрывается та, из-за кого идет этот спор, та, кто при виде всех наших страданий говорит только: «Jamais». Удивительно ли, что там и сям, хоть и приглушенно, а раздаются голоса, выражающие уже назревшую мысль: не пора ли нашей государыне, которая так долго себя блюла, стать женою Роже и положить конец проклятому побоищу? Даже среди придворных, в замке, имеется весьма внушительная по своей численности и знатности coterie^[116], открыто ратующая за это предложение. А государыня стоит на своем: «Никогда de la vie!»^[117]

Все эти сведения Григорс почерпнул в доме и в покоях господина Пуатвина, за вкусным обедом, состоявшим из копченого мяса и подогретого пива с гвоздикой, который подала им экономка и ключница, женщина от природы любезная, но тоже с печатью забот на лице. Юноша был необычайно взволнован услышанным.

– Достопочтенный гостеприимен, глубокоуважаемый староста, – отвечал он, – ваши слова как бы рассеяли туман, застилавший мои глаза, и открыли мне, почему после долгого, слепого плаванья мне должна была открыться картина этого города. Я у цели. Сюда направил мое кормило господь, и мне ясно как день, что я в надлежащем месте. Ведь я всегда просил его доставить меня туда, где для меня найдется дело, дабы юность моя не пропадала втуне, но защищала угнетенную невинность в честном бою. Коли угодно будет моей государыне, я стану ее слугой и наемником и по примеру этой многострадальной мученицы изберу своим девизом слова «Никогда de la vie!» Ибо к этому герцогу, коего вы именуете Козлиной Бородой, потому, наверно, что он таковую носит, да и вообще волосат, что, кстати сказать, на мой взгляд является признаком особой мужественности, – к нему я питаю величайшее отвращение, а равно и к той coterie, которая, вслух ли, исподтишка ли, советует сдаться и пытается убедить непорочную, чтобы она стала женой наглого соискателя и

ненавистного опустошителя ее страны. Надеюсь всем сердцем, что эти гнусные отступники составляют меньшинство при дворе и что вокруг святой страдальницы сплотились рыцари более высоких помыслов.

– Ах, – отвечал староста, – из-за великой их верности число их все уменьшается. Почему – вам сейчас станет ясно из моего краткого, но горестного пояснения. У герцога Роже вошло в обычай подъезжать к городским воротам и вызывать наших лучших героев на поединок, а в поединке еще никому не случалось его одолеть. Не желая ронять свою честь, наши рыцари один за другим принимают вызов, но до сей поры Роже всегда вышибал их из седла и, если они просили пощады, уводил их в плен у нас на глазах, а если не сдавались, то убивал. Поэтому-то благородное окружение нашей правительницы позорно поредело.

– Должно быть, этот человек, – предположил Григорс, – обладает даром недюжинной собранности в бою и способен сосредоточить свой жизненный дух в решительный миг?

– Мне, – возразил хозяин, – не вполне понятен смысл ваших слов. Я лично полагаю, что наши бойцы заворожены молвой о неуязвимости герцога. Драться побуждает их честь, а не вера в победу, в которой они, сознавая себе в том или нет, при всей их храбрости заранее отчаиваются.

– Вы очень умны, господин гостеприимен, – почтительно заметил Григорс.

– Да, я умен, – отвечал староста. – Разве в противном случае я был бы мэром Брюжа? К тому же моему уму свойственна полнейшая ясность и общепонятность.

– Когда же, – спросил Григорс, – ожидается следующий самоуверенный вызов этого полководца?

– Сейчас его нет у стен города, – отвечал господин Пуатвин. – Его палатка снята. С наступлением осени и до следующей весны он возвращается через наши опустошенные земли в свое государство, которым тоже ведь надобно управлять. Наш бедный город, разумеется, остается в осаде, но зимой дело ограничивается мелкими стычками и вылазками.

– А весной, – заключил Григорс, – он снова вернется, чтобы, полагаясь на свою рыцарскую сноровку в поединках, похитить у государыни ее защитников и заставить ее сдаться, что в данном случае означает – отдаться. Наверно, она молода и красива?

– Она, – ответил хозяин, – приблизительно вдвое старше вас, которому я дал бы лет семнадцать – восемнадцать, но, несмотря на ночные молебны и умерщвление плоти, она вполне сохранила свою красоту – на печаль богу, как я подозреваю, ибо она бережет от мужчин свое прекрасное тело.

– Чтобы она отдалась этому козлинобородому герцогу, – возразил Григорс, – богу наверняка неуютно. Настолько я отваживаюсь угадывать его мысли, ибо в свое время я изучил *divinitatem*.

– Стало быть, вы сведущи также и в книгах?

– Немного. Но это ничуть не поможет мне в нынешних обстоятельствах. Единственное, что мне поможет и в чем я молю вас помочь мне, мой достопочтенный и умный гостеприимен, – это предстать пред очи вашей государыни, чтобы объявить себя ее слугою и чтобы она позволила мне жертвовать жизнью за ее свободу и защищать убежище ее чистоты от волосатых мерзавцев.

– Ваше рвение делает вам честь, – сказал горожанин после короткого размышленья, – к тому же я не стану скрывать приязни, которую вы мне внушаете. Не сомневаюсь, что, невзирая на вашу молодость, ваше воспитанье и норманская *tourgnie*^[118] не посрамят вас перед государыней. Однако предстать пред ее очи не так-то легко, ибо она лишь крайне редко и очень немногим позволяет себя лицезреть. Разве что в соборе, когда она простирается ниц перед богом, можно увидеть ее постольку, поскольку вообще можно увидеть женщину, молитвенно застывшую в земном поклоне. Но я попытаюсь вам пособить. Господин Фейрефиц де Беальзенан, стольник герцогини, – мой покровитель и друг; это человек с лоском и куртуазнейшей выучки; представьте его себе широкогрудым и тонконогим, одетым в светлые, расшитые цветами шелка, с раздвоенной, мягкой как шелк бородкой. Таково беглое описание его наружности. Я поговорю с ним о вас, похвалю ему ваши намеренья и желанья и, думается, добьюсь, чтобы он, со свойственными ему хитроумием и ловкостью, обратил на вас внимание герцогини. Дотоле же оставайтесь у меня, то есть будьте моим жильцом и нахлебником! Мне приятно было узнать, что в золоте у вас нет недостатка. Это утешительное исключение из правила. Обычно странствующие рыцари исполнены высоких помыслов, но бедны, а это сочетание никогда не вызывало у меня особого сочувствия. Вы же сумеете по справедливости заплатить за кров и за стол. Пища ваша будет обильна и однако же достаточно умеренна, чтобы не повредить вашей стройности и предостеречь вашу доблесть от сонливого ожирения. Согласны?

– Согласен, – отвечал Григорс, и они скрепили свой договор, прихлебнувпряного пива, отличного напитка, приправленного гвоздикой, которого я никогда не отвеживал, но который с удовольствием пропускаю через их глотки. Повествование весьма часто лишь заменяет нам наслажденья, в коих мы по собственной воле или по воле неба себе

отказываем.

Встреча

Я знал, что господин Пуатвин выполнит свое обещание и при первой же оказии переговорит со стольником, чью внешность он так хорошо описал, о Григорсе и его просьбе, – на этот счет у меня не было никаких сомнений. Слишком уж понравился старосте его юный гость с мужественным и нежным лицом, слишком уж угоден был старику этот обходительный и щедрый постоялец, чтобы не сдержать своего слова. Он сделал это спустя всего две недели после прибытия юноши, в мэрии, где его, прискакавши из замка, навестил де Беальзенан, чтобы обсудить с ним обстоятельства затихшей на зиму и прозябающей об эту пору любовной войны, а заодно и снабжение двора некоторыми самонужнейшими и несамонужнейшими припасами, причем господин Пуатвин старался провести четкую грань между первыми и вторыми, ставя в пример, когда речь шла о несамонужнейших припасах, схимнически-суровую жизнь самой государыни, протекающую в посте и бдении.

Возражая старосте, господин Фейрефиц резонно заметил, что восхищение ее образом жизни вполне уравнивается великим горем, которое таковой причиняет городу и всему государству. На сей раз стольник не был одет в расшитые цветами шелка, и в этом отношении его вид не соответствовал описанию старосты. Для защиты от случайных камней его могучий торс был облачен в панцирь, украшенный накрахмаленными брыжами, а голову его покрывал шлем с накладным узором. Зато ноги его, чрезвычайно тонкие, обтягивала только мягкая разноцветная ткань, забранная в башмаки, острые носки которых высоко выдавались при верховой езде из стремян. Но и обряженный на добрую половину в железо, царедворец отнюдь не утратил изящества и ловкости и во время переговоров ему удалось изобразить некоторые несамонужнейшие статьи довольствия насущно нужными. Затем староста сказал:

– Au rest'e^[119], господин стольник, incidemment и a propos^[120], недавно сюда прибыл и попросился ко мне на постой некий состоятельный странник, еще молодой, Григориус по имени, достойный рыцарь. У него в гербе рыба, и он клянется всеми святыми, что господь сподобил его увидеть этот пребывающий в беде город единственно для того, чтобы он, Григориус, показал здесь свою рыцарскую доблесть и великодушно помог нам справиться с нашими мучителями. Прежде всего он хочет явиться к

нашей горемычной государыне и предложить ей себя в вассалы. Согласитесь ли вы, со свойственной вам ловкостью, это устроить?

– Это мне ничего не стоит, – отвечал господин Фейрефиц. – Но вполне ли уверены вы в чистоте его родословной? Если бы я ввел в заблуждение нашу государыню, это было бы непростительным faux pas^[121] с моей стороны. По правде сказать, Укер – несколько расплывчатое обозначение, ибо мало ли кто может прийти из далекой заморской страны. Я был бы вам очень признателен, если бы вы представили мне более точные сведения о его рыцарстве.

Тут господин Пуатвин заметно смутился, ибо речь стольника заставила его спохватиться, что сам-то он так и не уточнил происхождения юноши и что (он готов был этому удивляться, но, к своему удивлению, не удивился), те скупые, а на поверку и вовсе ничтожные сведения, которые тот о себе сообщил, его, Пуатвина, вполне удовлетворили. Поэтому он обращался в одинаковой мере к своему собеседнику и самому себе, когда отвечал:

– Не знаю, достаточно ли внимательно вы следили за моими словами, чтобы восстановить в памяти мое упоминание о рыбе в гербе этого юного витязя. Если даже не затрагивать величайшей святыни (хотя, с другой стороны, ее тоже нельзя не затронуть, ибо мне известно, что мой гость жил некоторое время в благочестивой обители и изучал *divinitat'em*), этот знак, как вы согласитесь, дает пищу самым разнообразным толкованиям. Он является символом воды, – и действительно, юноша прибыл к нам по воде, и рыба выткана на его гафельном парусе. Он является далее символом мужественности и одного особого, присущего ей качества и достоинства, имя которому молчаливость. Стало быть, не приходится удивляться, что носитель этого знака отличается мужественной молчаливостью. Если рыцарство есть утонченная мужественность, то один ваш взгляд вполне заменяет вам любые расспросы, и поэтому вы предпочитаете не раскрывать рта. Могу только добавить, что чужеземец уже заранее, еще не став ленником государыни, ко всеобщему нашему воодушевлению явил нам свой доблестный нрав. Он сразу же полез на бойницы, к караульщикам крепостного вала, желая тщательно обозреть бургундский лагерь и злосчастное вражеское кольцо вокруг города. Насупив брови и сжавши зубы, разглядывал он палатки, осадные орудия, поле, воинов. Как обсуждал он свой замысел с начальником башни восточных ворот и как расположил названного воителя в пользу своего дерзкого намеренья, этого я не знаю. То, что он его убедил, я приписываю скорее его *tenue*^[122] и его глазам, нежели его красноречию. Словом, сейчас вы услышите нечто чудесное и

невероятное. Уже на третий день кастелян велит заблаговременно вынуть из пазов бревенчатые засовы, опустить подъемный мост, распахнуть настежь ворота – и, один-одинешенек, вышел гость из ворот, – поистине, нам казалось, что рядом с ним смерть идет. Он щит со знаком рыбы в дорогу взял с собой да верный меч, сверкающий двуострой наготой. А к отпертым воротам ринулась уже толпа бургундских воинов из лагеря Роже. Они спешили в крепость, один их не страшил. Но вы сейчас услышите, как он врагов отбил. Беда! Не хочу сочинять я, и рифмам я вовсе не рад, а то и дело сбиваюсь на стихотворный лад. Грегориус, рыцарь Рыбы, проворен был и смел! Трех воителей герцога он тотчас же одолел. Он разрубил им шлемы мечом своим пополам. Двое свалились в канаву, третий – к его ногам. Ах, черт побери, господин стольник, пора, наконец, прекратить эту декламацию и попросту рассказать вам, как основательно он их посрамил! Ибо они думали, что все это забава, но синий пламень, которым горели его глаза на бледном лице, быстро их отрезвил. Так вот, вскоре они уже не могли сражаться с ним на мечах, и поэтому они забросали его столькими копьями, что лямки щита соскользнули с руки, и, так как держать эту тяжесть у рыцаря не было сил, он свой щит уронил. Тогда они снова решились на рукопашный бой, но, словно от своры гончих яростный вепрь лесной, он от врагов отбивался и отразил набег. Он мощным ударом кольчугу кому-то из них рассек, и сполохами рдяными окрасили искры металл, и – это святая правда – бургундец убитым пал. Господин стольник, я постараюсь больше не декламировать! Мы видели своими глазами: он поднял с земли дротик, предназначавшийся ему самому, и метнул его в голову одному из бургундцев, – копье застряло в шлеме у воина, который, шатаясь, убрался с моста и вскоре, наверно, испустил дух. Клянусь вам, он другого разрезал поперек. А тот и не заметил: так тонок был клинок. И только наклонившись – он меч поднять хотел – двумя пластами наземь бургундец полетел. Словом, господин стольник, совершая такие подвиги, наш витязь шаг за шагом отступает к воротам, которые защищал он один, и створы их с грохотом захлопываются перед самым носом врагов, ибо смельчак оказался уже по ею сторону стены. Какую тут подняли наши веселую кутерьму! Его на руках носили, и я поспешил к нему. Он весь был обрызган кровью от головы до пят: в крови был и меч двуострый и ратный его наряд. «Скажите, любезный витязь, коль скоро вы столь красны, то, верно, вы вашими ранами жестоко изнурены?» – «Об этом не тревожьтесь! – гласил его ответ. – Вся кровь на мне чужая, а я не ранен, нет».

– Очень любопытно, – отозвался господин Фейрефиц. – При таких

обстоятельствах мне вполне понятно, староста, ваше тяготение к поэтической речи.

– Если я не сумел его подавить в себе, – отвечал гостеприимец Грегора, – то, конечно же, причиной тому глаза, пылающие синеватым огнем на бледном его лице. Впрочем, не скрою, иногда я чересчур увлекался. Что он кого-то разрубил поперек, а тот поначалу ничего не заметил и лишь потом распался на половинки, это я присочинил; на самом деле этого не было.

– Все равно, – возразил стольник. – Предпринятая диверсия достаточно внушительна и без этой мелкой подробности. В рыцарстве вашего юноши и в том, что он может быть нам полезен, нет никаких сомнений.

– Поведаю вам одну теорию, – продолжал мэр, – хоть как-то объясняющую тот беспримерный образец благородства, который показал нам мой гость. По-видимому, ему дана недюжинная собранность в бою и способность как бы сосредоточивать свой жизненный дух в решительный миг. Обычно я облекаю свои мысли в более ясную и общепонятную форму, но в данном случае я вынужден выразиться несколько туманно.

– Как бы то ни было, – отвечал стольник, – теперь я уже несколько не опасаясь обратить внимание государыни на вашего гостя и представить его, чтобы он предложил ей себя в вассалы. Подходящий случай выдается редко, но уже не за горами праздник нашей веры – Святое Зачатие. В этот день, как вы знаете, она показывается народу и верхом на коне, в сопровождении всего двора, следует из замка в собор, чтобы утешить себя обедней. Тут ваш витязь сможет ее увидеть, а уж я улучу момент, чтобы указать на него государыне.

Так и случилось. В тот день, когда пречистая дева, роза без шипов, во плоти, но одновременно осененная духом, безгрешно зачала (такова наша благоиспытанная вера), герцогиня на астурийском иноходце, которого вели под уздцы два пажа, со всей свитой спустилась из замка в последний свой город, к стенам оглашаемого колокольным звоном собора; здесь она спешила среди обнажившей головы коленапреклоненной толпы, глядевшей на нее красными от слез глазами и хлынувшей за ней, когда она с кавалерами и дамами миновала широко распахнутый резной портал и, потупив очи, держа левую руку у ворота подбитой светлым беличьим мехом мантии, а правой немного подбирая ее, проследовала через божий храм к своему креслу и к подушечке с золотой оторочкой и кисточками, приготовленной для ее колен. Так увидел ее Григорс со своего места над проходом, рядом со старостой, увидел при звуках песнопений, в

мерцающем свете свечей и в пряном дыму ладана, поелику возможно видеть отдавшуюся молитве. Он видел в профиль ее лицо, окаймленное диадемой, полузакрытое тугою повязкой, тускло отсвечивавшее слоновой костью в многокрасочном сумраке, когда она поднимала его и горестно возводила очи горе, и всякий раз, как она его поднимала, в юном сердце глядевшего на нее рыцаря вздымалась волна восторга. «Это она, – говорил он себе, – моя госпожа, страдальица, та, кого я призван избавить от беды, которую навлек на нее волосатый фигляр». И, сжав кулаки, он дал клятву и возжелал, чтобы клятва сия стала всеобщим боевым кличем в жарком сраженье за государыню: «Никогда de la vie!»

Позади герцогини стоял на коленях ее стольник, одетый в узорчатый шелковый камзол, а потому на сей раз вид у него был в точности такой, каким описал его Григорсов гостеприимец. Когда богослужение окончилось, он склонил свою шелковистую бородку к уху государыни и что-то шепнул ей. Ну, как он мог выразиться? Сказал ли он: «Госпожа, поклонитесь вон тому мужу! Он сослужит вам добрую службу»? Вполне можно было опасаться, что он употребил не слово «муж», а слово «юноша», или, пожалуй, какое-нибудь другое, еще менее почтительное. Впрочем, нет, он, конечно же, употребил слово «муж», ибо хотел лучше отрекомендовать чужестранца. Однако она даже не кивнула советчику головой и уж подавно не повернула ее в ту сторону, куда он указывал; после «Ite, missa est»^[123] она еще раз перекрестилась и направилась к выходу по главному нефу. Дамы шествовали впереди нее, а кавалеры сзади. Стольник взял Григорса за руку и повел его вслед за герцогиней в портик притвора. Тут он произнес выпренные слова:

– Это, государыня, господин Грегориус, укерский рыцарь. Он жаждет чести и прежде всего чести преклонить перед вами колено.

Именно это Григорс и сделал; с беретом в руке он припал на одно колено и опустил голову. Герцогиня, которую полукругом обступила свита, взглянула на его темя.

– Встаньте же, сударь, – услышал он над собой ее голос, глубокого, зрелого, пленительного звучанья, ничуть не похожий на девичий воркот. – Лишь перед богом да перед царицей небесной пристало здесь падать ниц.

Но стоило ему встать перед ней, как случилось то, чего он страшился: на ее алых губах показалась улыбка, потому что она подивилась его молодости. То была снисходительно мягкая, почти соблезнующая улыбка при насмешливо поднятых бровях, впрочем, сразу исчезающая – и вовсе не потому, что он, покраснев, вскинул голову, этого она не заметила, ибо ее глаза пытливо скользнули вниз и с великим вниманием остановились на его

одежде. В тот день Григорс облачился в прекрасный намет, сшитый из шелков своего приданого – из темного, с переливами, златотканого левантийского атласа, и этот брокат задержал на себе ее взор, настолько пристальный, что рот ее непроизвольно раскрылся, а брови сосредоточенно нахмурились. Она продолжала его рассматривать, но глаза ее уже подернулись поволокой страдания.

«О меч, ты снова жестоко пронзаешь мне сердце! Отняли, отняли его у меня, мое дитя, завещанное мне любимым, сладостный дар его плоти, швырнули его в бочонок, отдали на растерзанье дикому морю, – да простит им тот, кого я в глубине души моей не могу простить! Такими же шелками, точно такими, устлала я ложе бедненького моего мореплавателя. Поистине, эти нисколько не отличаются от тех – ни по добротности, ни по цвету. Тут я не ошибусь, они словно бы вытканы одной и той же рукой; возможно, что так оно и есть. Ужас и боль и несметное множество греховно упоительных воспоминаний оживают во мне при взгляде на эти ткани, и одновременно я не могу не заключить, что лишь благородный дом, с ломящимися от добра ларями, способен был наделить этого мальчика такими брокатами».

Грудь ее учащенно вздымалась в корсаже платья, ниспадавшего от кушака широкими складками белоснежного бархата и окутанного пурпуром мантии, полу которой она подобрала у пояса своей прекрасной, худощавой рукой. Ее темно-синие глаза, подведенные тенями ночных бдений, глядели ему в глаза. Ей пришлось по душе, ее чем-то привлекало к себе это строгое, юное, но уже мужественно-решительное лицо. А ему чудилось, будто он воочию видит земную ипостась царицы небесной.

Она кротко спросила его:

– Вы явились ко мне с просьбой?

– Да, с одной-единственной, – отвечал он с восторженным пылом. – Я жажду быть вашим слугой, государыня! Возьмите меня в вассалы, прошу вас, и позвольте мне пожертвовать собой и всем своим достоянием, борясь против злодея Роже и сражаясь за вас, пока не погибну!

Она сказала:

– Я, рыцарь, слыхала о вас и о некоторых ваших достославных, но преждевременных и заслуживающих упрека деяниях. Говорят, вы смелее, чем следует быть. Вы знаете, на какую дерзкую диверсию я намекаю. Жива ли еще ваша мать?

– Я никогда ее не видел.

– В таком случае позвольте мне предостеречь вас вместо нее. Вы испытывали бога. Будь вы рассудительнее, вы не отважились бы на такой поступок.

– Государыня, подробности этой вылазки преувеличенно расписаны. Но зимний застой в любовной войне меня действительно злил. Я считал нужным вывести ее из затишья и, пострадав обленившегося врага, показать ему, что в этом городе еще жив дух, который, если дело идет о вашей чести, не убоится и самых необыденных предприятий.

– Благодарю вас, хоть и не отказываюсь от своего предостережения. В смелости верных я, бедная женщина, увы, нуждаюсь. Но я не хочу, чтобы благородные юноши опрометчиво платились из-за меня своей жизнью. Обещайте мне больше так не поступать и впредь не давать воли кичливому легкомыслию.

То, что она назвала себя бедной женщиной, поразило его в самое сердце, и он тотчас же снова упал на колени, устремив к ней пылающее лицо.

– Обещаю вам повиноваться, государыня, насколько это позволит мое страстное желанье служить вам.

Она взяла у одного из окружавших ее рыцарей обнаженный меч и коснулась им плеча юноши.

– Будьте моим вассалом! Не поступаясь благоразумием, стяжайте себе славу в борьбе за наш город, за нашу поруганную страну! Стольник, я поручаю этого рыцаря вашей опеке.

Когда он, ошарашенный, поднялся, она еще раз взглянула на его платье, еще раз – на его лицо и спешно удалилась, окруженная свитой. А Григорс стоял, не сходя с места, самозабвенно глядя ей вслед, покуда староста, его гостеприимный хозяин, не потянул его за рукав. Такой женщины он никогда не видел и никогда не слышал такого сладостно полнозвучного голоса, каким она властно вступилась за его молодость. Как чужды были ее облик и нрав его неопытности, но сколь же близки его природе!

Поединок

С неммым ужасом продолжая свой рассказ, я все-таки рад, что в вышеприведенной беседе с господином Пуатвином господин Фейрефиц пожелал удостовериться в истинности Грегорсова рыцарства, чем развязал старосте язык и заставил его подробнее рассказать о дерзкой и одиночной вылазке своего гостя на крепостной мост. Иначе мы, наверно, так и не узнали бы об этом подвиге. Если даже сделать скидку на поэтические преувеличения, которые в пылу повествования допустил рассказчик и которые в общем-то можно легко простить человеку, не искушенному в правдивом изложении событий, – у нас все равно достаточно оснований признать, что рыцарские мечты монастырского школяра из рыбацкой хижины не были пустопорожней блажью и что язык рыцарских подвигов, каковым он, по его утверждению, внутренне владел, действительно слышался в его речах и поступках, хотя ему необходимо было практически усовершенствоваться в этом языке, прежде чем отважиться на то, что после первого же разговора со старшиной Пуатвином, и особенно после встречи с самой государыней, стало его твердым намереньем.

Если кто в простоте душевной и по несообразительности спросит меня, что же это было за намеренье, то пусть прислушается к отрывистым фразам, которые наедине с собой иногда бормотал Григорс. Например:

– Будь он хоть трижды грозен, я драться буду с ним.

Или:

– Сам дьявол мне не страшен – сразиться я готов.

Кого он имел в виду, это, наверно, ясно и недогадливому. Слушая его бормотанье, я, право же, радуюсь, что господь привел его в этот город зимой, когда наступило затишье в любовной войне. Таким образом, у Григорса оставалось время, чтобы усердно поупражняться в практическом (а не только внутреннем) применении рыцарского языка, тем более что зимняя кампания чуть ли не каждый день предоставляла ему такую возможность. Ибо небольшие приключения, рыцарская перестрелка, схватки, конные и пешие, наполовину всерьез, наполовину забавы ради, случались у городской стены почти ежедневно, и он всегда в них участвовал, так что вскоре прослыл среди ополченцев, рыцарей и сервиентов «главой в погоне, хвостом в бегах». Я воспроизвожу их выраженье дословно. Мне оно кажется неуклюжим, как и другое – «град

для врагов». Это, на мой взгляд, тоже не очень-то удачная метафора, но что поделаться, если такие образы внушала им его *tenue*.

Лучше всего он чувствовал себя верхом на коне, ибо слишком часто и тщательно сжимал шенкеля, затыгивал поводя и выделявал вольты в мечтах, чтобы все это показалось ему незнакомым или невыполнимым в действительности. Это искусство было, как говорится, дано ему от природы, оно было заложено в нем, и он сразу же овладел им настолько, что никто не подумал бы, что доселе ему не случалось сидеть в седле. В конюшне господина Пуатвина стоял добрый конь, купленный на золото Григорса, жеребец с белой звездочкой на лбу, брабантской породы, с прекрасными, как у единорога, глазами, горячо преданный своему хозяину: когда тот к нему подходил, он тянулся к юноше лоснящейся шеей и звонко ржал от радости и ретивости, столь же пронзительно, как кричат петухи поутру. Звали его Ветерок. Мне самому нравится это ладное животное со светлым хвостом и такой же холкой и гривой; с похвалой упомяну еще об его крепких, тонких бабках и маленьких копытах. Шелку подобна была его шерсть, тщательно вычищенная скребницей, а под нею, играя, так и ходили сильные мышцы. Как красила Ветерка кольчужная попона из тонких и частых стальных колечек, которую конюх покрывал ковертюрой зеленого арабского ахмарди. Ковертюра свисала сзади до самых копыт, а слева и справа на ней была вышита рыба. Так скакал Григорс на своем любимом коне – все это было уже хорошо знакомо ему по его мечтам и благодаря его природным задаткам – в отличных латах, защищавших голову, туловище и ноги, с мечом на бедре, надев на руку лямку щита, – так, повторяю, часто скакал он на своем Ветерке вместе с другими витязями герцогини к городской стене, сопровождаемый повозкой, груженной турнирными, без острия, копьями. Ибо, поверьте мне, шутливость и взаимная полуприязнь сторон, столь свойственные этой любовной войне зимой, зашли так далеко, что горожане и осаждающие мирно состязались друг с другом во владении оружием, и рыцари госпожи Сибиллы, как и бургундские рыцари, на глазах друг у друга дрались на тупых ратовищах, отчасти для собственного увеселения, отчасти же для того, чтобы пострадать противника своим кавалерийским и фехтовальным искусством. В этих боях Григорс снискал себе ту честь, о которой он с детства мечтал, и бурные похвалы врагов.

Я должен радоваться, что ему представились время и случай поупражняться наяву, ибо не могу не желать, чтобы намеренье, упорно и глухо запавшее в его душу, увенчалось удачей, хотя, как рассказчик, я вижу все наперед и знаю, какую несказанную, немислимую беду сулила ему именно эта удача. Если бы я, в своем никому не доступном всевиденье, не

мог заглянуть еще дальше, в самый конец, я должен был бы пожелать, чтобы наш мальчик, как мне его ни жаль, себе же на благо погиб, осуществляя задуманное, – и даже вопреки моему всеведенью я почти готов этого пожелать, хотя, с другой стороны, понимаю, что такое желанье бессмысленно, коль скоро я знаю, что было дальше, и должен рассказать эту историю так, как к вящей славе своей направил ее господь. Мне хочется только смиренно указать на противоречивость чувств, разрывающих душу повествователю подобной истории.

Ведь тяжкий грех, грех его рожденья, и старания смыть с себя это пятно толкнули юношу на еще более ужасный грех! Он подолгу читал свою дощечку, читал со слезами, поистине, он жил точно так же, как когда-то на острове: образец храбрости и величайшей собранности в рыцарских играх, он был вместе с тем печален и озабочен. *Tristan le greux, lequel fut ne en tristesse*^[124], как, покачивая головой, говаривал господин Пуатвин, когда Григорс выходил из своей каморки с заплаканными глазами. Ибо юноша имел обыкновенье запирается там с заветной, бережно хранимой дощечкой, чтобы в сотый и тысячный раз прочитать о необыкновенных обстоятельствах своего рожденья: о том, что его мать приходится ему теткой, а его отец – дядей, что он является как бы их братом, которого они греховно, сроднив своего потомка с грехом и позором, произвели на свет. Его тело как будто и не отличалось от плоти других людей, оно было достаточно благообразно, и все же от головы до пят оно было детищем греха и позора. Злополучье его рожденья, вновь и вновь напоминавшее о себе письменами, вызывало у Григорса горькие слезы и всячески укрепляло юношу в его тайном намеренье. Он хотел поставить на карту свое молодое, насквозь греховное тело, рискнуть им в отчаянной жеребьевке и либо умереть (что его вполне удовлетворило бы), либо же оправдать свое противоестественное существование, освободив несчастную страну от дракона. Но этим сказано еще не все.

Ибо в сердце своем, освящая это насквозь греховное сердце, он носил образ женщины, чей голос, показавшийся ему столь прекрасным и полнозвучным, так ласково побранил его за легкомыслие, так по-матерински замолвил перед ним слово за него же самого. Как повиноваться такому повелению, как отблагодарить такое заступничество?

Пожертвовав собой ради повелевшей или одержав ради нее победу и освободив ее от дракона! Этот дракон был мужчина, к которому она питала отвращенье, но мужчина, хотя и до смешного молодой, был также и он, Григорс. Сразиться с Роже один на один значило сразиться не только за нее, но и из-за нее, и в обоих случаях, сложив голову или победив, снискать ее

благосклонность, причем столь же великую благосклонность, сколь велико ее отвращение к тому, другому. Ну что ж, скажу все до конца и напишу, что Григорс рассуждал так: если победит тот, кого он ненавидел, ибо желал эту женщину, и если она достанется ненавистному сопернику, то в насильственных объятиях победителя она вспомнит и будет звать того, кто за нее и из-за нее сражался, и, стало быть, сама гибель здесь означает победу. В любом случае, рассуждал Григорс, ему выпадет счастливый жребий, и, кроме своего греховного тела, терять ему нечего.

Но не следует думать, будто поэтому он готовился к поражению. Отнюдь нет, он готовился победить в поединке за герцогиню, и когда наступила весна, взвился первый жаворонок, вернулись из страны мавров дикие гуси и белые аисты и распространилась весть, что Роже Козлиная Борода снова возглавил осаду полумертвого Брюжа, тогда гость поведал хозяину давнишний свой замысел – потягаться с волосатым захватчиком, чего бы это ни стоило, едва лишь тот повторит свой самоуверенный вызов.

– Не могу одобрить вашей затеи, – отвечал староста. – Поверьте мне, я душевно к вам расположен, как и все здешние жители, и вместе с вами дорожу вашей честью. Но, хоть вы и держали себя молодцом тогда, на мосту, и в бою показали себя, как говорится, градом для врагов, я боюсь, что здесь у вас дело не выгорит. Спору нет, вы обладаете мужеством, ловкостью, хваткой, и Ветерок под вами стоек и поворотлив. Но в общем-то у вас еще нет необходимой твердости и зрелости, и ваш боевой опыт не идет ни в какое сравнение с опытом этого петуха-полководца, столь же победоносного на турнирной площадке, как и в постелях женщин. Откажитесь от своего каприза! Мы не хотим в стыде и печали взирать с крепостной стены, как он, по праву победителя, уведет вас в плен, чтобы подчинить вашу дальнейшую жизнь своему произволу.

– Этому не бывать, – перебил старосту Григорс, – ибо я не стану просить у него пощады, я либо одолею его, либо умру. А все остальное, насчет турнирного поля и постелей, скорее укрепит меня в моем намеренье, чем заставит от него отказаться. В конце концов это становится еппуант^[125] – сражаться за герцогиню в числе многих других бойцов. Я хочу выйти на поединок, и тут видно будет, не сильнее ли тот, кто стоит за ее свободу, чем тот, кто, сражаясь, уготовляет ей позор и неволю.

– Ах, друг мой, – вздохнул староста, – это ведь, в общем, еще не самый страшный позор – стать законной супругой короля Арелата и Верхней Бургундии, и не в одну душу закралось сомнение в том, что государыня, наотрез отказавшаяся дать стране герцога и потому обрекая свой народ проклятью злосчастной любовной войны, защищает такое уж безупречно

правое дело.

– Для моей души, – возразил Григорс и сразу похорошел, – ее дело свято!

Тут мэр поглядел на юношу, и если при этом взор господина Пуатвина задумчиво расплылся, то лишь потому, что в мыслях его поразительным образом сплылись воедино словечки «за» и «из-за».

– Желаю вам, господин чужеземец, – молвил он наконец, – чтобы Козлиная Борода изменил своей привычке и на этот раз не повторил вызова.

– Не желаю таких пожеланий! – воскликнул Григорс, все еще очень красивый.

И желание старосты не сбылось.

Ибо весьма скоро у крепостной стены появились два всадника, у одного из них в руке был походный рог, в который он громко трубил, у другого – штандарт с геральдическим львом Арелата и Бургундии. Этот второй прокричал, что если у герцогини еще найдется рыцарь, достаточно смелый, чтобы завтра под стенами города на потеху и в поученье горожанам один на один, в смертном бою, помериться силами с непобедимым повелителем бургундцев Роже, то пусть он выйдет на поединок: ему обеспечены беспрепятственный въезд в неприятельский лагерь и справедливые условия боя. К удивлению герольдов им ответили, что такой рыцарь явится и надеется с изволения господня одолеть герцога.

На следующее утро, еще до рассвета, Григорс отстоял заутреню, а затем снарядился, как принято перед битвой: он надел латы, и господин Пуатвин, хоть и покачивая головой, сам помогал ему вооружиться поножами, кирасой, бармицей, шлемом и нагрудником, а равно мечом, щитом и длинным копьем, на флажке которого, как и на полукафтани Григорса, красовался знак рыбы. Пробуя, не скользит ли копье в ладони, юноша то и дело сжимал его древко десницей в железной перчатке.

Во время сборов Григорс сказал своему помощнику:

– Не падайте духом и не качайте головой! Так уж написано мне на роду – потягаться с этим злодеем. Я одолею его или погибну. Если я погибну – что за беда? Моя жизнь – не ахти какая потеря. Этот сильный город будет и впредь сопротивляться Козлиной Бороде ничуть не хуже, чем до моего прибытия. Если же я одержу верх, страна будет освобождена от дракона и избавлена от любовной войны. Возьмите это в толк. Герцог находится в невыгодном положении, ибо он рискует большим, чем я, но с другой стороны, именно поэтому он находится и в более выгодном сравнительно со мной положении, ибо тот, кто рискует большим, дерется

лучше. Но, опять-таки, он находится в менее выгодном положении потому, что дерется за умыкание государыни, тогда как я дерусь за ее честь. Если это как следует взвесить, то я все же нахожусь в выгоднейшем сравнительно с ним положении. Поэтому я надеюсь с божьей помощью одержать победу, но не хочу, поскольку сие от меня зависит, лишать его жизни. Жадные и грубые домогательства этого петуха, спору нет, отвратительны, и я тоже считаю его своим смертельным врагом; но, с другой стороны, усматривая в обладании государыней величайшее благо, стоящее такой многолетней войны, он встречает у меня полное понимание, и я не могу ненавидеть его смертельно.

– Ах, рыцарь, – сказал хозяин, – уж лучше бы вы ненавидели его в полную меру ярости, ибо вам нужна полная ее мера, чтобы тягаться с таким опытным бойцом!

– Я отлично вижу, что рядом с ним я – слабый юнец, – возразил Григорс, – и даже допускаю, что мне захочется отступить и спасти свою молодую жизнь, когда я с ужасом удостоверюсь в его превосходстве. Да, вполне может статься, что я слишком понадеялся на свое мужество, что под натиском врага я сразу сробею и по молодости лет пущусь наутек на своем Ветерке, чтобы на худой конец хоть проворством в бегстве заслужить одобрение зрителей.

– Это на вас не очень-то похоже, – заметил господин Пуатвин.

– Не знаю, похоже или нет, но по молодости можно со страху выкинуть штуку, совсем на тебя не похожую. Поэтому прошу вас, следите за воротами, когда я выйду на бой, поставьте за ними стражу и будьте начеку, чтобы пропустить меня, едва лишь я к ним приближусь – то ли шагом, как победитель, то ли вскачь, как беглец!

– Об этом, – обещал добрый хозяин, – я уж побеспокоюсь.

Он не переставал качать головой, а меж тем во двор уже выводили оседланного коня, прекрасное животное, которое мне просто приятно снова увидеть в его боевом убранстве, отлично взнузданное, в кольчужной попоне и ковертюре, гордо вскидывающее голову и шумно фыркающее. На прощанье господин Пуатвин с тревогою обнял своего гостя и молвил:

– Господь с вами, мой друг, рыцарской вам удачи, *bonne chance!* Как вы сказали, так и поступите: если увидите, что вам с ним не справиться, то лучше покиньте поле боя и покажите свое проворство в бегстве! Ворота мы подготовим, а что касается смеха зрителей, то добрая часть смеющихся будет на вашей стороне.

– Ну что ж, прощайте, не поминайте меня лихом, если лягу на поле боя! – отвечал Григорс. – Но такой исход мало вероятен, коль скоро у меня

есть две возможности вернуться целым и невредимым: либо побив противника, либо вовремя обратившись в бегство.

С этими словами он вскочил в седло, вскинув над крупом коня ногу в железе, подтянул щит к плечу, взял поводья оснащенной рукой и на глазах бесчисленных горожан, мужчин и женщин, из любопытства усеявших стены и башни, выехал из города на рыхлую землю предполья и спокойно въехал в лагерь бургундцев, которые тоже сразу столпились, чтобы посмотреть, как их повелитель посрамит очередного ленника герцогини.

– Молокосос! – закричали они, узнавши в нем рыцаря Рыбы. – Ты совсем рехнулся, наглец! Захотел потягаться с непобедимым Роже! Какая наглость! Видно, тебе не терпится найти на себя управу? Лучше сдавайся сразу – дешевле выйдет!

Григорс все это молча слушал и невозмутимо следовал своим путем, прямо к палатке герцога, пока не увидел, что тот, на вид – настоящий рыцарь, едет ему навстречу. На высоконогом вороном жеребце, защищенном по самые копыта латами, скакал сей упрямый жених Сибиллы, и панцирь его коня покрывала попона красного бархата. Привыкший к победам всадник тоже был весь в железе, и молниями сверкал его щит, украшенный драгоценными камнями вокруг пупыша из червонного, очищенного в пламени золота. Оно-то и метало молнии. Шлем целиком скрывал голову страшного воина и прятал его лицо заостренным забралом, тогда как у Григорса был открытый шлем с наплечником. Древком копья многострашному воину служило молодое деревце, прямо с корой – вот уж поистине ужасное зрелище.

Смельчак на Ветерке как будто и впрямь не выдержал этого зрелища, ибо при приближении противника повернул своего коня и помчался назад, чуть ли не к самым воротам, покрыв почти весь только что пройденный путь. Вслед за ним, размахивая деревцем-ратовищем, скакал бронеблещущий герцог, который кричал сквозь шлем, глушивший звук его голоса:

– Остановись, мальчишка! Остановись, маменькин сынок, трус и ублюдок! Уж если у тебя хватило наглости выйти на бой, то дерись и получай по заслугам!

Тут поднялся хохот среди бургундских рыцарей и простых воинов. Но Григорс опять повернулся лицом к противнику и воскликнул:

– Вы, наверно, смеетесь над вашим герцогом, который, видимо, не знает, что при поединке нужно позаботиться о длительной *puneiz*?^[126] Протрубите же сигнал, чтобы мы сразились, как он того хочет, и дрались до конца, пока один из нас не перестанет сопротивляться!

Тут загремел походный рог, и поединок начался.

Моему монашескому сердцу чуждо грубое безобразье рыцарских потасовок, я их терпеть не могу, и если бы не весьма удивительный, на первый взгляд счастливый, а по своим прямым последствиям ужасный исход этого боя, я не стал бы и повествовать о таких вещах. И уж конечно я не собьюсь на декламацию и песенный лад, как это случилось с господином Пуатвином, когда он рассказывал об удальстве Григорса. Как служителя церкви побоища меня несколько не опьяняют. К тому же каждый и без того знает, как это происходит и как себя при этом ведут. Они сжали копья под мышкой, подняли щиты и во весь опор, с великим грохотом, треском и бряцанием, ринулись друг на друга, чтобы достать противника копьем и вышибить его из седла. Это, однако, ни тому, ни другому не удалось. Копья расщепились от удара о латы и щит, куски их, в том числе и кора с дубинки Роже, взлетели высоко в воздух, и так никто ничего не добился. Если Григорс непоколебимо сидел на своем Ветерке, то герцог не менее твердо сидел на своем одетом в броню вороном! Тогда, как сказал бы поэт, они «не позволили себе забыть о своих мечах». Да и как, в самом деле, могли они забыть о мечах, если лишились копий? Настал черед мечей. Они вытащили их из ножен и стали молотить ими друг друга, так что стук их ударов доносился через поле до ушей глазевших со стен горожан и только искры сыпались от столкновенья железа и стали. Право же, они были одинаково хороши в бою, и каждого неоднократно оглушал гулкий звон его собственного шлема, на который опускался меч противника. Кони, подпрыгивая, били копытами, а всадники фехтовали, стараясь половчее нанести удар; иногда они стояли в стременах боком друг к другу, лицом к лицу. Однако, как уповали бургундцы и опасались горожане, натиск герцога оказался, видимо, все же сильнее, чем натиск его молодого врага: под искуснейшими ударами Роже Григорс медленно отступал все ближе и ближе к воротам, и вдруг настало мгновенье, ужасное для тех, кто надеялся на победу отважного юноши, – Григорс был обезоружен. Да, тут сказалось зрелое превосходство герцога: внезапно он вышиб из рук противника меч, и тот, описавши дугу, взлетел в воздух, что вызвало у бургундцев великое ликование и торжествующий гомон, а у защитников Брюжа – вопли отчаянья. Но, куда меч еще летел, случилось нечто другое, молниеносное, что при всем отвращении к грубому рукоприкладству согревает душу и чего поначалу никто не мог уразуметь: правой, свободной от меча рукой в железной перчатке Григорс схватил за узду коня Козлиной Бороды и тем же цепким движением поймал его меч, еще не поднятый после победоносного удара. Теперь он цепко держал и

меч и узду, и в то же мгновение, во всю мочь своего короткого, славного, складного тела Ветерок стал пятиться назад, увлекая за собой высокого вороного вместе с герцогом, которому никак не удавалось выпростать свое столь цепко схваченное оружие – к мосту и к воротам.

Одному богу известно, было ли бесценное животное натаскано в этом приеме заранее, или же оно мгновенно поняло язык шенкелей своего господина, – так или иначе оно тащило за собой герцога, сколько тот ни бранился под сталью шлема и ни колол шпорами свою лошадь, отчего она только скакала вперед, так что и Ветерку приходилось скакать назад – отнюдь не к огорчению доброго животного. Что же касается Григорса, то я помню, что еще в состязании со своим достойным соперником – братом, он скорее позволил бы проломить себе череп, чем перестал упираться. Так и здесь, только здесь он показал еще большую цепкость, и если тогда, может быть, и потерпел бы, чтобы Флан прижал его лопатку к земле, то уж теперь ни за что не выпустил бы меча и узды. Меч прорезал внутренний панцирь перчатки и до крови разрезал ему ладонь, но он не выпускал его из руки и добрым своим щитом отражал удары, которые расвирепевший Роже старался нанести ему своим в голову и в плечо. А Ветерок все пятился и пятился.

Всеобщее замешательство было недолгим. Вскоре люди герцога, злобно крича, бросились ему на помощь, но навстречу им через распахнувшиеся ворота, ринулись защитники города, так что на мосту завязался самый отчаянный рукопашный бой, который когда-либо случалось видеть. В шею Григорса, возле ключицы, проткнув нагрудник, вонзился дротик, так что гоноша, тяжело раненный, с трудом вытащил из своего тела его острие, да и Ветерок был весь в крови. Но они уже настолько приблизились к воротам, что можно было крикнуть герцогу: «Слезай, вояка! Простись со своим плененным мечом, которого я все равно не выпущу, и падай с коня на плечи своих заступников!» Но так поступить богатырь не хотел и не мог. Расстаться с мечом, разоружившим этого молодчика? Упасть с коня, как побежденный? Ни за что и никогда! К тому же из-за закрытого шлема он, по-видимому, не мог как следует оглядеться, и не вполне понимал, что произошло. Он с грохотом колотил щитом по щиту своего окровавленного похитителя. Но вот уже послышался другой грохот. То были крепкокованные створы ворот, захлопнувшиеся за конем и всадником, за всадником и конем, и бревенчатые засовы, со скрежетом вогнанные в пазы.

К сожалению, немало городских ополченцев было отрезано и, надо думать, убито. Но ведь это же были фигуры второстепенные, а Роже

Козлиная Борода попал в плен.

Поцелуй в руку

Ах, если б я мог без оговорок и в приятном неведении разделить упоительный восторг и всеобщее ликование счастливых горожан, радовавшихся, что благодаря цепкости Григорса страна освободилась от дракона и ее опустошитель, обезоруженный и связанный, томился в подземной темнице головной башни! Я бы, пожалуй, обнял юного победителя и, право же, расцеловал славного Ветерка, но, во-первых, от таких излиятий меня удерживает мысль об ужасных последствиях этой победы, а во-вторых, Григорса вовсе и нельзя было обнять, ибо он был весь изранен копьями и мечом, так что на сей раз по его платью текла его собственная кровь, и без чувств свалился с коня, когда народ с триумфом проводил его к его пристанищу – дому старосты. И воин и конь нуждались в целебных бальзамах и в хорошем уходе, за которыми, впрочем, дело не стало. У горожан же в тот день было еще много других забот, кроме как ликовать и хлопать себя по ляжкам, ибо ожесточенный враг не преминул учинить решительный приступ, чтобы вызволить своего повелителя герцога Роже, и до самого вечера продолжались эти яростные потуги. Враги ломались в ворота гремящими таранами, подкатывали к стенам по насыпям осадные башни с бойцами, приставляли к ним лестницы, забрасывали крепость камнями и железом. Еще многим бургундцам и ополченцам суждено было тут расстаться с жизнью. К вечеру, однако, натиск ослаб, и так как горожане уведомили осаждающих, что если те еще раз поднимут руку на город, то их повелитель и герцог тотчас же будет убит, натиск уже не возобновлялся.

Было заявлено, что между Фландрией-Артуа и Арелатом-Бургундией идут переговоры о клятвенном обещании не мстить за понесенное оскорбление и об окончании любовной войны и что покамест бургундцам лучше вести себя тихо. Это известие полностью подтвердилось, ибо Роже Козлиная Борода был поставлен пред выбором: либо стать на голову короче, либо вывести войска из страны и захваченных городов, навсегда удалиться в свои пределы и сверх того в течение десяти лет выплачивать изрядную денежную пеню, чтобы возместить урон, нанесенный Фландрии его любовным упрямством. Он дал на это гордый ответ, хотя и после внутренней борьбы. Много лет, заявил герцог, он по-рыцарски добивался благосклонности дамы и употребил все силы, чтобы завладеть ее сердцем. Но если она так строптиво отвергает его предложение, серьезность коего

он всячески доказывал, и вдобавок еще посылает против него какого-то зеленого мальчишку, которого, кстати сказать, он играючи победил, но который затем, вопреки всем правилам, затащил его в эту ловушку, то он, оскорбленный герцог, берет назад свое предложение и отказывается от ее руки, не оставляя никакой надежды, что когда-либо будет ее помогать. Герцог готов дать необходимую клятву и вывести войска из страны, и он достаточно богат, чтобы без заметного для себя ущерба искупить деньгами свое сватовство. Что же касается дамы, присовокупил он насмешливо, то пусть она взойдет на брачное ложе не с ним, благородным витязем, а с зеленым мальчишкой, которого она послала против него, дабы тот осквернил священный обычай единоборства гнусной уловкой.

Он не знал, сколь чудовищен этот совет и чем искушала небо или, лучше сказать, преисподнюю такая насмешка. Если б он это знал, он, быть может, и охладил бы свое сердце. Я лично думаю, что, как христианин, он даже убоялся бы давать подобные советы хотя бы только насмешки ради. Но на прикрасы, которыми он пытался примирить себя со своим поражением, не стоило обращать внимания. Важно было его поражение; и на соборной площади, в торжественной церемонии, под одобрительные возгласы народа, кричавшего: «Да, да, быть по сему», и с благословения духовенства, бургундские старейшины, приглашенные в город, клятвенно подтвердили мирный договор – в присутствии герцогини, а равно и в присутствии Григорса Освободителя, который, еще с повязкой на шее и с пластырем на руке, тогда вторично увидел ту женщину, чья прелестная зрелость и доброта оставили в его сердце неумирающий отклик. И она тоже вторично его увидела и порадовалась его славе, ибо нужно сказать, что и его юный образ все это время сладко ее преследовал, более того, что при виде его ран и его бледности ею овладела нежная озабоченность, какой она дотоле никогда еще не испытывала, и одновременно волнующая гордость – гордость тем, что он так стойко ее защищал. О да, она почти не следила за церемонией, ибо знала, что потом юношу приведут к ней наверх, в замок, чтобы она могла его поблагодарить, и этому, признаюсь, она радовалась.

Да, признаюсь: она стояла в полукруге обступивших ее фрейлин и глядела, как он, прекрасной походкой, стройными, обтянутыми мягкой тканью ногами, шагает к ней через огромный, увешанный коврами, с балками у потолка и гербами на пилястрах, парадный зал; и этой прекрасной его походкой она, признаюсь, тоже гордилась. Боже правый! Когда он так подошел к ней, он был похож на нее, ибо был похож на Вилигиса, своего отца, и, стало быть, как же он мог не походить на нее? Но она воспринимала это сходство совсем не так, как мы, для нее оно было

только чем-то приятным и привлекательным, и если она думала о каком-то сходстве, то лишь применительно к усопшему, а не к себе самой. Разве не мог молодой человек напомнить ей брата-возлюбленного и этим тронуть ее сердце, без того чтобы непременно вызвать у нее далеко идущие подозрения? Но то, что она гордилась им, и даже его походкой, это, по моему, все-таки должно было заставить ее призадуматься.

Он стал на колени, и она молвила:

– Рыцарь, я велела вам подняться, когда вы упали передо мной на колени в святилище, потому что там подобало воздавать почести одной лишь пречистой. Сегодня здесь все почести причитаются вам, и поэтому я снова говорю – встаньте! Не будь я женщиной и не будь вы так молоды – не будь столь молода кровь, которую вы за нас пролили, – мне, право, пристало бы упасть на колени пред вами, ибо вы совершили чудо ради страны герцога Гримальда и его дочери. Где та рука, что намертво и не дрогнув сжимала узду и режущий меч, покамест злодеи не был схвачен и связан? Дайте ее мне, чтобы ее поблагодарили мои губы.

И она взяла его правую руку, еще не зажившую, которую он прятал за поясом, и приложила ее к своим губам.

Это было уже совсем неуместно. Статс-дамы сочли сие чрезмерным, и тем резче мое осуждение. Ибо почему захотелось ей поцеловать ему руку? Потому ли, что он спас ее своею рукою, или же потому, что напомнил ей Вилигиса, чья рука греховно ее ласкала? Я бы сказал, что Сибилла не вполне проверила свои чувства и недостаточно четко отличила благодарность от нежности. Для первой у нее было справедливое основание – настолько справедливое, что она нашла излишним проверять, не стала ли благодарность только предлогом для нежности. Она была благочестивой правительницей и не давала себе поблажек в ночных бдениях, однако духовная ее прозорливость оставляла желать лучшего. Спору нет, памятуя о мученических ранах Христа, поцеловать увечную руку похвально; но бдительно распознать, почему ты так поступил – из смирения ли и любви к болящим, или же просто для собственного удовольствия – это как раз и есть христианская душевная тонкость, а ее-то Сибилле и не хватило.

Григорс, дотоле бледный от ран, залился румянцем.

– Государыня, что вы делаете! Это прикосновение будет гореть на моей руке и побуждать ее к благородным деяниям, клянусь вам, до конца моей жизни! Но чем заслужил я такую милость? Тело наше сотворено из греха. Оно только для того и годится, чтобы жертвовать им ради угнетенной невинности!

Она потупила глаза, глаза в прекрасных ресницах, и не подняла их к нему, когда вполголоса, произнося слова только краешком губ, сказала:

– Все мы дети греха. Но мне часто кажется, что поистине существует противоречие между греховностью и благородством, между убожеством тела и его гордостью. Если оно подло, то как оно может свободно и смело глядеть, как отваживается присвоить себе такую царственную походку, что даже тех, кто только на него смотрит, охватывает гордость? Дух знает о нашем ничтожестве, но, нимало сим знанием не смущаясь, природа себя уважает. Вы говорили, как подобает христианскому рыцарю. Но даже в таком определении есть, по-моему, какое-то внутреннее противоречие. Откуда, при всем смирении христианина, берется мужество, благородство и заносчивость рыцаря?

– Государыня, источник нашего мужества и смелых подвигов, которым мы себя посвящаем и в которые без остатка вкладываем все свои силы, – это сознание нашей вины, это горячее желание оправдать нашу жизнь и хоть сколько-нибудь очиститься перед богом от скверны греха.

– Стало быть, вы сражались во имя бога и вашего оправдания?

– Государыня, я сражался за вас и за вашу честь. Вы не правы, если отделяете одно от другого.

– Вы сражались чудесно. Будьте откровенны и признайтесь – мастерство ли герцога причиной тому, что вы уронили свой меч?

– Не только оно. Буду откровенен. Это должно было случиться благодаря его мастерству, чтобы дать мне возможность осуществить задуманное.

– В своей заносчивости вы, наверно, хотели показать, как выигрывают шахматную партию, пожертвовав королевой?

– Нет, государыня, я полагал, что пленник представляет для вас большую ценность, чем труп.

– Так молоды и уже так политичны! Вы, наверно, не испытывали к нему никакой ненависти?

– Я ненавидел его всей душой. Но руководила мною вовсе не ненависть. Не знаю, смог ли бы я убить этого злодея. Разве лишь в какое-нибудь напряженнейшее мгновенье, вроде того, когда я схватил меч и узду. Но на бой я пошел не из-за своей ненависти, а из-за вас.

– По-моему, вы не правы, если отделяете одно от другого. Человек, которого вы пощадили, уготавливал мне позор и неволю.

– Обладать вами, госпожа, – такова была цель этого человека. Он боролся из-за вас и потому вышел на поединок со мною, вашим вассалом, который и в поединке не смел забывать, что борется он только за вас.

– На сей раз вы мудро во всем разбираетесь и справедливо признаете за своим противником право на высшие цели. Сражаясь столь же рассудительно, сколь и храбро, вы сделали своим пленником дракона, сражавшегося из-за меня. Вас благодарит воспрянувшая духом страна, которой вы даровали новую жизнь, и целует вашу непоколебимо твердую руку. Я думаю, что ваша рука, как только она вполне заживет, снова захочет где-нибудь утвердиться. Насколько я могу судить, вы смотрите на это прекрасное приключение как на одно из многих. Наверно, вы отправитесь на новые рыцарские подвиги?

– Простит ли меня ваша благосклонность, государыня, если я скажу, что мне кажется, будто это место и есть predetermined цель моих странствий? У меня такое чувство, будто я должен здесь остаться и служить вам всю свою жизнь.

– Могу ли я вам, рыцарь, в чем-либо отказать? Я приятно тронута вашим желанием. Конечно, останьтесь! И не живите более в мэрии. Ваше место – при моем дворе. Назначаю вас своим сенешалом, уверенная, что никто не осудит меня за то, что я, несмотря на вашу молодость, возложила на вас эту должность. Ваша заслуга придает вес вашей молодости и изничтожает какие бы то ни было возражения. Кем бы вас ни назначили, ваша заслуга это оправдывает. Не становитесь на колени, я этого не хочу! Теперь удалитесь! Я увижу вас снова среди своих приближенных.

И она прошла мимо своих дам, которые за нею последовали.

Этот разговор нужно представить себе очень быстрым, такова была его особенность. Он велся всего несколько минут, без пауз и размышлений. Он протекал при свидетелях и все же походил на торопливую и тайную сделку, при заключении которой глаза чаще избегали, чем искали встречи с глазами, и не было никаких задержек ни между репликами, ни внутри таковых: слова сыпались быстро, точно и тихо, покамест не было сказано: «Удалитесь. Я увижу вас снова».

Молитва Сибиллы

Страна воспрянула духом, цепкая хватка Григорса даровала ей новую жизнь. В краях, именуемых Рулер и Тору, ближе к морю, на мирных нивах опять зеленел прибыльный лен, и опять, в мужичьей радости, плясали крестьяне в трактирах. Новые стада паслись на высотах тучнопашенной Артуа, вынашивая руно для отменных сукон. Свободны были города и замки, оправившиеся от разрухи, очищенные от скверны нашествия, и Сибилла, Гримальдова дочь, вновь держала двор в Бельрайпейре, где провела свое детство и грешную юность. Туда, откуда некогда отправился в крестовый поход ее милый брат и откуда ей самой, с ее греховной ношей, пришлось уехать, чтобы укрыться в приморском замке господина Эйзенгрейна, – туда ее теперь так властно потянуло, ибо всех нас природа наделила желаньем вернуться в минувшее и его повторить, дабы оно, некогда бывши злосчастливым, стало счастливым.

Григорс Освободитель был ее сенешалом. Его назначение не вызвало ропота, и никто не был недоволен тем, что он, равный по званию господину Фейрефицу, стольнику, провожал ее к трапезам, ибо жизнь герцогини, казалось, потекла оживленнее, не ограничиваясь суровым кругом бдени и молитв, не сторонясь так строго и робко, как прежде, увеселений двора, пения, игры на лютне или непринужденной беседы в зале и вертограде. Причиной такой перемены было, конечно, счастливое окончанье любовной войны и облегчение души после стольких страданий. Но, независимо от ее причин, эта перемена внушила стране и двору надежды, которые вследствие суровой замкнутости государыни давно уже не могли заявить о себе и стать предметом каких-либо обсуждений. Лучшие и мудрейшие люди государства могли наконец собраться и основательно обсудить то, чего они желали и на что вознадеялись: каждому было дано слово, и каждый настойчиво повторял сказанное предыдущим.

Так совещались они и решали в Аррасе, в высоком зале, – бургграфы, родовые дворяне и старейшины городов. Понеже, постановили они, страна после стольких мук наконец-то справилась со своею бедою и ныне мирно процветает, как прежде, люди заботливые тем паче озабочены горьким сомненьем: ведь не исключено, что все начнется сначала и что какой-нибудь наглый и жадный владыка снова захватит и осквернит дорогую им землю. Женщина, даже достойнейшая, не в силах оградить от преступных и дерзких посягательств столь обширное государство, и появься у него

наконец-то герцог и господин, да, появившись у государыни государь, чье присутствие уже предотвратило бы назревание по крайней мере любовной войны и который, насупившись, схватился бы за меч при малейшей угрозе миру, – о как бы тогда все изменилось! Разумеется, они знают и почтительно принимают в соображение, что государыня в угоду всевышнему поклялась никогда не выходить замуж. Однако при всем почтении к ее обету они, цвет страны, единодушно считают, что тут она не права и что воля всевышнего истолкована ею превратно. Она дурно распорядилась бы своей жизнью, если бы бросила такую богатую страну на произвол судьбы без наследников, и поступила бы справедливее, справедливее перед богом и перед миром, если бы избрала себе супруга и даровала бы долгожданного наследника государству. Законный брак и вообще-то есть наидостойнейшая жизнь, данная людям от бога, а уж при ее высоком положении и подавно. Сообщить это герцогине как волю и горячую просьбу всего народа и цвета страны и ходатайствовать об удовлетворении петиции было решено единогласно, без воздержавшихся, и еще присовокуплено, что государыне предоставляется полная, не связанная никакими условиями свобода в выборе супруга и герцога.

Таково было их решение, и, взвешивая его, особенно эту последнюю оговорку, дающую повод подумать, будто княгине положено не ждать предложения руки, а самочинно предлагать руку и, вопреки женскому целомудрию, указывать на того, кто ей приглянулся, я не могу не заподозрить, что мысль старейшин действовала в определенном направлении, что они хотели облегчить своей герцогине согласие и что от Сибиллы это вовсе не ускользнуло. По обычаю государства ее заранее ознакомили с содержанием того, о чем собирались доложить ей во всеуслышанье, дабы она могла отклонить эту петицию. Однако, пребывая в вышеупомянутом оживлении, она согласилась ее принять, хотя, разумеется, не сообщила, как на нее ответит. Но какую надежду должно было оживить уже одно это согласие!

Перед тронем герцогини стояли старейшины, и один из них прочитал прошение, почти дословно мной приведенное. Затем он опустил пергамент и потупил взор. Все потупили взор, в том числе и Сибилла, и мое тонкое ухо слышит, как билось в тишине ее сердце, – да, по-моему, и старейшины это слышали, они чуть подняли глаза, немного скосив их, и прислушивались к учащенному его стуку. Затем раздался голос, прелестно-зрелый в привычном своем полнозвучье. Она вполне оценила, сказала она, разумность и важность их ходатайства и тем более ту верноподданническую заботу о благополучии страны и о судьбе ее рода,

которой это ходатайство вызвано. Их совет представляется ей настолько резонным и убедительным, что она считает его достойным размышления. Однако он слишком противоречит ее образу жизни и ее намерению посвятить себя целомудренному служению богу, и к тому же ей слишком трудно найти в христианском мире действительно равного себе по происхождению супруга, чтобы тотчас же дать им определенный ответ. Она вынуждена испросить у старейшин срок на размышление – она испросила бы семь недель, не будь это ходатайство столь настоятельно. Но она удовлетворится и семью днями. Пусть на восьмой день благороднейшие и достопочтеннейшие господа снова явятся к ней, чтобы выслушать ее решение, считая одинаково вероятным ее «нет» и ее «да». Ибо, соглашаясь поразмыслить, она и так уже выказывает большую уступчивость.

На том просители и покинули свою госпожу. А у нее после их ухода все еще колотилось сердце, трепетно и блаженно-испуганно. Она улыбнулась, испугалась своей улыбки, сурово подавила ее, на глазах у нее показались слезы, и, так как одна слезинка потекла по щеке, Сибилле пришлось опять улыбнуться. В такое смятение повергло ее это ходатайство. Она поспешила в свою часовню при замке, где ее никто не увидел бы и где она могла излить свою душу в молитве, – не к мужским ипостасям божества, но к матери, к великой царице небесной, устремились все ее упования, ибо с самим богом она была не в ладу, сперва из-за совершенного ею греха, а затем из упрямства.

Перед скамеечкой, где она стояла на коленях, висела прекрасная, отличного письма, икона, изображавшая богородицу. Пречистая дева с кротким смиреньем принимала из уст крылатого вестника невероятную весть – она сидела в бревенчатом женском покое, с лучезарным венцом над гладко причесанной головкой, держа в приподнятых ручках книгу, которую она читала в своей невинности и от которой почти нехотя отвернулась, словно предпочла бы возобновить тихое свое занятие, чем слушать кудрявого ангела в голубой мантии поверх белого, с буфами, одеяния, каковой согбенно застыл у двери, указуя вверх перстом левой руки и протягивая правой свернутый в трубку листок – грамоту, где черным по белому было написано то, о чем вещал деве его маленький алый рот. А пречистая, опустив вежды и не глядя ни на него, ни на книгу, в святой стыдливости потупила взор, как будто хотела сказать: «Я? Как же так? Не может этого быть! Пусть у тебя и крылья, и грамота, и ты появился, не отворив двери, но я сидела здесь за книгой без всяких честолюбивых мыслей и никак не ждала подобного посещения».

Взирая со своей скамеечки на это милое сердцу изображение, Сибилла

молилась:

– Мария, ласковая царица, помоги мне, святая дева, сладостная супруга господня, ниспошли помощь и совет грешнице, принадлежащей к тому же, что и ты, нежному полу и повергнутой в великое смятение требованием, предъявленным к ее женственности. Тебя, заступница всеблагая, она о милости молит, рыдая, в горькой беспомощности своей. Сжался над ней! Святого духа сосуд святой, ты удостоена чести такой – в собственном лоне, ни мало ни много, выносить бога, бога, который – о дивное диво! – сам же тебя избрал прозорливо и повелел тебе матерью стать, – это не так-то просто понять.

Sancta Maria, gratia plena^[127], славит и хвалит тебя неизменно небесный хор, и небесный двор, и херувим, и серафим, и все ангелы бога, что от века витают пред ним. Пророки, апостолы и святые рады Марии, дивно родившей сына господня, который сам же господь сегодня, который – о чудо! – вошел в твое чрево, пречистая дева!

Кроткая Мария, милостивая Мария, милосерднейшая Мария, benedictus fructus ventris tui! Stella maris^[128] тебя называют везде по доброй звезде, приводящей усталое судно к причалу, и поэтому ты привести пожелала к нашей стране, прямо ко мне, милого юношу, чтобы о нем думала я ночью и днем, ибо, нежданно придя из-за моря, он избавил меня от горя: рукою, твердою в бою, он спас страну мою. Сказать не хватит сил, насколько мне он мил. Хотела бы я власть к власам его припасть, а коль возалчет сам – к его губам.

Пречистая Мария, благословенная в женах, единственная на свете мать, сподобившаяся от бога зачать, я, горькая, жду твоего решения! Пойми, меня радует их предложенье, казня мое сердце заботой великой: хочу, чтобы юноша был мне владыкой! Владыкой владычицы – честь по заслугам! Но горе – меж мною и доблестным другом встал грех, что я, увы, совершила с тем, кого меня небо лишило. Поклявшись богу, что я отрекаюсь от женской стати, я ныне каюсь, ныне скорблю я, ибо люблю я этого юношу от души. Молю тебя, sancta Maria^[129], скажи: можно ль, суждено ли мне в земной юдоли стать женою вновь и познать любовь, чтоб мой грех старинный разделит невинный?

О том в неведение пекусь, никак ответить не решусь. Молю, сомненья разреши испуганной души, сниши у господя мне милость, хоть я и провинилась! Ты еси чадо божие, с прочими его чадами схожее, но все-таки ты богородица, отчего всевышнему и приходится исполнять все, что ты скажешь или укажешь. С лукавством женским добавить могу, что ты предо

мною отчасти в долгу и должна за меня замолвить слово: ведь господь ради грешного рода людского в чистое чрево твое вошел и богоматерь в тебе нашел. Если бы людям грешить не случалось, тогда бы, конечно, не состоялось то, чем в счастливой своей судьбе ты вечную славу стяжала себе.

Прости ты меня, что, молясь и горюя, шучу и глупости говорю я! Мне больно видеть, что мальчик мой совсем еще молодой. А мне-то, пречистая, лет немало, я и любила, я и страдала, хоть я еще недурна собой и, как-никак, а правлю страной. Возможно, моя благосклонность и лестна. Ведь как я грешила, ему неизвестно. Но вот зажгу ли ему я кровь, внушу ли чувственную любовь? Откуда такое мое спасенье? Ведь знаю, сколь велико тяготенье плоти мужской, молодой и незрелой, к пышным богатствам женского тела. Хочу, чтоб манило его и влекло этой груди неусталой тепло, ибо постели моей достоин лишь он; благороднейший рыцарь и воин! Хочу ласкать его без печали, чтоб жалобно совушки не кричали, о богородица, я хочу прижаться губами к его плечу, не слыша, как, взор в потолок вперив, надрывно воеет пес Ханегиф. За грешницу перед царем небесным и перед юношей добротным тебя молю я похлопотать: ты богу невеста, дитя и мать.

Вот такая молитва возносилась из уст Сибиллы к этой иконе. Под конец, как я полагаю, молящейся показалось, будто благочестиво потупленный взгляд пречистой осветился едва заметной улыбкой соизволения. Ибо когда по прошествии семи дней старейшины снова предстали перед ее тронem, чтобы получить ответ на свое ходатайство, она сказала: она разделяет желанье и волю страны и признает, что последняя поистине нуждается в защитнике, правителе и герцоге. Посему она покорно решила отказаться от целомудренного служения богу и стать слугою супруга. Таков ее ответ. Остальное решится само собой и не зависит ни от ее усмотрения, ни от чьего-либо выбора. Ибо если стране необходим герцог, то речь может идти только о том, кто своей несокрушимо цепкой рукой освободил ее от дракона и сражался на поединке за честь герцогини. Это – господин Григорс, теперешний ее сенешал, чужестранный рыцарь, прибывший сюда по милости бога и богородицы. Ему-то она и протягивает руку, дабы он, поелику это ему угодно, с помощью ее руки поднялся к ней по ступеням трона и сел рядом с нею как ее господин и августейший супруг, сообразно пламенному желанью освобожденной страны.

Так заявила она просителям при всем своем дворе, и, взявши ее прекрасную руку, Григорс поднялся к ней под балдахин, и, бок-о-бок с нею,

повернул к залу, повернул ко всему христианскому миру свое молодое и строгое лицо. Лучше бы он этого не делал, а остался на кроткое покаяние в монастыре, у своего приемного отца, у моего друга аббата. Ибо ему было суждено падение более глубокое, чем с высоты нескольких покрытых ковром ступенек. Но вот уже перед ним обнажились мечи, преклонились колени, и своды задрожали от клича:

– Да здравствует Грегор, победитель в любовной войне, защитник страны, наш герцог и повелитель!

Свадьба

Дух повествования – это общительный дух. Он вводит читателей и слушателей куда угодно, даже в одиночество своих сотканных из слов героев и в их молитвы. Но он умеет также молчать и застенчиво опускаться то, что, по его мнению, вовсе не стоит воспроизводить, а лучше спрятать в тени безмолвия, хотя бы события и не оставляли никакого сомнения в наличии промежуточных слов, сцен и картин. Государственные акты вроде вышеописанного, закончившегося присягой на верность герцогу Грегору – не из тех церемоний, которые могут протекать иначе, чем это имеет место, то есть и так и этак: они, как учит нас житейская мудрость, не совершаются без подготовки и на авось, в таких случаях все оговорено и обеспечено наперед, и Сибилла не стала бы публично предлагать своему спасителю корону и руку, если бы рисковала встретить с его стороны гордый отказ. Надо думать, что между ее молитвой богородице и ее волеизъявлением состоялся тайный диалог, который юность и зрелость вели друг с другом в коротких словах и под конец (помилуй, господи!) уже не только словесно, и в котором грамматический вопрос о «за» или «из-за» снова сыграл свою роль, причем дело, по-видимому, не обошлось без горячего признания, говорившего в пользу «из-за».

Кое-кто, наверно, посетует на меня за то, что я окутываю эту сцену мраком и не воспроизвожу ее здесь, ибо она, несомненно, была бы полна тревожной прелести и щемящей сердце занимательности. Но, во-первых, описания любовных сцен не приличествуют моему сану и облачению, во-вторых же, мне куда приятнее видеть глаза Григорса, чье лицо отличалось юношеской строгостью, зорко следящими за каждым движением противника, чем помутневшими в сладостно расслабляющей истоме любви, а в-третьих – все их речи, вздохи, признанья и ласки зиждились на таком ужасном, подстроенном самим дьяволом непонимании и смешении причин, по которым их тянуло друг к другу, что мне не хочется при этом присутствовать, да и вы сами способны разве лишь смутно, сквозь слезы стыда и страха, следить за тем, как она сжимала его голову в своих ладонях, а он, почти касаясь губами ее рта, прошептал ее имя в первом признании, как она влила в этот шепот звук его имени и в восторге твердила: «Значит, ты меня любишь, любимый мой чужеземец, милый, прекрасный, близкий мне с первого взгляда!» – и уста их сомкнулись, чтобы надолго умолкнуть в блаженном безумье.

Итак, все это я опускаю и обхожу; не мне вдаваться в такие вещи. То была их помолвка, и – ура! – свадьба не заставила себя ждать. Вот радость-то, вот веселье: трубачи разнесли по всей стране утешительную весть о том, что Фландрия-Артуа вновь обретет господина и герцога: разгул, пляски на улицах, потешные огни, обжорство, – всего этого было сколько угодно и в городах и в деревнях, и рекою лилось вино. А в замке Бельрапейре со всею пышностью справили свадьбу: более пятисот гостей из далеких и ближних мест (иных пришлось разместить в шатрах у подножья высокого замка) весело пировали за пятьюдесятью столами, на которые оруженосцы и пажи то и дело ставили блюда с говядиной, с оленьим и жирным кабаньим мясом, а также с колбасами, гусями, пулярками, щуками, карпами, форелями, налимами и раками. Отяжелев от сладких вин, гости во главе с факельщиками провели молодых через все залы. И Григорс пришел к Сибилле, и трескучие головни осветили их опочивальню, и они стали мужем и женой.

А почему бы и нет? – спрашиваю я сокрушенно. Он был мужчиной, она была женщиной, и, следовательно, они могли стать мужем и женой, ведь природе до всего прочего нету дела. Мой дух не хочет примириться с природой, он ей противится. Она от дьявола, ибо ее безразличие не знает предела. Мне хочется призвать ее к ответу и спросить у нее, как это она отваживается, как это ей удается добиться, чтобы порядочный юноша вел себя при таких обстоятельствах как ни в чем не бывало, чтобы он, как дурак, радовался грудям, его вскормившим, и нашел в себе предостаточно сил вторгнуться в лоно, его родившее. На подобный упрек природа, которую многие называют матерью и богиней, могла бы, наверное, возразить, что силы были даны юноше неведеньем, а не ею. Но тут госпожа богиня лжет, ибо под защитой и под покровом неведенья действует все-таки не кто иной, как она, и будь у нее хоть крупичка порядочности, как же бы она не взбунтовалась против такого неведенья и не помешала ему, вместо того чтобы стать его сообщницей и наделить злосчастного юношу должной силой? Она поступает так из безразличия, настолько беспредельного, что оно простирается не на одно его неведенье, но и на нее самое. Да, природа равнодушна к себе самой, ибо в противном случае как же бы она могла допустить, чтобы ее собственное устремление в даль времен до того извратилось и чтобы рожденный от женщины, совокупляясь и плодясь, шел во времени не вперед, а вспять, в материнское чрево, и зачинал потомков, у которых лицо, так сказать, на затылке?

Позор природе и ее безразличию! Впрочем, нужно признать, что не будь она столь безразлична и воспротивься неведению, Григорс оказался

бы в весьма щекотливом, отнюдь не подобающем рыцарю положении, чего я опять-таки не могу ему пожелать. Не знаю и знать не хочу, почему Сибилла в тихой своей молитве так пеклась о его чувственности. Во всяком случае, тут он был на высоте и наслаждался зрелостью своей подруги с такою же страстью, с какою та упивалась его молодостью. Словом, они были очень счастливы, – здесь невозможны никакие иные выраженья и определенья, – счастливы вполне, всей душой и всем телом, и в ту ночь и много других ночей и дней, блаженная герцогская чета, которую тоже можно было бы назвать «жойделакур», радость двора, как некогда прелестных детей Гримальда и Бадугенны; ибо их счастьем, скажу честно, было озарено все, что их окружало, на всех лицах сиял его улыбочивый отсвет. Оно, как солнце, согревало своими лучами страну, и даже о том, что обычно, в соответствии с верным порядком и направлением, называют потомством и прибылью в семье, даже об этом позаботилась природа, совершенно безразличная к своим действиям: госпожа Сибилла незамедлительно понесла, утроба ее, пустовавшая столько же лет, сколько было ее супругу, тяжелела и тяжелела, и ровно через девять месяцев после того, как огни факелов осветили опочивальню новобрачных, герцогиня, в умеренных и вполне естественных родовых муках, разрешилась девочкой, которую назвали Геррадой и которая удалась не в родителей: не отличаясь смугловатой латинской бледностью, она походила на свою бабушку с материнской стороны, на благочестивую госпожу Бадугенну; как та бела и румяна, она была по-своему миловидна. Что у нее «лицо на затылке», никто не находил.

Конечно, все радовались бы еще больше, если бы стране был тотчас же подарен наследник мужеска пола, защитник и покровитель, надежда на будущее. Но зато ведь сам отец был еще так обнадеживающе молод, что, можно сказать, сам заменял преемника, в котором покамест судьба отказала стране, и если превосходившая его годами Сибилла показала себя полноценной, жизнетворной женой, то в лице ее супруга у страны был герцог, о каком мог только мечтать весь христианский мир. Он часто чинил суд, когда требовалось разобраться в каком-нибудь спорном деле или в междоусобной распре, и так как он в монастыре изучал *de legibus*, до чего не снисходил еще ни один государь, то не было на свете лучшего судии, чем он, пламенный поборник права и к тому же добросердый государь, стремящийся мудро удовлетворить всех и каждого. Десницы его, победившей бесноватого соискателя, боялись повсюду; никто не шел войной на страну, которая находилась под защитой обладавшего столь твердой и цепкой рукой государя, а самочинно нарушить мир, поневоле

хранимый соседями, герцогу Григорсу и в голову не приходило. Он мог бы, конечно, кичась присущей ему способностью непомерно сосредоточивать свои силы в бою, склониться к захватничеству и подчинить себе больше земель, нежели ему принадлежало. Однако, хвала создателю, он не стал на этот путь и, блюдя меру, не желал иметь больше того, что было его достоянием и собственностью.

Так миновало три года. На третий, в знак счастья, которым она наслаждалась с юным своим супругом, Сибилла опять понесла.

Иешута

Думается, я уже достаточно, хоть и с немым отчаяньем, прославил благоденствие и блаженство этой четы. Пора сказать всю правду и несколько ограничить славословия. Тень легла на их счастье, тень и с его и с ее стороны, не видимая миру, замеченная и осознанная лишь ими самими, каждым в отдельности, ибо каждый думал, что тень падает только от него. Они разделяли тайну вины и греха, которую каждый считал своею тайной и которую они, при всей их сладостной близости, друг от друга скрывали. Это-то и было омрачающей тенью.

Сибилла в немом страхе таила от любимого, что она некогда предавалась порочным утехам с прекрасным братом и родила усопшему бесприютное дитя. В каждом любовном объятье она отдавала ему, чистому, греховное тело, испытывая при этом блаженство и все-таки казнясь стыдом и муками совести. Блаженством была надежда греха целительно омыться в чистоте, его тоска по очищению чистотой. Мукою и стыдом была благочестивая боязнь бедного греха замарать чистоту, осквернить ее слиянием с нею. Сибилла не раз плакала в одиночестве от этого стыда перед чистотой, которую она втянула в свой грех, но тщательно хоронила свои слезы от людей, и особенно от возлюбленного, единственного, кого она могла любить после смерти ее прекрасного брата. И он не замечал ни следов ее слез, ни скорби, придававшей ее ласкам только еще большую страстность.

У него была своя собственная забота, та же, что у нее, и при всем его счастье в державных делах и в супружестве он оставался «Тристаном, живущим в заботе». Разве он пустился в странствия не для того, чтобы найти своих многогрешных родителей, пасть к их ногам и простить им свое бытие, дабы и господь простил всех троих? Вместо этого он был герцогом в первой попавшейся стране, куда его занесло туманное море; впрочем, он завоевал женщину сладостной зрелости, необычайно близкую, как он сразу почувствовал, его природе, Сибиллу, точное подобие царицы небесной, и при этом созданную для земной радости, так что целомудренно-детская почтительность и мужской пыл странно соединялись в ее объятьях. В ее объятьях, у нежной ее груди, вкушал он совершенное блаженство, укромную отрешенность грудного младенца и в то же время мужское могучее вождение.

Стало быть, совершенство может вырасти из чего-то страшного и

ужасного, как я заключаю со свойственной иноку рассудительностью. Право же, в супружеские радости Григорса я, монах, вникаю лишь из духовной отваги и сокрушаясь о скорби, скорби, что вселилась и в него и в нее, как червь в розу. Ибо, увы, он ведь обманывал ее, чистую и высокую, возвысившую его до себя, и скрывал от нее, что тот, кто ее завоевал и кому она целиком отдалась, – в сущности, благообразный выродок. Он был обманщиком, утаивая от нее, что он – найденыш, выброшенный волнами и воспитанный из христианского сострадания, сын греха, чье мнимо красивое тело ей вовсе не следовало бы ласкать, ибо на самом деле оно состояло сплошь из греха. Правда, он жертвовал им, этим греховным телом, в бою с драконом; но ведь он же знал наперед, что победит благодаря своему дару чрезвычайной собранности, и завоевал в поединке женщину, которая теперь рождала ему маленьких Геррад, не подозревая, что это – отпрыски греха с отцовской стороны, семена наследственного проклятья, внуки порока. Как осмелился он плодить своим телом маленьких Геррад и протаскивать их в княжеский дом, молодым хозяином которого он теперь стал, – бедных, незаконных детей чистоты и скверны? Этим он был озабочен до слез.

Он скрывал свои слезы от всех, особенно от жены, считавшей, что он счастливее ее, скрывал свое горе так же, как и дощечку, которую всегда держал при себе и не уставал перечитывать: недаром я уже заранее сказал, что ни одна дощечка не читалась так часто, как эта. Хранилась она в тайнике, в покое, где он любил уединяться, высоко в стене под деревянной обшивкой: став на цыпочки, он мог как раз дотянуться рукой до почти незаметной дверцы и, приоткрыв ее, извлечь из ниши печальное свое сокровище, приданое из памятного бочонка, нарядную вещицу, на которой были начертаны неприглядные его обстоятельства. Он садился или опускал колени на скамеечку, положив дощечку на столец и видел перед собой свою жизнь; он снова и снова читал о своем хоть и высоком, но мерзостном рожденье, о том, что его отец приходится ему дядей, а мать, стало быть, теткой, бил себя в грудь и оплакивал жалкое происхождение плоти своей. Он молился за своих родителей, которых представлял себе трогательно и неповторимо прекрасными, коль скоро ежи впали друг с другом в подобный грех, и которых он не нашел, употребив все свои способности на то, чтобы освободить и завоевать эту страну и в придачу к ней – восхитительнейшую женщину, или, вернее, женщину и к ней в придачу страну. Он молился и за себя, сокрушенно поднимая глаза к небесам, молил бога простить ему его жизнь и то, что он, храня свою тайну, делит ложе с чистой и непорочной и разыгрывает из себя герцога – правда, очень

хорошего, как все говорят, но хорошего лишь потому, что ему это было так нужно. Молился он и за маленькую Герраду, которую едва осмеливался целовать, потому что дал ей в наследство свою греховную кровь, и не менее сокрушенно за новое свое дитя в плодоносном лоне Сибиллы.

Почти каждое утро, спозаранку, покинув супругу и только будучи совершенно уверен, что никто не нарушит его одиночество, он предавался чтению и покаянным молитвам в своем покое. Он входил туда твердыми шагами гордого и красивого юноши, каким он и был, а возвращался оттуда с видом грешника, только что вышедшего из бичевальни, и это не осталось незамеченным.

Итак, слушайте! Среди прочей челяди в замке жила одна служанка, Иешута по имени, годная лишь на то, чтобы стелить постели, выметать сор да посыпать дорожки песком, существо быстроглазое, дерзкое на язык и крайне любопытное, вернее, по самой своей природе только и знающее, что копать в таких делах, о которых только и можешь сказать: «Ну и ну!» или: «Как же это так?» или: «Если тут хорошенько тайком поразведать, то, пожалуй, на свет божий выплывут такие занятные историйки, что просто душе потеха». В поисках подобных новостей она так и рыскала горящими глазками, и ее неугомонный язычок так и сновал без устали между ее губами. Иногда ей случалось поболтать с госпожой, взбивая супружескую постель или разводя огонь, и Иешута плела герцогине какую-нибудь глупейшую и грубейшую историю из быта низов, вознаграждавшуюся смехом царственной слушательницы, или же доносила и ябедничала, подкараулив крамолу, причем не в расчете на особую благодарность хозяйки, а просто забавы ради и, пожалуй, еще из желания посвятить благородное неведение во всякие мерзости и тем самым его немного запачкать: она ликовала в душе, видя, как краснеет, качает головой и хмурится, едва удерживаясь от смеха, Сибилла, ибо коль скоро благородная дама не затыкает ей рта, то, значит, она только разыгрывает отвращенье, а в сущности-то отнюдь не прочь немножко запачкаться.

Жгучее любопытство Иешуты могло бы, пожалуй, найти причину приглядеться к самой госпоже и ее тайной жизни, к следам слез, к печали, в которой она подчас ее заставляла. Но если на это негодница и обращала внимание, то лишь в связи с подобными же открытиями касательно прекрасного хозяина, молодого правителя Григорса: он совсем по-иному возбуждал ее любопытство, ее похотливую жадность до всего занятного и еще не разведанного. Она по-кошачьи ходила вокруг него на почтительном расстоянии, с метелкой в руке, и глядела на него искоса или тарасила глаза исподлобья, причем ее язычок уже не сновал между губами, а оцепенело

застывал в уголке рта. Ей только того и нужно было, чтобы она его видела, а он ее – нет. Ибо она отнюдь не желала и не питала надежды привлечь его взор к себе: она была замараха, скорее безобразна, чем смазлива, ее неприглядность скрашивалась разве что острым любопытством и неудержимой пытливостью, а он прелестный рыцарь, проводящий ночи с красивейшей женщиной. И все же ее сердце согревалось каким-то подобием мечты о любви, когда она украдкой бросала на него взгляд, ибо она догадывалась, что не так уж все благополучно, чисто и ясно в душе этого прекрасного супруга с мужественно-юношеским лицом, что тут есть какая-то позорная и скорбная тайна, приподняв и убрав покровы с которой можно потешить свою любовь к грязным происшествиям.

Зачем столько слов! Иешута узнала об его покаянных молитвах. Сгорая от любопытства, она углядела сначала случайно, а затем уже путем искусной слежки, что он по утрам направляется в свой покой походкою повелителя, а через час выходит оттуда с красными глазами и с видом человека, подвергшего себя бичеванию. И вот, беззвучно подскочив к двери, когда он снова туда ушел, она жадно приникла глазом к щели, которую давно обнаружила в дверной доске и потихоньку чуть-чуть расширила; хоть и мало, а все же кое-что можно было увидеть – например, как он вынул какой-то предмет из стены, и каялся, и бил себя в грудь, читая таинственные письма таинственной грамоты в мнимом уединении.

До чего же сладостно было подсматривать! Она отскочила от двери, опрометью помчалась через залы и коридоры, затем пересилила себя, умерила шаг, чтобы не запыхаться, и вошла в опочивальню августейших супругов, где, заплетая косу и напевая при этом песню, сидела госпожа, не обратившая на служанку ни малейшего внимания. Иешута стала стелить постель и, усердно взбивая подушки, заговорила:

– Ах вы, мои подушечки, шелковые мои *cuissins*, княжеские, мягонькие! Вот я вас взбиваю и расправляю ваши вмятинки, а вы все молчите, хоть у вас и есть о чем рассказать Иешуте: о тайных слезах, которые вы в себя впитали, о вздохах из благородной груди, которые вы заглушаете по ночам, чтоб ничего не узнала любимая...

Затем она скосила глазок на госпожу, посмотреть, слышит ли та. Но та не слышала и продолжала расчесывать и укладывать волосы, не замечая Иешуты. Девке пришлось начать все сначала, она опять запричитала вполголоса:

– Ну, конечно, вам бы только молчать! Ничего-то вы не хотите поведать служанке, господские *cuissins*, расправляющей вас и взбивающей, не обмолвитесь ей о ваших секретах, о горючих слезах, выпитых вами, как

мне сдается, в ночной тишине, о вздохах из глубины души, которые украдкой, когда любимая спала, доверили вам прекрасные юношеские уста, украдкой, с оглядкой...

Тут наконец Сибилла услышала и спросила:

– Что это за вздор мелешь ты, занимаясь делом?

Иешута сделала плечами такое движение, словно она содрогнулась от страха и, запинаясь, ответила:

– Ничего, ничего, милая госпожа! Бог свидетель, я ничего не хотела сказать. Я обращалась к подушечкам, к этим мягоньким княжеским подушечкам, что у меня в руках, а ни в коем случае не к вам, как это я осмелюсь? Я прямо в ужасе оттого, что вы меня услышали, я вся дрожу. Вы случайно подслушали мою болтовню, а я-то думала, что я здесь одна-одинешенька. Никогда не надо подслушивать чужих секретов, от этого себе ничего, кроме горя, не наживешь. Но, конечно, коли бог нарочно так подстраивает и дает нам подслушать чужие секреты, то, видно, так уж ему угодно, чтобы мы нажили себе горе.

– О каком же это горе ты, дура, болтаешь?

– О тайном, госпожа, о скрытом от всего мира, и, право, поделом ему, подлому миру. Но скрывать и от вас? Это уже не годится, и богу это, право же, не угодно!

– Послушай, Иешута, я отлично знаю, что ты болтунья, но теперь мне кажется, что ты немного свихнулась.

– Вполне возможно, милая государыня. Я всего только бедная, слабая девушка, которой и свихнуться недолго, проведавши с божьего изволения о таком горе.

– Чье же горе-то?

– Ах, боже мой, вот вы и спрашиваете меня, благочестивая повелительница, потому что вы ненароком обратили на меня внимание! Чего бы ни отдала жалкая прислужница за то, чтобы вы не обратили на нее внимания! И все же из самого сердца у меня так и вырывается крик: обратите внимание!

– На что?

– На что? Спросили бы лучше на кого! Нет, нет, не спрашивайте!

– На кого же, дуреха?

– Вы и в самом деле спрашиваете: «На кого»? И я должна вам ответ держать! Нет, никогда не скажу, никогда! И все-таки это нужно сказать ради вашего счастья. На милого герцога, на вашего супруга.

– На герцога Грегора? Неужели я как жена недостаточно внимательна к нему, неужели, по-твоему, я недостаточно хорошо читаю в его глазах?

– О госпожа, вы смеетесь над глупой служанкой, и поделом ей! Смейтесь надо мной, надавайте мне оплеух, чтобы щеки мои горели, за то, что я осмелилась так подумать! Ну, конечно же, вы разделяете его тайну, вам известна беда, о которой он, каясь, горюет, когда его никто не видит, вы знаете все и только виду не подаете.

Губы Сибиллы чуть-чуть искривились, а лицо ее побледнело, когда она воскликнула:

– О какой это тайне ты болтаешь, несчастная, о какой беде, и что это я должна знать? Ты, кажется, заговариваешься!

– Увы, нет, дражайшая госпожа. Своими собственными глазами я только сейчас видела его в такой горе, что меня прямо за сердце схватило.

– Возможно ли это? – спросила Сибилла, и странная судорога свела ей щеку. – Какая беда могла приключиться с герцогом, с тех пор как он меня покинул? Всего какой-нибудь час назад он ушел от меня герой-героем!

– То-то оно и есть, сладчайшая повелительница. Уходит к себе героем, а возвращается как грешник, убитый раскаяньем.

– А теперь, Иешута, довольно, замолчи! Уж я-то вижу тебя насквозь. Ты любишь и всегда любила пачкать меня грязным своим языком и уже не раз злила меня, хоть я и смеялась. Никогда не приносишь ты добрых вестей, а все норовишь, как ворониha, накаркать что-нибудь неприятное и страшное. Лучше бы ты молчала, чем рассказывать всякие небылицы, сулящие мне одно только горе. Итак, замолчи, я тебе приказываю.

– Да, благороднейшая госпожа, – молвила Иешута. – Так точно. Я помолчу.

Прошло несколько мгновений. Сибилла укладывала свои волосы, хотя они уже были причесаны, а служанка заканчивала уборку. Затем герцогине сказала:

– Иешута, у тебя какая-то невежливая манера молчать. Я сказала тебе: «Замолчи!» – и ты повиновалась. Но твоя манера выполнять мои приказанья невежлива. Если уж ты начала говорить, так говори до конца! Что же ты увидела, что подслушала?

– Клянусь моей верностью, праведная повелительница, я давно уже знаю, что нашего господина печаль снедает. Помилуйте, госпожа, что же это за горе, если он скрывает его даже от вас, при вашей-то дружбе и близости? Золотая моя, в чем бы тут ни было дело, это беда не из малых. Не раз я уже за ним наблюдала и давно смекнула, что забота его куда как велика и что покамест он никому ее не доверял. Сегодня, по воле неба, я еще подметала полы и вытирала пыль в его комнате, когда он туда вошел, не замечая меня, как не замечают стула или шкапа. Это перст божий,

молвила я себе и, скорчившись, сторбившись, углядела все, что он делал. Он поставил перед собой какую-то вещицу и упал перед ней на колени: казалось, что по ней он читает свое страданье, непрестанно взглядывая на нее, бия себя в грудь, молясь и проливая горькие слезы. Никогда я не видела, чтобы человек так рыдал. Тут я в своем согбенье и убедилась, что сердце его тайно и тяжело страдает. Ибо, сказала я себе, если такой отважный рыцарь так горько плачет, то, видно, причиной тому должна быть великая тоска в его сердце.

– Горе! – дрожащими губами промолвила герцогиня. – Ты говоришь правду? Да, да, кажется, так и есть. О горе, любимый мой господин! Что же может его печалить? Ибо, признаюсь тебе, Иешута, – я этого не знаю! Его страданье мне неизвестно и непонятно. Он молод, здоров, красив и богат, – так чего же ему не хватает? А если и в чем у него нехватка, я все ему отдам без остатка. – Бог мне свидетель!

И она заплакала.

– Я немного старше, чем он, – всхлипывала она, – немного стара для него. Однако он бурно меня любит, у меня есть тысячи тому доказательств, и я вторично ношу в себе его залог. И все же он живет, таясь от меня, и не подпускает меня к своему страданию. Горе, горе мне, бедной женщине! Никогда моя жизнь не была так хороша и никогда не будет так хороша, как стала благодаря его молодости и доблести. Поверь мне, на свете не было лучшего мужа! Но что же это случилось с его молодостью, что же это с нею стряслось, если он должен тайно каяться и рыдать, как ты говоришь? Дай мне совет, ибо у меня нет никого, кто мог бы мне посоветовать, как выведать его страданье и тайну, не опасаясь разрушить наше счастье!

– А что, если бы вы его спросили!

– Нет, нет! – воскликнула Сибилла в ужасе. – Только не спрашивать! Расспросы – предчувствую! – сулят опасность и смерть. Страданье его, насколько я вижу, невыразимо, ибо, если бы его можно было выразить словами, разве он не поделился бы им со мною уже давно? Оно, видно, таково, что с обоюдного ведома нам обоим нельзя о нем знать, и как я ни жажду разделить с ним его горе – он не должен знать, что я его разделяю. Мы обязаны вместе нести этот крест, но каждый в отдельности. Возможно, что моя умудренная знаньем любовь поможет ему и будет ему добрым ангелом в его великом горе!

– Это нетрудно устроить, – отвечала Иешута. – Я заметила тайник, откуда он вынул вещицу, по которой он читает свое горе и пред которой так сокрушается. Она лежала в стене, выше его головы. Туда он и прячет ее после покаянных молитв. Я отлично заметила это место. Если хотите, я

отведу вас туда, когда он ускачет в суд или на охоту, и покажу вам дверцу и нишу, чтобы вы все увидели собственными глазами и, ни о чем не расспрашивая, вывели все как есть без его ведома.

Сибилла задумалась.

– Иешута, девка! – сказала она наконец. – Мне страшно, когда подумаю об этой вещице в стене, – никакими словами не передать, как мне страшно. И все-таки ты права: если я хочу разделить с ним его страдание без его ведома, чтобы, может быть, стать ему добрым ангелом, мне надо увидеть то, перед чем он скорбит и на чем, как сдается, написана вся его скорбь. На пятый день, считая от нынешнего, он назначил охоту с сокольниками в сыром лесу. Когда они ускачут и, наверно, задержатся где-нибудь на постоялом дворе, ты поведешь меня и покажешь мне эту нишу. Ты, верно, думаешь, меня сдает нетерпение? Да, сдает. Но ведь как устроено сердце человеческое! Я ото всей души благодарю господу за то, что до их отъезда осталось еще пять дней.

Прощание

Однако дни и ночи шли своей чередой, и настало утро, когда рыцари на конях, предвкушая радости охоты, выехали вместе с сокольниками из замка, чтобы возле садка в лесу и на окрестных болотах травить чапур и коростелей, куропаток, перепелок и драхв. Впереди, держа на руке, под колпачком, отличного, обученного самою Сибиллою ястреба, скакал герцог Григорс. Он был удивлен тем, что его жена при прощании так испуганно к нему прижималась, упрашивая его отложить охоту или хотя бы поскорее, ах, поскорее вернуться, пока с ним или с ней не случилась беда. «Какая беда, любимая?» – спросил он, улыбнувшись, и обещал ей воротиться не позднее, чем на третий день. Этот срок показался ее любви слишком долгим.

Едва конный поезд спустился в долину, Иешута прокралась к госпоже и сказала:

– С вашего позволения, государыня, опасаться некого, и я вас могу отвести.

– Куда, ворониха?

– К тайничку в стене и к вещице, что в нем хранится.

– Тьфу, неужели ты все еще об этом думаешь и никак не выкинешь из головы этой дряни. Мы не успеем. С часу на час может вернуться герцог.

– О нет, раньше, чем послезавтра, он никак не вернется. Они дважды переночуют на постоялом дворе у лесной опушки. Вы в полной безопасности.

– В безопасности от моего супруга? Как это у тебя хватает дерзости, негодница! Неужели я буду обманывать его с тобой?

– Вы же сказали, что должны обо всем проведать без его ведома, чтобы стать ему добрым ангелом.

– Да, это я говорила, – сдалась Сибилла. – Ну что ж, коли так, шагай впереди – далеко впереди меня, чтобы не похоже было, что я иду за тобою следом.

Так пришли они в *саване*^[130] и личный покой герцога, и Иешута пальцем указала госпоже на тайник.

– Там, – промолвила она, – наверху. Щель, где отворяется дверца в обшивке, почти незаметна. Вам не дотянуться. Прикажете мне встать на стул и вынуть эту штучку?

– Не смей! – прикрикнула на нее Сибилла. – Пододвинь-ка стул! Я

достану сама.

И, поддерживаемая служанкой, она взобралась на стул, отворила дверцу, увидела тайник, извлекла из него вещицу, обернутую в шелковую ткань, которую она развернула и уронила на стул, и перед ней оказалась дощечка слоновой кости, в золотой оправе, украшенная драгоценными камнями, исписанная на манер грамотки ее же рукой.

Лишь слабый взглас вырвался из ее уст – он выражал всего только удивление, умиление, воспоминание о давней боли. Она с грустью глядела на дощечку. Но вдруг холод пронзил ей корни волос и метнулся оттуда вниз по спине. Губы ее, в которых теперь не было ни кровинки, тихо пробормотали: «Как же это так?» «Как же это так?» – повторили они громко, с угрозой, возмущенно-непонимающе. Потом она замолчала, взглянула на дощечку, прочла ее, отвела от нее глаза и застыла в оцепенении.

В голове ее вихрем проносились мысли. «Откуда она у него? Он здесь, и она с ним. Значит, дощечка не лежит на дне морском, а достигла суши. Бочка и челн достигли суши. Ребенок достиг суши! Он жив. Он стал большим и прекрасным, как Григорс. Он дал ему дощечку, из рук в руки. Почему? Наверно, Григорс получил ее не от ребенка, своего друга и однокашника, но от людей, которые подобрали ребенка, нашли его мертвым или убили и разграбили бочку. Ребенок, хотя и достигший суши вместе с дощечкой, мертв, а Григорс жив, такова разница между ними. Это – большая разница, и дощечка у Григорса, а не у ребенка. Но только он кается при виде дощечки и бьет себя в грудь, словно на ней написана его собственная греховная доля, – его, а не его сверстника, моего ребенка. Это страшно сокращает расстояние между обоими, между тем и другим. Вместе с дощечкой здесь оказались и шелка. Они тоже не лежат на дне морском. Я не помню, это было слишком давно, я не могу этого как следует вспомнить, но со всею решительностью я отрицаю, что Григорс на моих глазах носил платье из такого, из точно такого же шелка и до сих пор еще бережет его. Страшно, страшно до жгучего хохота и умопомрачения сокращается расстояние между Григорсом и ребенком. Где мой разум? Ребенка не звали Григорсом – то есть его вообще никак не звали. Может быть, теперь его зовут Григорс? *Может быть, Григорс и есть ребенок?* Может быть, грешное мое дитя – мой супруг? Безумие, до хохота жгучее, оглушающее! И мрак, мрак...»

Она без чувств свалилась со стула, но, вовремя подхваченная Иешутой, не получила тяжелых ушибов. Служанка побежала, крича: «На помощь, на помощь. Госпожа упала замертво!» Пришли люди, отнесли ее в

спальню. Дали понюхать острого зелья. Конный гонец помчался в лес, к герцогу. Она потребовала Григорса, как только открыла глаза, и узнала, что он находится на пути к ней. Она не расставалась с дощечкой, которую у нее не удалось отнять даже во время обморока.

Гонец прискакал на постоянный двор. Охотники и так уже пребывали в унынии. Пропал их лучший сокол: с перекорму, не почуяв добычи, он улетел в лес, где и потерялся. А тут еще эта дурная весть:

– Господин герцог, если вы хотите застать герцогиню в живых, то спешите, иначе придете слишком поздно. Госпожа при смерти.

– Малый, как это может быть? Она была здоровехонька, когда мы уезжали.

– Господин, к сожалению, я должен подтвердить то, что уже сказал.

Тут не стали мешкать. Они сели на коней и поскакали. Поверьте мне, они не передохнули, пока не примчались домой и герцогине не было сказано, что ее супруг здесь. Он вошел к ней в зеленом охотничьем платье – и что же он увидел! Едва державшуюся на ногах, изжелта-бледную, вконец обезумевшую женщину, с блуждающими от ужаса глазами, убитую горем.

– Григорс! – вскричала она и упала ему на плечо, спрятала лицо на его груди и простонала опять: – Григорс! Так я называю тебя, кто бы ты ни был, ибо, клянусь богом, по имени можно назвать любого, тут нет ничего ужасного! Мой Григорс – ибо ты во всяком случае мой – скажи мне, с каких пор тебя так зовут? Кто дал тебе это имя? Григорс, любимый, – ибо я все равно люблю тебя! – кто ты, Григорс? Небо и ад ждут твоего слова: кем ты рожден?

Он склонился над ней.

– Бога ради, госпожа, что с вами случилось? Милая, чистая жена моя, что с тобою стряслось? Я догадываюсь, я знаю, в чем дело. Твой вопрос все выдает. Наверно, какой-нибудь враг-проньера сообщил вам, что я низкородженное дитя хижины? Так вот, какой бы подлец и мерзавец вам этого ни наговорил, заставив вас столь тяжело страдать, – он лжет. Пусть он хорошенько прячется от меня, ибо, если я узнаю его, он пропал. Говорю тебе: негодяй врет на свою же голову. Я не был обманщиком, когда взглянул на вас и дрался из-за вас. Я высокого рода, это письменно засвидетельствовано, я вполне равен по рождению тебе, любимая, можешь быть совершенно спокойна: я тоже герцогское дитя.

– Равен по рождению? – повторила она, содрогнувшись, и уставилась на него своими безумными глазами. Затем она подняла дощечку. – Кто тебе это дал?

Он посмотрел на дощечку и побледнел так сильно, что стал похож на

нее. Глаза его провалились в глазницы. Голова его низко опустилась.

– Ну что ж, – промолвил он наконец, – ты все знаешь. Дощечка, которую мне дали в приданое, бросив меня на произвол ветра и волн, попала тебе в руки. Прощай, наше счастье. Оно зиждилось на лжи. Ибо я лживо утаил от вас, что я дитя греха и все мои члены сотворены из греха. И я лгал вам сейчас, говоря, что я не был обманщиком, когда взглянул на вас, на чистую и непорочную. Да, я обманывал вас. Я осквернил вас своей любовью, осквернил плод вашего тела моим телом. Я не раз молил бога, чтобы он отпустил мне мою вину. То была несправедливая молитва. Он это доказал, и я ухожу. Вы должны были бы прогнать меня, не сделай я этого сам. Вы больше не увидите низкого подлеца. Я ухожу искать своих родителей.

– Григорс, – взмолилась она, – так я тебя во всяком случае могу назвать, а ты – ты меня никак не называй! – Григорс, любимый, скажи мне, что вас двое, что вы не одно лицо, человек, о котором говорится в грамоте, и ты! Не правда ли, тебе дал ее кто-то другой, она написана не для тебя! Пусть это будет ложью – скажи мне это!

– Нет, женщина, довольно лжи! Это завещано мне. Благочестивый муж, меня воспитавший, хранил для меня эту дощечку, пока я не вырос. Дитя, которому она была дарована, – это я.

– Григорс, значит мы пропали! Значит, наше место в преисподней. Григорс, если ты говоришь правду, вместо того чтобы милостиво мне солгать, значит между моим супругом и тем ребенком нет никакой разницы, кроме той, что ребенок теперь мужчина. Григорс, эта грамота написана мной.

Они глядели друг на друга глубоко ввалившимися глазами. Чтобы все это осмыслить, нужно было время. Затем они разошлись к противоположным стенам, прижались к ним лбами, и жаркие волны, одна за другой, залили их мертвенно-бледные лица, откатились к сердцам и, пылая, снова ударили в щеки. Долго в комнате раздавались одни только стоны.

Затем они удалились от своих стен, юноша – первым. Он упал к ее ногам.

– Мать, – сказал он, – прости преступника!

Она хотела погладить его волосы, но отдернула от них руку, как от раскаленного железа.

– Сын мой и господин, – сказала она, – прости меня! Я видела твоё платье из тех тканей.

Он спросил:

– Где мой отец?

– Он погиб в покаянном странствии, твой сладчайший отец, – отвечала она безжизненно. – В тебе я нашла его снова.

– Наверно, я похож на него?

Она кивнула. Тут они снова чуть было не разошлись к своим стенам, но опомнились и остановились. Она сказала:

– Зачем я явилась на свет? Устами господними проклят был час моего рожденья. О небо, потому-то мне и приснилось, что я родила дракона, который улетел, но вернулся и пробился в разорванное материнское лоно! Григорс, это был ты! Горе поклялось меня преследовать и не нарушает своей клятвы, ибо за одну радость я плачусь тысячей мук. Я мечтала о спасенье в чистоте. И вот ад приводит ко мне дитя моего греха, чтобы я спала с ним, как с мужем.

Он содрогнулся и воздел руки горе.

– Мать, оскверненная мать, не говори так! Но нет, нет, говори! Я понимаю, зачем ты это делаешь. Мы должны говорить ясно и называть вещи их именами, самобичевания ради. Ибо говорить правду – это и есть самобичевание. Господи, слышишь ли ты, как мы бичуем себя, говоря без лживых обвиняков? Вот, значит, то, чего я добивался, моля тебя доставить меня туда, где я на благо и на радость себе увижу свою любимую мать. Ты, щедрый и очень добрый бог, исполнил мою просьбу иначе. Дай мне силу, великую силу подавить поднимающийся во мне гнев на тебя! Ведь, право же, лучше бы мне никогда ее не видеть, чем в течение трех лет быть ее мужем, преемником собственного отца, и прижить с ней детей, для которых и подавно нет места на земле, если нет его для меня, и бытие которых не укладывается в нашем рассудке – никто не знает, что о них и подумать! Ведь это – гибель рассудка, гибель мира! Да, госпожа, вы вправе называть меня Григорсом, я же не смею называть вас ни по имени, ни матерью, то и другое было бы безумием, и до чего же мне жаль слова «мать», которого я лишился, потому что его осквернил. Приличнее и осторожнее было бы, вероятно, называть вас «милая тетушка», ибо любовная связь с таковою менее мерзостна. Но кем доводятся мне мои дети, Геррада и тот, который родится, этого я не знаю, еще не выяснил. Если я не поступлю, как Иуда, повесившийся из покаянного отвращения к своему злодеянию, то у меня еще будет время об этом подумать.

– Григорс, сын мой и господин, я раскаиваюсь в том, что подала вам пример самоистязания, назвав вещи их именами, ибо у вас все получается еще страшнее. Ужас мой возрастает, а вместе с ним и удивление, что пылающий гнев давно не обрушился на окаянную, что земля еще носит

меня после всех прегрешений моего тела. Я, я – главная виновница, я это твердо знаю, и несказанный страх обуревает меня перед адским огнем, который мне грозит, который мне почти наверняка уготовлен за величайшее преступление. Господин и любимый сын мой, не могли бы вы мне сказать – ведь вы прочли много книг – мыслимо ли искупление столь усугубленного порока и святотатства? И если уж мне, бедной женщине, суждено попасть в ад, то нельзя ли сделать так, – нет, конечно, нельзя! – чтобы он был ко мне хоть чуточку менее суров, чем к другим обреченным на вечную муку?

Она – она не осмелилась дотронуться до его волос, он же – так как волосы ее были прикрыты платком и повязкой – ласково погладил голову, горестно припавшую к его плечу.

– Госпожа, – сказал он, – не говорите так и не предавайтесь отчаянию, это нарушение заповеди. Ибо смертному дозволено отчаиваться в себе самом, но не в боге и в его милосердии. Мы оба по горло погрязли в скверне греха, и если вы полагаете, что погрязли глубже, то, значит, вами овладела гордыня. Не присовокупляйте еще и этого греха ко всем остальным, иначе вы увязнете в болоте по уши. На то и простерта десница божья, чтобы предотвратить сие: это утешение почерпнуто мною в книгах. Недаром я прилежно изучал *divinitatem* в монастыре «Мука господня». Я узнал, что истинное раскаяние он принимает как искупление всех грехов. Как бы ни была недужна ваша душа, если глаза ваши хоть на час увлажнятся слезами искреннего раскаянья, то поверьте своему сыну, злосчастному своему супругу, – вы спасены.

– Я знаю, – продолжал он, – что должно произойти, и выношу решение. Ибо, поймите, дитя превратилось в мужчину, тогда как вы остались женщиной. Я мужчина, и я ваш супруг, хотя и вопреки здравому смыслу, и поэтому выношу решение я. Большая часть кары – моя, не в угоду моей гордыне, а оттого, что я – мужчина. Но и вам достанется изрядная доля кары, когда я уйду. Когда я уйду, вы ни в коем случае не должны по-прежнему править страной, как герцогиня. Сзовите вашу знать и велите избрать нового герцога. Виттиха, вашего дядю, или Веримбальда, вашего двоюродного брата, – безразлично. Затем покиньте престол и живите в смиреннии, большем, чем то, какое вами владело, когда вы оплакивали вашего брата, моего дорогого отца. Так же, как трон, покиньте и замок. Пусть у его подножья на ваши вдовьи деньги построят у большой дороги приют для бездомных, для старых и дряхлых, для больных и калек. Там надлежит вам править и, надевши серый наряд, лечить хворых, омыв их раны, купать их, одевать, раздавать милостыню странникам-нищим и мыть им ноги. Я ничего не имею против того, чтобы вы

привечали и прокаженных, и даже считаю это необходимым. Геррада, наше дитя, относительно которой я еще не выяснил, кем она нам доводится – вам, пожалуй, внучкой, так как я ваш сын, – Геррада пусть помогает вам пить воду смирения, когда подрастет. Она по ошибке крещена. Ребенка, которого ты, любимая, носишь, не следует крестить, таково, увы, мое решение. Назовите его каким-нибудь смиренным именем, например, Стультиция, или Гумилитас, или Маленький Мизерабилис, по своему усмотрению. Так и живите, пока вас не призовет господь!

Я же уйду и наложу на себя эпитимию, и притом чрезвычайную. Ибо людей, столь погрязших в грехе, как я, на земле не бывало, или если они бывали, то очень редко, – я говорю это не из гордыни. Я пойду по стопам своего бедного отца. Я отправляюсь не в рыцарские странствия, как то казалось необходимым мне, дураку, когда я узнал о своем рожденье, а в покаянное паломничество, как нищий, подобный тем, чьи ноги вы будете мыть. Там я найду себе место, как нашел себе это место в густом тумане: место, вполне достойное этого. Таковы мои последние слова к вам здесь, на земле. Прощайте!

– Григорс, – сказала она, и глаза ее наполнились слезами, а губы попытались изобразить милую улыбку, превратившуюся, однако, в страшную гримасу отчаяния. – Григорс, любимое мое дитя, неужто нельзя оставить внешне все по-старому и, никогда больше не приближаясь друг к другу, хранить сообща нашу тайну? Моя любовь к тебе – это теперь чисто материнская любовь, все супружеское от нее отпало, как отпало и от твоей любви. И все-таки наша кара окажется, может быть, еще тяжелее, если мы, памятуя о нашем грехе, останемся вместе, чем если мы будем далеко друг от друга. Приют я все равно могла бы построить и купить хворых.

– Вы говорите по-женски, – ответил он, – ибо женщиной вы остались, тогда как я стал мужчиной. Я стал им вам на позор. Но хочу им быть вам во спасенье. Как решил супруг, так и будет. Еще раз прощайте! Нет! Никаких поцелуев перед разлукой! И ни в лоб, и ни в руку. С руки-то все и началось. Храни вас бог!

И он ушел. Она простирала к нему руки в тоске.

– Вилигис! – вырвалось у нее из глубины души, но она тут же опомнилась.

– Береги себя, дитя, – крикнула она ему вслед, – будь осторожен и не переусердствуй в покаянье!

Но он ее уже не слышал.

Камень

Он надел платье нищего, власяницу, опоясался вервием и не взял с собой ничего, кроме узловатого посоха, ни сумы для хлеба, ни даже чашки для подаваний. Но грамоту, написанную его матерью и матерью его детей, он захватил с собой и сокрыл ее на голом теле. Так спустился он в сумерках из замка своего злополучного счастья и пошел прочь, исполненный решимости не давать себе никакой пощады, разве только нести свой крест с готовностью и охотой. У него было одно желанье – чтобы господь направил его в такую пустыню, где он мог бы казнить себя покаянием до самой смерти.

Переночевал он под деревом, которое осыпало паломника первыми листьями, – так же, как уже однажды на острове, когда он узнал тайну своего рожденья и, не смея укрыться ни в монастыре, ни в хижине, искал крова только под небом. Он избегал людей и людских дорог, когда снова двинулся в путь с восходом солнца. Опираясь на посох, он шагал через бурые луга, леса и глухие дебри, переходил вброд реки возле мостов и ступал босыми ногами по колючему жнивью. В первый день он ничего не ел, на второй угольщики в лесу дали ему свои объедки. На третий, к вечеру, он был уже далеко и не знал, где он находится: пелена проливного дождя заволокла небо, и в сумеречном свете виднелась только тропинка; кривая, заросшая травой, не шире, чем длина рыцарского дротика, она вела с холмов, по которым он шел, в долину близ большого озера. Странник направился по тропинке и увидел там внизу, неподалеку от прибрежных камышей, маленький уединенный домик, куда его несказанно потянуло, ибо душа его истосковалась по отдыху и пристанищу, и он подошел к нему.

Сети, разложенные для починки перед домом, указывали, что это жилище рыбака. Хозяин стоял у двери вместе со своей женой и недоверчиво глядел на скитальца, у которого щеки и подбородок давно заросли темной бородой, кожа огрубела, а волосы сбились в колтун. Григориус учтиво произнес вечернее приветствие и, скрестив на груди руки, попросил, Христа ради, о ночлеге, хоть и надеялся в глубине души, что просьба не возымеет успеха и рыбак весьма грубо, а то и презрительно, ему откажет. Ибо этого Григорсу еще не случалось испытать, и сильнее, чем желание отдыха, была у него потребность в искупительном унижении.

Оно выпало ему на долю. Рыбак принялся браниться и бранился несколько минут, хотя стоявшая за его спиной жена все время что-то ему

шептала, пытаясь его усовестить.

– Ах ты, бродяга, обманщик и тунеядец! – бранился он. – Ты посмел прийти к моему дому, бездельник, здоровенный болван и лодырь, праздношатающийся попрошайка, и хочешь поживиться за счет честных людей, которые тяжким трудом добывают себе кусок хлеба и еле-еле сводят концы с концами! Жена, не шипи, не старайся меня утихомирить, я человек честный и говорю правду! Ишь ты, какой верзила вымахал, ишь ты, ручищи какие, а чтоб потрудиться на совесть, и пальцем шевельнуть не хочешь? Таким бы ручищам да добрую пашню, да бодец, чтоб волов погонять, а ты знай слоняешься по дворам. Эх, скверно устроен мир, если он терпит таких тунеядцев и никчемных людишек, – от них богу никакой чести, они только и знают, что попрошайничают! Жена, оставь свою дурацкую дребедень! Кто сказал тебе, что этот вот малый, если пустить его переночевать, не прирежет нас, когда мы уснем, и не улизнет с нашими пожитками? Стыдился бы, прохвост, своей силы, которой набираешься на чужих хлебах, чтобы пустить ее разве что на какое-нибудь злодейство! Проваливай отсюда сейчас же, а не то я тебя потороплю!

– Именно так, друг мой, – отвечал ему кротко Грегориус, – именно так вы и должны были говорить со мною, по моему желанию. Именно такие слова надлежит мне услышать, и именно такие слова внушил вам господь. Если б вдобавок вы дали мне пощечину, это еще больше послужило бы тому, чтобы немного уменьшить бремя моих грехов. Вы правы: я не смею просить приюта, кров мой – одно только небо. Прощайте!

И он ушел в дождь, который как раз припустил.

В горнице же, куда они спрятались от дождя, при свете коптилки, жена рыбака сказала:

– Муж мой, мне не по сердцу, мне совсем не нравится твое обращение с путником! Ты поносил его и бранил так, что можешь поплатиться за это своей душой. Разве так положено принимать просящего, будь он христианин, турок или язычник? То был, конечно же, добрый, хороший человек, я видела это по его глазам, а у тебя не нашлось для него ничего, кроме жестоких, оскорблений да грубых насмешек. Смотри, не наказал бы тебя господь! Кто добывает свой хлеб каждодневным трудом, как ты, которому приходится наудачу рыбачить, тот должен помнить о боге и не очень-то заноситься перед ним, отказывая другим в сострадании, ибо ему-то ничего не стоит не послать тебе рыбы и тебе нечего будет отвезти на рынок, в деревню. Мы поступили бы лучше, если бы вернули несчастного.

– Вздор! – сказал рыбак. – Ты, видать, влюбилась в эти ладные члены под нищенским рубищем, в этого смазливового молодого бездельника и не

прочь завести с ним шашни, блудодейка и потаскуха?

– Нет, муж мой, – отвечала жена. – Спору нет, меня поразил его вид, но думаю, что не от похоти увлажнились при этом мои глаза. Ты прав, – под его рубищем что-то такое таилось, и я никак не могу успокоиться, после того как мы его прогнали. Говорят, что в лице неимущего мы потчуем господа нашего Иисуса Христа, и еще сказано, что встречать его нужно с тем большим почтеньем, чем меньше мы знаем, кто перед нами и кого скрывает рубище – нам во испытание. Когда он заговорил о пощечине, я глядела на него уже совсем, совсем по-другому. Право же, позволь мне вернуть его!

– Ну, так побегии и приведи его, чтобы он у нас переночевал, – сказал муж; теперь тоже немного оробевший. – Ведь в душе я так же, как и ты, не хочу, чтобы его съели лесные волки.

И она побежала, накинув куртку на голову, под дождь, догнала незнакомца, поклонилась ему и сказала:

– Нищий, мой муж, рыбак, образумился и раскаивается в своих неприветливых речах. Он согласен, что погода слишком плоха для вас, и говорит, что здесь водятся волки, и хочет, чтобы вы укрылись на эту ночь в нашем доме.

– Ну что ж, пусть будет так, – отвечал Грегориус. – Я последую за вами не для того, чтобы себя ублажить, а потому, что ваш муж, быть может, сумеет помочь мне советом.

Когда они возвратились в горницу, рыбак угрюмо повернулся к ним спиной, ибо впечатление от предостерегающих слов жены ослабло уже в его сердце. А женщина зажгла дрова в печи, чтобы промокший до нитки путник согрелся у огня, и сказала, что испечет лепешку, достаточно большую, чтобы хватило на всех троих, и которую они запьют молоком. Грегор отклонил ее предложение.

– Это тело, – сказал он, – едва ли заслуживает пицци. Я не стану питать его лепешками с противня: краюха овсяного хлеба да глоток воды из колодца – вот и вся моя трапеза.

На том и осталось, хотя женщина очень настаивала, чтобы он дал себе хоть маленькую поблажку. И когда они сидели и ели, жители глуши – свою лепешку, а незнакомец – ломоть черствого хлеба, запивая его водой, рыбак не на шутку рассердился, так что снова не смог удержаться от злобных речей и сказал:

– Тьфу, глаза бы мои не глядели, как ты выхваляешься перед нами своим воздержанием, нищий, а ведь все это чепуха одна. Нечего было мне поддаваться на всякие ахи да охи. Доселе ты не пробавлялся такой

скверной пищей, клянусь чем угодно. Просто смешно: ни я, ни жена никогда не видали такого складного тела, цветущего да пригожего. Ты его нажил не хлебом и не водой. Стройные бедра, выпуклые ступни, я же сам видел, а пальцы на ногах ровнехонькие и гладенькие. У настоящего странника ступни плоские да заскорузлые, а у тебя они только чуть-чуть замарались. Руки твои и ноги недавно еще не были голыми, можешь мне не рассказывать сказки, они были недурно защищены от ветра и непогоды, а кожа на них – я тебе скажу, что это за кожа: это кожа холеного дармоеда. Погляди, какая светлая полоска обегает вот этот пальчик! Тут было кольцо. У меня есть глаза, чтобы видеть, и я не просто подозреваю, а *знаю*, что где-нибудь, далеко отсюда, ты управляешься своими нежными ручками совсем не так, как хочешь нам внушить. Ты можешь найти себе прибежище получше, и я уверен, что уже завтра ты будешь потешаться над этой краухой, над водой из колодца и над нами, бедными людьми.

– Пожалуй, – сказал Грегор женщине, – я поступлю лучше, если уйду в ночь.

– Нет, – воскликнул рыбак, – ты поступил бы лучше, если бы дал ответ и сказал нам, твоим добросердечным хозяевам, что ты за человек.

– Я это сделаю, – отвечал Григорс, – и кстати замечу, что я испытываю наслаждение, что принимаю это как должное и радуюсь, когда вы в разговоре называете меня на «ты», а я вас на «вы». Я человек, который не просто грешен, как и весь мир, но вся плоть и кровь которого состоят сплошь из греха и к тому же еще погрязли в таком грехе, что тут – конец рассудку, конец миру. Цель моего странствия – найти себе суровейшее пристанище, где я мог бы мукой своего тела до самой смерти платиться за свой грех, чтобы снискать прощение господа бога. Ныне – третий день, с тех пор как я отрешился от мира и отправился в покаянное паломничество. Кроме угольщиков и свинопасов, я видел в лесу и отшельников. Но по мне жизнь их слишком сладка. Так как путь мой привел меня к вам, то позвольте мне просить у вас милости и совета. Если вы знаете где-нибудь здесь поблизости место, которое бы мне подошло, пустынный камень или одинокую пещеру, но крайне неудобную, то молю вас от души, покажите мне такое место! Тем самым вы сотворите доброе дело!

Рыбак задумался и тут же усмехнулся про себя, ибо его осенила злорадная мысль. «Уж я ему покажу, – думал он. – Уж я прижму голубчика, так что он ужаснется моей затее и постарается выкрутиться. Тут-то обман и обнаружится». И он сказал:

– Если и впрямь таковы твои намеренья, то возрадуйся, друг! Тебе можно помочь, и помогу тебе я. Далеко, среди озера, есть риф, одинокий,

пустой, отличное для тебя пристанище, достаточно крутой и шероховатый, сиди себе там и вволю оплакивай свое горе. Если хочешь, я свезу тебя туда и помогу тебе подняться наверх. Подняться туда еще кое-как можно, а вот спуститься оттуда – это ни-ни: такая уж это скала. Но мы с тобой сделаем дело на совесть, чтобы твое покаянное настроение не изменилось, если даже ты в нем и раскаешься. У меня уже несколько лет хранятся небольшие ножные кандалы, железные, крепенькие, с замочком. Мы их захватим с собой, и я на тебя их надену. Если потом тебе эта забава надоест и ты попытаешься спуститься с камня, то тебе все-таки придется остаться там волей-неволей до конца дней твоих, сколько они ни продлятся. Как тебе нравится мое предложение?

– Прекрасное предложение, – отвечал Григориус. – Оно внушено вам самим богом. Благодарю его и вас и прошу: помогите мне добраться до этого камня!

Тут рыбак оглушительно расхохотался и воскликнул:

– Что ж, нищий, это очень умно! Если ты не шутишь, то я сейчас лягу спать, ибо еще затемно я выйду на лов, и, коли хочешь со мною поехать, вставай пораньше! Только ради тебя, невзирая на потерю времени, я заверну к этому камешку, помогу тебе на него взобраться и надену на тебя вот эти колечки, которые сейчас достану из ящика. Сиди себе там, как сокол на круче, и старься, сколько протянешь, и тогда ты поистине не будешь в тягость никому на земле. Итак, до завтра!

– Где мне спать? – спросил Григориус.

– Не здесь, – сказал рыбак. – Я тебе все-таки нисколько не доверяю. Ложись не в доме, а в каморе. Сарайчик, правда, уже обветшал, но по сравнению с твоим камнем это – царский ночлег.

В полуразвалившемся сарае было холодно и грязно, и не окажись жена рыбака достаточно богобоязливой и заботливой, чтобы принести выдворенному из горницы путнику охапку камыша для постели, тому, кто некогда был герцогом Григорсом, пришлось бы спать на голой земле. Последнему челядинцу в его доме жилось лучше. Но Григориус думал: «Это еще куда как хорошо, это еще царское ложе. Завтрашняя скала – вот где мое настоящее место». Он растянулся на камыше и положил рядом с собою дощечку. Он долго бодрствовал и молился. Но затем его молодость взяла свое, и он очень крепко уснул, и когда перед самым рассветом рыбак собрался на промысел, он еще лежал, объятый глубоким сном, и не слышал, как хозяин его окликнул: «Эй, нищий!» Окликнув его дважды, тот не стал этого делать в третий раз, сказав:

– Дурак я, что ли, чтоб раздирать себе глотку и звать этого мошенника!

Уж я-то знал, что не надо принимать его слова за чистую монету и что он, как миленький, отвернется от моего предложенья. Ладно уж, у меня свои дела.

И он направился, как каждое утро, вниз, к озеру. Но, увидев это, жена его поспешила в сарай, где из добрых побуждений принялась тормошить и будить пришельца:

– Любезный, если ты впрямь хочешь поехать с ним, так не спи! Рыбак уже пошел на озеро.

Грегориус встрепенулся, непонимающе огляделся и с трудом опомнился: так крепок был его сон.

– Не хочется мне, о нежный юноша с трехдневной бородой, будить тебя, усталого, и не хочется мне посылать тебя на пустынный камень, – сказала она. – И все же внутренний голос твердит мне, что я должна это сделать, чтобы ты не лишился своего прибежища. Ибо мне показалось, что ты неподдельно о нем тоскуешь, и кто знает, вдруг ты святой.

При этих словах Грегориус содрогнулся. Вскочив на ноги, он воскликнул:

– Как мог я, несчастный, предаться сну! Боже мой, скорее за ним!

И опрометью бросился прочь из сарая.

– Не забудь свои кандалы! – воскликнула женщина и сунула их ему в руку. – Может быть, они нужны для твоего спасения, хотя рыбак и упомянул о них только по злобе. И захвати эту лестницу с крючьями, она вам понадобится, а муж не взял ее с собой. Неси ее, как господь свой крест! Прощай! – крикнула она ему вслед. – Я остаюсь, вся в мыслях о тебе.

Затем она отвернулась и заплакала.

Грегориус же, нагруженный кандалами и лестницей, обливаясь потом, бежал за хозяином и кричал:

– Друг, рыбак, ангел мой, подожди, не покидай меня! Я иду, я иду!

Дощечку же свою он второпях забыл на камышовом ложе, о чем очень сокрушался.

Лишь внизу, на вязкой тропинке, почти у самой лодки, он догнал рыбака, который только пожал плечами. И когда челн принял обоих пловцов и их кладь, рыбак молча повел его по коротким волнам в озерную даль. Так продолжалось час или два. Наконец над водой показался пустынный камень, серо-бурый и конусообразный, забытый богом и настолько далекий, что берега оттуда уже не было видно; они причалили к нему, и рыбак, зацепив лестницу за выступ в скале, сказал:

– Полезай первым! Не хочу, чтоб ты был у меня за спиной.

Так, друг за дружкой, они карабкались вверх, сначала по лестнице,

затем, с великим трудом, по голой скале, зацепляясь за выемки и трещины, и когда они очутились на крошечной площадке вверху конуса, рыбак, с мрачной усмешкой, сделал то, что обещал: он надел на ноги Грегора кандалы, запер замок и сказал:

– Ну, теперь ты будешь верен этому камню. Здесь тебе и состариться, ибо сам дьявол никакими своими кознями тебя отсюда не уведет, ты уже никогда в жизни не сойдешь вниз. Тут и сиди! Ты попался в ловушку своего же мошенничества.

С этими словами он бросил далеко в озеро кандалный ключ, описавший при полете длинную дугу, и прибавил:

– Если я когда-нибудь достану его со дна и увижу его снова, то, так и быть, прощу тебя, святой отец! Желаю тебе хорошенько повить и полязгать зубами.

Таково было его прощальное приветствие. Он спустился в лодку, снял лестницу и уехал прочь.

Покаяние

Благочестивый читатель! Внимай мне и верь! Мне предстоит поведать тебе нечто великое и небывалое, такие вещи, для повествования о коих надобно мужество. Но если я найду в себе мужество, чтобы о них вещать, то тебе стыдно будет не оказаться достаточно мужественным, чтобы им поверить. Впрочем, я не хочу преждевременно бранить тебя за сомнения! Напротив, я полагаюсь на твое доверие в такой же мере, как и на свою способность правдоподобно изложить то, что узнал от других. А на эту свою способность я полагаюсь твердо и, стало быть, не менее твердо – на твою веру в мои слова.

Правдивое же мое сообщение таково: на узкой площадке этого пустынного камня среди озера Грегориус, сын Вилигиса и Сибиллы и муж последней, провел в совершенном одиночестве и без всяких поблажек столько же лет, сколько было ему, когда он достойным порицания образом покинул свой глухой остров, и монастырь «Мука господня» – он провел там полных семнадцать лет, не имея никаких удобств, кроме неба над головой, не защищенный ни от изморози, ни от снега, ни от дождя, ни от ветра, ни от летнего зноя, прикрытый только – но долго ли продержалась эта одежда! – своей власяницей, при голых руках и ногах.

Вы мне не верите? Я сумею вас в этом убедить, отнюдь не прибегая к избитому доводу, что-де для бога нет невозможных и непосильных чудес. Такое доказательство было бы, конечно, неопровержимым, но слишком дешевым. Внешне ваши сомнения должны были бы умолкнуть, но тайно они, уж наверное, продолжали бы грызть и искушать ваши души. Этого я не хочу, и потому я не стану ссылаться на всемогущество господне. Без проповеднического неистовства, рассудительно и спокойно, хотя и в глубоком волнении от собственного рассказа, отвечаю я на вопросы, которые вы, ломая руки и приговаривая: «О да, ради бога скажи!» и «Подумай, мнише, как же это так?» – можете мне задать, и первый из коих касается, конечно, того, чем же кормился грешник на голой скале хотя бы короткое время, а не то что семнадцать лет. Может быть, вран прилетал, чтобы подкрепить его силы? Или манна падала с неба ради него? Нет, все было совсем по-другому.

Первый день, после того как рыбак столь презрительно-жестокосердно его покинул и Грегор остался в полном одиночестве, он не сходил с места, сидел, охватив колени руками, или, сложив руки, стоял на коленях и

молился богу за своих бедных, прекрасных родителей, за усопшего Вилигиса, за Сибиллу, жену свою, которая, верно, уже омывала парализченных или во всяком случае готовилась к такому подвижничеству, и за себя самого, бестрепетно вверяя себя промыслу божью и его святой воле, каковым он и в самом деле был вверен.

По истечении, однако, всего лишь нескольких часов второго дня его стали одолевать голод и жажда, и он, почти бессознательно и непроизвольно, принялся на четвереньках – ибо из-за кандалов не мог сделать и шагу ногами – ползать по площадке в поисках пищи.

Почти в самой середине камня оказалась бороздка в виде маленького корытца, до краев заполненная какой-то беловато-мутною влагой, что осталась, как он разумел, от вчерашнего дождя, правда на редкость мутная и молочно-густая, но все же пригодная для жаждущего, как ни была грязна и отчего бы столь грязна ни была, – кому-кому, а ему не приходилось быть притязательным. Посему он склонился над впадинкой и стал всасывать ее содержимое губами и языком, вылакал все, что в ней было, каких-нибудь несколько ложек, и поистине осушил ее, вылизав самое дно. Жидкость эта отдавала чем-то сахаристо-клейким, вроде крахмала, и чем-то пряным, вроде укропа, к тому же у нее был металлический вкус железа. Грегориусу сразу показалось, что он утолил не только жажду, но и голод, притом на диво основательно. Он был сыт. Он слегка срыгнул, и часть выпитого вытекла у него изо рта, словно такой малой толики было уже предостаточно. Он почувствовал, что лицо его немного вспухло, а в щеки его ударил жаркий румянец, и, вернувшись ползком на исходное место у края камня, он положил свою голову на низкую ступеньку скалы и уснул, как младенец.

Через несколько часов он проснулся от слабой боли в животе, которая, к его досаде, заставила его пошевелить скованными ногами и от которой он готов был заплакать. Однако вскоре она прошла, а голода как не бывало. Лишь из любопытства направился он перед вечером к впадине посередине площадки. Там снова скопилось немного жидкости – на самом доньшке. Но можно было прикинуть, что если влага будет просачиваться с прежней равномерностью, то к утру впадинка снова наполнится.

Так оно и случилось, и на следующий день Грегор опять подкрепился этой слизью и вылакал все до дна, покуда не почувствовал согревающей сонливости, ибо если ночью он тяжело страдал от холода и не знал, куда натянуть свою жалкую нищенскую рубаху и как ею укрыться, то каменный сок, стоило только им насытиться, спасал от стужи на несколько часов, а потому, дабы меньше мерзнуть, отшельник и вечером напился

накопившейся к тому времени жижи.

Я могу пояснить, в чем тут было дело, ибо я читал древних, у коих земля по праву снискала себе имя великой матери и magna parens^[131], которая щедро растит все живое, как бы вздымая к богу плоды своего материнского лона^[132], в том числе и человека, каковой не случайно называется homo и humanus, а в знак того, что он явился на свет из утробы humus'a^[133]. Но ведь у того, кто родит, имеется и необходимая пища для своего потомства, и для того чтобы узнать, действительно ли женщина родила, или же просто выдала чужого ребенка за своего, достаточно выяснить, располагает ли она источниками пищи для новорожденного. Потому-то эти почитаемые мною авторы и утверждают, что первоначально земля питала рожденных ею детей собственным молоком. Ибо ее ложесна некими рукавами уходили глубоко в ее корни, и сама природа направляла туда каналы земли и гнала млекоподобные соки к отверстиям жил, точь-в-точь как и теперь у всех рожениц из груди изливается сладковатое молоко, поелику туда-то и устремляются все соки материнского тела или, вернее, питательная вытяжка из этих соков.

Маленький, несовершенный, незрелый, еще не способный к потреблению более высокой пищи, к выращиванию злаков, человек, учат они, был прикован к материнской груди и пробавлялся младенческим кормом. Сколь справедливы эти догадки, почерпнутые мною у древних, показывает история Грегора. В немногих точках земли, в каких-нибудь двух или трех, к тому же расположенных в местах потаенных, необитаемых, как бы по старой привычке сохранились такие, хотя и хиреющие, живительные источники первобытных времен, уходящие в глубь материнского организма, и один из них, где просачивающаяся каша за сутки еще наполняла крохотную впадину, грешник и сумел отыскать на своей пустынной скале.

То была великая милость, и я не стану вдаваться в вопрос, имел ли здесь место счастливый случай, и материнский источник, стало быть, действовал и дотол, или же милость простиралась так далеко, что только ради грешника Грегориуса господь возобновил его действие. Как бы то ни было, благодаря этой находке у несчастного, при всей его бесконечной заброшенности, впервые появилось обнадеживающее, более того, блаженное чувство, что господь бог не только принимает его покаянье, но, как знать, может быть, еще и одарит его милостью, когда он сполна искупит жестокими муками свой грех, а равно грехи его отца и матери.

Это утешительное чувство было ему, конечно, столь же необходимо,

как и согревающий материнский напиток. В своей совокупности оба этих живительных источника помогли ему вынести то, что он на себя возложил и что, как и все трудное на свете, было особенно трудно вначале, пока природа, при всем своем упрямстве податливая, к нему не приунылась. В самом деле, вообразите и наглядно представьте себе наступление зимы, с ее теменью, с ее снегом, дождями и бурями, и человека на голом камне, в одной власнянице, беззащитного перед неистовством этих стихий – если такое выражение уместно при наличии питательного сока земли и согревающего чувства божия милосердия. Но ведь оно поистине куда как уместно, особенно если взять в толк, что снег и дождь изрядно вредили живительной влаге, ибо разжижали ее. Однако и в таком, растворенном виде она оставалась достаточно сытной. Слегка срыгивая и выделяя слюну, съезжившись и прижав к подбородку колени, он лежал на беснующемся ветру, и кожа его, защищаясь от стужи и покрываясь пупырышками, которые принято называть гусиной кожей, тоже постепенно съезживалась и преображалась. Когда пригревало солнце, он, курясь паром, просыхал вместе со своей власняницей, каковая, впрочем, вскоре истлела и почти совсем расплзлась. Но и то, что от нее осталось, прикрывало большую, чем можно было бы предположить, часть его тела, ибо из-за постоянной защитной скрюченности оно заметно уменьшилось.

Впрочем, нужно или можно прибавить, что зима прошла для него на редкость быстро и показалась ему чрезвычайно короткой по той простой причине, что он много спал и, так сказать, перепрыгивал пределы времени. Он снова приобщился к нему только о ту пору, как прибавилось свету, повеяло теплом, и весна, в общем-то ничего не изменившая на его голой, без деревца, без травинки, скале и разве только приятно согревшая камень, перешла в лето с его долгими днями, когда солнце описывало в небе над озером свои высочайшие дуги и, если не было туч, во всю мочь заливало лучами отшельника и скалу, подчас накаляя ее столь яростно, что он не выдержал бы этого зноя, если бы его кожа, самосохранения ради, не стала уже до неузнаваемости чешуйчатой и зернистой. К тому же, для защиты от палящих лучей, голова и лицо его были окутаны толстым слоем свалывшихся волос и густой бородой, а посему он терпеливо мирился со своей участью, пока звездная ночь, с ущербным, чахнувшим месяцем, или с изогнутым, серпообразным, или с играющим в волнах, ярким и полным, не приносила прохлады природе и человекоподобному сморчку, который все больше и больше сливался с ней воедино.

А потом дни снова стали короче, за клубились осенние туманы, и исполнился год с того дня, как он здесь высадился. – Один год! – скажете

вы. – Но ведь ты говоришь, что он прожил на камне семнадцать лет! – Да, говорю. Но разница тут не так велика, как вы думаете, и стоит лишь миновать одному году, как другие минуют сами собой, не усматривая в этом ничего затруднительного ни для себя, ни для крохотного существа, бесприютно их коротавшего. Во-первых, от этого срока можно смело отнять добрую четверть, ибо зимы кающийся человечек проводил в бесконечной спячке и даже не подползал к питательной жижице, так как его телесная жизнь пребывала в полном застое до тех пор, пока солнце, поднимаясь все выше и выше, не пробуждало тела для повторного обновления веществ. А во-вторых, время, если оно не имеет никакой другой цели, представляя собою лишь смену времен года и ликов погоды, если оно не связано с теми или иными событиями, каковые собственно-то и делают его временем, – тогда время мало что значит: оно теряет свою протяженность и сжимается, как это случилось на камне со скрюченным питомцем земли, который с течением времени превратился в такого же карлика, каким, по утверждениям древних, был первобытный человек, еще не вкушавший человеческой пищи.

Наконец, когда прошло около пятнадцати лет, он так усох, что стал немногим больше ежа, превратившись в этакое шерстисто-щетиристое, поросшее мохом создание природы, которому уже не были страшны ни зной, ни морозы, в существо с едва различимыми атавистическими членами, ручками, ножками и с такими же чуть заметными глазками и отверстием рта. Времени оно не знало. Месяц менялся. Созвездия чередовались, исчезали с небес и возвращались опять. Ночи, лунные или темные и сырые, душные или с ледяным ветром, сокращались и вновь становились длиннее. День брезжил раньше или позднее, пламенел, вспыхивал и опять растворялся в угасающем кармазине, отражавшемся в той стороне, откуда всходило солнце. Иссиня-черные, с прожелтью тучи томительно медленно скапливались и с грохотом разряжались над гулкими водами, окропляя их градом и пронизывая молниями взбудораженные волны, что дробились о незыблемое подножие камня. Затем все утихло, и покой, такой же величественный и непонятный, как эта отгремевшая ярость, наполнял мир, и в ласковом, Пронизанном солнечными лучами дожде от безбрежности к безбрежности выгибалась прекрасная, влажная, семицветная дуга.

А мшистое существо, когда оно не спало, по-прежнему ползком проделывало свой путь к материнской груди и, сытое, слегка отпрыгивая, возвращалось к тому уголку, где однажды был высажен грешник, Если бы случайно к отдаленной скале приблизилось судно, корабельщикам не

открылось бы ничего примечательного. Если бы жившему в этих глухих местах рыбаку вздумалось снова съездить туда и взглянуть на докучливого проходимца, которого он некогда там покинул, он только лишний раз укрепился бы в своей уверенности, что тот давно погиб, истлел и что останки его высохли, испарились и смыты дождями. Впрочем, рыбак мог предположить, что увидит там, наверху, хотя бы тусклое мерцание белых костей, и, стало быть, обмануться в своем предположении. Но он и вовсе туда не являлся.

Откровение

По истечении стольких лет в славном и богатом развалинами Риме умер, как я читал, тот, кто был там преемником первоапостола и викарием Иисуса Христа, носил тройной венец и пас своим пастырским жезлом народы земли. Его смерть и настоятельный вопрос о том, кто займет после его кончины святой престол и унаследует право вязать и разрешать, положили начали великим и кровопролитным спорам, которые бог, казалось, не хотел унять. Ибо примиряющий дух его не осенял ни церковь, ни дворянство, ни горожан, так что в народе царил раскол, и две враждебных партии, каждая из коих объявляла своего соискателя вселенского престола единственно достойным и правомочным, жестоко ссорились между собой. Одна хотела избрать папой некоего пресвитера-аристократа по имени Симмах, другая – весьма дородного архидиакона Эвлалия, которого, как и Симмаха, прямо-таки снедала жажда почестей.

Ни к тому, ни к другому решению вопроса святой дух ни мало не был причастен, каждое исходило всего лишь от людей, и я со стыдом должен признать, что тут не гнушались даже подкупом и что обе стороны просто-напросто боролись за власть. Потому-то господь бог и отказал избирательным чинам в своем всеразрешающем волеизъявлении. Избиратели разошлись в пылу полемической ярости, партии вооружились, и в городе разгорелась неистовая усобица, которая велась на площадях и на улицах, а также, увы, и в храмах столицы, усобица, во время коей не только мостовые башни, но и величественные, великолепные памятники древних служили крепостями и бастионами. Да, то был великий позор! Из одного конклава стало два, и каждый избрал своего ставленника и нарек его епископом римским и папой. Симмах был рукоположен в Латеране, Эвлалий – в соборе Святого Петра, и вот они сидели – один в упомянутом дворце, другой – в круглой усыпальнице императора Адриана, служили мессы, издавали буллы и проклинали друг друга, меж тем как на улицах бряцало оружие. Кличек, которыми они клеймили один другого, было множество, но они неустанно изыскивали все новые и новые прозвища. «Разоритель церкви», «Корень зла», «Герольд дьявола», «Апостол Антихриста», «Стрела с лука сатаны», «Жезл Ассур»^[134], «Крушение целомудрия», «Грязь века», «Мерзкий и скрюченный червь» – так, с пеной у рта, величали они один другого. Эвлалий, отличавшийся, как я уже сказал, чрезвычайной тучностью и полнокровием, переусердствовал в

поношениях и умер от удара. Но и Симмаха постигла сходная судьба, ибо эввалианцы, желая отомстить за своего папу, дали своим врагам большое сражение, в ходе которого разбили их наголову и взяли приступом Латеранский дворец, так что Симмах вынужден был бежать через заднюю дверь. Спасаясь от погони, он прыгнул в Тибр и утонул.

Таким образом, вместо двух пап не оказалось ни единого, что весьма сильно отрезвило римлян. Они признали, что подошли к делу неверно и богопротивно. Горожане почувствовали в себе готовность к раскаянью. Собравшись, они единодушно решили предоставить отныне выбор одному только господу богу, объявили многонедельный пост и дни подаяний и назначили большие молебны во всех церквях, чтобы господь милостиво поведал, кому быть его наместником и мироправителем.

О ту пору в Риме жил некий благочестивый муж из старинного рода, ранее многих других принявшего христианство, – Секст Аниций Проб, человек уже пожилой, пятидесяти с лишним лет, равно богатый деньгами и общественными почестями. Вместе со своей супругой Фальтонией Пробой он проживал в окруженном садами дворце своих предков, которые все были консулами, префектами и сенаторами, в пятом квартале, на Виа Лата, в большом и внушительном дворце, раскинувшемся на множество миль и насчитывавшем триста шестьдесят комнат и зал; имелись там также ристалище и мраморные термы. В бани уже не подавалась вода, ипподромом тоже давно не пользовались, а из трехсот шестидесяти комнат большая часть пустовала и находилась в заброшенном состоянии, – не потому, что владельцу не хватало средств и рабочих рук для ухода за его собственностью, а потому что гибель, разорение, упадок всего великого под тяжестью собственного величия представлялись ему чем-то правомерным, необходимым и богоугодным. Правда, в тех немногих покоях, где он проживал со своей женой, не было недостатка в красивых и удобных вещах, ни в ложах, устланных драгоценными левантийскими тканями, ни в ювелирных изделиях, ни в креслах античного образца, ни в бронзовых канделябрах, ни в шкапах, уставленных благородными вазами, золотыми кубками и розовыми раковинами для питья. Но эти комнаты были жилым островком среди полного запустения, среди дворов с обвалившимися колоннадами и колодцами, узорная лепка которых превратилась в груды черепков, и среди опустевших зал с мозаичными, но сплошь в щербинках полами, где золотые обои лохмотьями свисали со стен, обнажая покоробившиеся серебряные листы обшивки. Проб и Проба привыкли к этому и считали, что так и должно быть.

Сады, в которых утопал их дворец, тоже были запущены и разрослись

в дикие дебри, но от этого в них стало больше укромных уголков, куда можно было пробраться сквозь буйные кусты и полузадушенные вьющимися растениями деревья, и Аниций особенно любил одну, затерявшуюся среди лавровых ветвей мраморную скамью с головами Пана, откуда, за безголовой, свалившейся с пьедестала статуей прелестного, вооруженного стрелами и луком Амура, виден был маленький, пестреющий сорняками лужок. Там в апрельский, уже по-летнему теплый день и сидел однажды после трапезы этот достойный муж, как всегда озабоченный осиротелостью церкви и всеобщей беспомощностью. Утром, в соседней с его дворцом базилике апостолов Иакова и Филиппа, он усердно молился вместе со всеми. Сейчас он, наверно, задремал в пахучей духоте согревшегося лавра, ибо ему явилось видение, которое, однако, не увело его с прежнего места: не покидая скамьи, он видел и слышал вещи, всколыхнувшие всю его душу, так что скорее уж это был сон, чем виденье и откровенье.

Перед ним, в клевере луга, стоял агнец с кровоточащим боком. Он открыл свои умиленные уста и молвил дрожащим, но приятно-проникновенным голосом:

– Пробе, Пробе, выслушай меня! Я поведаю тебе нечто великое.

При звуке этого голоса у Проба подступили слезы к глазам и сердце его преисполнилось любви.

– О агнец божий, – сказал он, – ну, конечно же, я тебя слушаю. Я слушаю тебя всей душой, но ты ведь исходишь кровью, она окрашивает твоё мягкое руно и каплет на клевер. Нельзя ли мне чем-нибудь тебе пособить, промыть твои раны и исцелить их бальзамом? Мне так хочется оказать тебе эту помощь.

– Не нужно, – молвил ягненок. – Это крайне даже необходимо, чтобы я истекал кровью. Послушай лучше, что я тебе поведаю. *Nabetis raram*. Папа вам избран.

– Милый агнец, – отвечал ему Проб во сне или в забытьи, – как же это так? И Симмах и Эвлалий мертвы, церковь никем не возглавлена, человечество лишено судии, и вселенский престол пустует. Как понять мне сладостные твои слова?

– Как они сказаны, – молвил агнец. – Ваши молитвы услышаны, и выбор сделан. Что же касается тебя, то ты избран, чтобы первым об этом узнать и принять надлежащие меры. Поверь мне! Избранник тоже должен поверить, как это ему ни трудно. Ибо и само избрание неудобопонятно и недоступно разуму.

– Я преклоняюсь перед ним, – молвил Проб и, растроганный этим

сладостным голосом, рыдая, пал на колени перед скамьей. – Дай мне услышать имя его!

– Грегориус, – ответил агнец.

– Грегориус, – повторил потрясенный старик. – Я слышу это, и мне уже кажется, что другого имени у него и не может быть, возлюбленный агнец. Не скажешь ли ты еще в доброте своей, где он сейчас?

– Далеко отсюда, – отвечал агнец. – И ты избран призвать его. Восстань, Пробе! Ищи его по всем христианским землям и не жалей ни о каких тяготах странствия, хотя бы твой путь проходил через глухие горные перевалы и быстрые реки. На пустынном камне, в полном одиночестве, избранник живет уже целых семнадцать лет. Разыщи и приведи его, ибо о нем тоскует престол святого Петра.

– Я буду искать его ревностно, – заверил ягненка Проб. – Но, достолюбезный агнец, христианский мир так велик и обширен. Должен ли я пройти его сплошь, прежде чем набреду на облюбованный избранником камень? По слабости человеческой я робею перед этой миссией.

– Ищущий да обрящет, – сказал агнец особенно проникновенным голосом, и внезапно к пряному аромату лавра, овевавшему римлянина, примешалось благоухание роз, настолько сильное и душистое, что только оно и воспринималось теперь обонянием. Ибо каждая капля крови, сбегавшая на землю из раны агнца и с его курчавого руна, превращалась в красную розу, и вскорости стало их премного.

– Храбро переберись через Альпы, – продолжал, стоя среди роз, благословенный агнец. – Пройди Алеманию, не соблазняясь помешкать в знаменитом Санкт-Галлене, и направься дальше, в вечерние и полнощные края, к Северному морю. Если ты окажешься в прилегающей к нему стране, которая пять лет воевала и была избавлена от войны некоей цепкой рукой, то значит, путь твой был верен. Повернись к ее холмам и горам, к лесам и пустынным урочищам. Найди там дом рыбака, промышляющего ловом на некоем озере. У него ты получишь необходимые указания. Верь мне и покорствуй!

И агнец исчез вместе с розами его крови, а Проб все еще стоял на коленях перед скамьей с головами Пана, сложив руки, и щеки его были мокры от слез, которые вызвали у него сладостный голос агнца и умиленные движения ягнячьей мордочки. Он ощущал еще остаток исходившего от роз благоухания, и ему казалось, что некоторое время след этого запаха по-прежнему держался в воздухе, хотя его заглушал, а вскоре и вовсе вытеснил аромат лавра.

– Что это случилось со мною? – спрашивал он себя. – То было видение

– первое в моей жизни, ибо вообще-то нрав мой совсем не таков. Фальтония часто называет меня сухарем, и она права: она гораздо тоньше меня и с большой философской отвагой изучает Оригена^[135], хотя его теории и преданы анафеме. Но ничего подобного с ней никогда не бывало. Вот уже запах роз совсем улетучился, но мое сердце все еще пылает любовью к агнцу, и я не сомневаюсь, что он поведал мне правду и что папа, которого я должен искать, действительно избран. Надо сейчас же рассказать обо всем Фальтонии, во-первых, для того, чтобы она увидела, на какие необычайные переживания способна моя душа, а во-вторых, чтобы узнать ее мнение о практических следствиях, вытекающих для меня из услышанного.

И он встал с колен и с проворством двадцатилетнего юноши поспешил во дворец, где в одной из десяти или двенадцати жилых комнат застал свою супругу за высокомурым занятием: она делала выписки из Оригена. Матрона подивилась его великой взволнованности и внимательно выслушала сбивчивый рассказ супруга, обильно уснащенный такими вставными словечками, как: «Подумай только!», «Представь себе!» и «Заметь-ка!»

– Секст, – сказала она наконец, – это, кажется, и в самом деле достойно внимания. Ты человек сухой, и если уж у тебя было такое видение, то, наверно, к нему нужно отнестись со всею серьезностью. Розовая кровь поэтична, а почерпнуть поэзию в себе самом ты не можешь; ее источник должен быть где-то вне тебя. С другой стороны, я сочла бы опрометчивым, если бы ты не долго думая повиновался внушениям твоего одиночества и пустился в твои годы в рискованное путешествие к киммерийцам, вечно блуждающим в ночной темноте. Ты призван к вере, но было бы опрометчиво верить всему, и действия, основанные на совершенно одинокой и личной вере, граничат с глупостью. К тому же без согласия римлян ты не волен отправиться на поиски избранника и привести его, если бы тебе и удалось его найти. А что, если твои сограждане сочтут все это досужим порождением послеобеденного сна, слишком несерьезным, чтобы возложить на тебя такую миссию?

– Меня и самого одолевают сомненья, Фальтония. Но, признаюсь, я ждал от тебя чего-то большего, чем критический анализ происшедшего: я ждал совета.

– Проб, ты не вправе ждать его от меня. Речь идет о церковной негодии, и притом о наиважнейшей, а ты знаешь, что в церкви женщине подобает молчать. А что дела церкви обстояли бы лучше, если бы разумные женщины могли здесь сказать свое слово, это уже другой вопрос, и мы его

не будем касаться.

– Меня огорчает, Фальтония, твоя язвительность. Но, как видно, твоя привычка ограничиваться теоретическим разбором проблем мешает тебе прийти к решению, и поэтому ты прикрываешься законом, запрещающим женщинам вмешиваться в дела церкви.

– Весьма остроумно, милый мой Секст! Ты, кажется, сегодня весь день живешь не по средствам. И, однако, ты забываешь самую простую и естественную вещь, о которой я уже давно собираюсь тебе напомнить, соединяя при этом приличествующую женщине сдержанность с добрым советом. Поговори о случившемся со своим другом Либерием. Это сановный клирик, чей нрав и ум я очень ценю, хотя он и презирает учение Оригена, считая, что христианская философия не есть христианство. Он сумеет как нельзя лучше вникнуть в твое положение и сказать, как поступил бы сам на твоём месте.

Этот совет сразу же показался Пробу благим и правильным. Либерии, о котором говорила Фальтония, кардинал-пресвитер в церкви Святой Анастасии суб Палацио, высокочтимый прелат и даже член синклита, управлявшего во время седисваканции^[136] церковью, был действительно связан с Пробом давнишней дружбой. Предложение открыться Либерию обрадовало и окрылило нечаянного ясновидца.

– Фальтония, – сказал он, – ты говорила прекрасно. Прости, что я, прерывая твои занятия, сначала обратился к тебе! Но я отнюдь не раскаиваюсь в этом, ибо, если ты и не дала мне совета по существу, ты все же указала мне наилучший способ его получить. Тотчас же велю отнести меня к Либерию.

Он ударил молоточком в бронзовую плочку и приказал явившимся слугам немедленно снарядить носилки. Усевшись в них в одном из дворов с ветхими колоннадами, он попросил носильщиков, чтобы они шагали быстрее. Плавно сгибая ноги в коленях, чтобы как можно меньше трясти паланкин, они несли Аниция через славный Рим, переулки которого пролегали среди огромных, наполовину превратившихся в щебень развалин иных времен, и где повсюду валялись мраморные изувеченные статуи императоров, богов и знатных граждан, дожидаясь часа, когда их бросят в творило, чтобы пережечь на цемент. Впереди паланкина и четырех носильщиков бежали еще двое слуг, чьей обязанностью было кричать и махать руками, расчищая дорогу патрицию в уличной давке. Им, однако, было наказано, чтобы они действовали не грубо, а деликатными, смиренными уговорами.

Дом Либерия находился близ церкви Святой Анастасии под

Палатинским холмом и представлял собою новое кирпичное строение, украшенное старинными консолями и фризами, а также сводчатыми окнами с маленькими пилястрами в простенках. Лестница в виде крыльца вела в атриум, несущие колонны которого были взяты из какого-то другого здания, а на площадке, у подножия лестницы, пресвитера ждали его собственные носилки. И в самом деле, когда Проб вылез из своего паланкина, он увидел, что его друг, второпях облачаясь в мантию, выходит из дома и спускается по ступенькам. Заметив Проба, Либерии в изумленье остановился на полпути – рослый, красивый, седеющий, с пухлой, истинно римской верхней губой, темными задумчивыми глазами и ртом, которому один – только один – убегающий вниз уголок придавал своеобразное, скорбно-благочестивое выражение. Муж Фальтоники был куда ниже ростом, чем его друг-клирик, к тому же немного тучен, как я сейчас припоминаю, у него были выпукло-круглые карие глаза и черные брови, резко оттенявшие белоснежность его густых волос.

– Ты здесь, Проб? – удивленно сказал прелат, шагая с протянутой рукой навстречу поднимавшемуся по лестнице Аницию. – Так знай, что я как раз собрался к тебе, и притом по важной причине!

– Странное совпадение, мой Либерии! – отвечал Проб. – Но можешь не сомневаться, что причины, приведшие меня к тебе, по важности никак не уступают твоим!

– Едва ли это так, – возразил тот, и глаза его потемнели, а уголок рта еще тяжелее обвис. – Но пройдем в дом и присядем в моей *zetas estivalis*^[137], где прохлада и тишина будут благоприятствовать нашему разговору.

Этот просторный и приятный покой помещался в верхнем этаже, рядом со столовой, и, прежде чем они вошли туда, хозяин строго-настрого наказал слугам не мешать их беседе ни при каких обстоятельствах.

– Хоть мне и не терпится поскорее открыться тебе, мой Проб, – сказал он, когда они уселись друг подле друга на покрытом подушками каменном сундуке, который я должен, присмотревшись к нему, принять за гробницу прежних времен, – я все-таки отдам дань гостеприимству и попрошу тебя положить начало и сказать мне, что у тебя на душе.

– Благодарю, друг мой, – отвечал Проб, – но честность велит мне предупредить тебя, что после моего сообщения мы вообще не сумеем говорить ни о чем другом. Поэтому прошу тебя начать.

– Я по справедливости не могу этого сделать, ибо и я убежден, что после моего рассказа нам будет уже не до обсуждения твоей негодии.

– Нет, начинай ты, – настаивал оптимат, – чтобы мы побыстрее

разобрали и разрешили твое дело!

– Ты ошибаешься относительно его важности, – сказал Либерии, – если говоришь о быстроте и о разрешении. Но так и быть, я уступаю твоим настояниям. Слушай же, мой старый и добрый друг, я сподобился некоего видения.

– Видения? – глухо воскликнул Проб, положив свою руку на руку собеседника. – Послушай, Либерии, я беру свои слова обратно и хочу прежде всего со своей стороны...

– Слишком поздно, – отвечал пресвитер. – Мою жажду тебе открыться теперь уже невозможно сдержать. Слишком уж мощно рвется наружу все то, чем полно мое сердце и чем я неодолимо стремлюсь наполнить твое. Так вот: не далее, чем два часа назад, я был удостоен некоего откровения.

– Видение и откровение! – повторил Проб, сжимая руку своего друга. – Умоляю тебя, скажи, как это произошло?

– Следующим образом, – отвечал Либерии. – Тебе отлично известен маленький, примыкающий к моей столовой балкон с обвитой плющом балюстрадой, откуда открывается восхитительный вид на холм, где основан был Рим, и на древнейшие наши святыни. Туда, после трапезы, я велел вынести кресло, в котором и покоился, озабоченно размышляя о судьбах церкви, отданной нами – в бессилии и смятении нашем – на волю бога. Ты скажешь, что с этими мыслями я задремал и потому-то мне все это привиделось. Но я предпочел бы назвать увиденное видением наяву, хотя и признаю, что состояние человека в минуты видений отличается от обычного бодрствования. Предо мною, у балюстрады, стоял трогательнейший агнец, у которого, к моему несказанному умилению, кровоточил бок. Агнец открыл уста и голосом, пробудившим во мне великую любовь, сказал...

– *Nabetis parat!* – воскликнул Проб.

– Я восхищен, – отвечал Либерии, – вещей твоей пронизательностью. Да, именно так он и молвил. «Папа вам избран, – сказал он. – Его зовут Григориус, он уже семнадцать лет живет на пустынном камне, далеко отсюда, и престол принадлежит ему. Что же касается тебя, то ты избран, чтобы первым об этом узнать».

– Тебе он тоже это сказал? – спросил Аниций не без некоторого огорчения. – Признаюсь, я думал, что он сказал это только мне.

– Секст, ты говоришь так, словно...

– Да, мой Либерии, мне тоже явился умильный агнец и сподобил меня великого откровения, по-видимому, в тот же самый час, что и тебя. Мало того, он поведал мне также, что я избран, каких бы это ни стоило

трудов, разыскать святого мужа и привести его в Рим.

– Но ведь я как раз собирался тебе сказать, – воскликнул Либерию, – что священная миссия возложена им на меня – стало быть, *также* и на меня!

– Стало быть, *также* и на тебя, – сказал Проб. – Стало быть, на нас обоих, на каждого из нас, и притом одновременно. Какое чудо, друг! Агнец был у тебя на балконе, и он же был у меня в саду, и с каждым из нас он говорил так, словно говорил только с ним одним. «Храбро переберись через Альпы», – сказал он...

– «И направься в вечерние и полнощные края», – подхватил Либерию.

И они, перебивая друг друга, повторили все, что сказал им агнец и что более или менее точно указывало местопребывание избранника.

– Ах, агнец! – восклицали они снова и снова, порознь и слитно. Ибо никак не могли отделаться от общих воспоминаний о хватающем за сердце образе агнца, о его бесконечно кротких, с длинными ресницами, глазах, о трогательных движениях его рта, о дрожи в его сладостном голосе, о крови, стекавшей с завитков его шерсти. Они встали перед саркофагом, бросились друг другу в объятия и расцеловались, невзирая на разницу в росте, с влажными от слез щеками. Проб припал головой к груди Либерию, орошая слезами его далматик, а Либерию, склонив голову набок, с благочестиво опущенным уголком рта, задумчиво глядел вдаль.

– Ах, еще и розы, – вспомнил, прижавшись к его груди, Проб, – розы, в которые превратилась ягнячья кровь, когда я оробел было перед своей миссией.

– Розы? – спросил Либерию, ослабляя объятия. – О них я ничего не знаю.

– У меня было множество роз, – заверил его Проб. – Их аромат совершенно вытеснил благоухание лавра.

– А я, – отвечал Либерию и освободился от объятий, – могу только повторить, что мне не дано было видеть никаких роз. Но не будем, друг мой, оскорблять столь дивное знаменье, завистливо взирая один на другого! Я полагаю, что агнец, обращаясь ко мне как к сыну и князю церкви, не счел нужным подкреплять мою веру подобным чудом.

– Разумеется, дорогой мой, это вполне возможно, – согласился с ним Аниций, – хотя ты и не должен осуждать меня за то, что я восхищаюсь поэтичностью этого зрелища, выпавшего мне на долю, и призываю тебя разделить мое восхищенье. Но прежде всего нам следует восхищаться мудростью агнца, который поведал о состоявшемся избрании и поручил отправиться на поиски папы не кому-то одному из нас, будь то тебе или

мне, а нам обоим. Насколько увереннее отправимся мы в дорогу вдвоем, чем если бы это указание было дано только одному! Трудно верить, не имея единове́рца, и нельзя отрицать, что действия, вытекающие из совершенно личной и одинокой веры, недалеки от глупости. А наши сограждане? Согласись, друг, что, для того чтобы действовать, нам необходимо их доверие. Правда, мы оба такие люди, что наше слово равносильно для римлян клятве. Но разве мы порознь удивились бы, если бы это откровение было истолковано как ничего не значащая причуда послеобеденного сна? В том-то и состоит мудрость агнца, что он раздвоил видение и позаботился о двух свидетелях, согласные показания которых, совпадающие во всем, кроме такой подробности, как розы, должны победить любое сомнение. Хорошо ли я говорил?

– Ты говорил превосходно, мой друг, – отвечал Либерии. – Каждое твое слово доказывает, что титулами и должностями ты лишь отчасти обязан своему древнему имени. Да, рука об руку предстанем мы пред собранием, которое вскорости будет созвано, и с сердцами, полными воспоминаний об агнце, дружно засвидетельствуем чудо, которого мы сподобились.

Второе посещение

Семнадцать лет рыбака и его жену никто не навещал в их озерной глуши, как, наверно, и прежде, в течение такого же срока. Тем ярче, хотя они никогда об этом не говорили, запечатлелся в их памяти тот, кого они однажды – муж со злостью и бранью, а жена – с благочестивыми предчувствиями – приютили у себя в доме. Добавлю, что муж избегал этих воспоминаний и всячески старался от них отделаться. Ибо ему всегда казалось, будто он, хоть и действуя в полном соответствии с желанием и волей незнакомца, совершил тогда какое-то преступление, точнее – убийство; а от подобных воспоминаний предпочитают отделаться. И это ему в общем-то удалось, если говорить о поверхностных областях его памяти, ибо он все-таки виделся с людьми, когда носил на рынок в ближайшую деревню, до которой было два часа ходу, своих чебаков, линей и плотву, и эти встречи его немного рассеивали. Зато жена его никого не видела, она жила и увядала в глуши и одиночестве, близ своего угрюмого мужа, и так как у нее, в отличие от него, не было причин отделяться от воспоминаний о столь давней истории, то она все эти годы молча хранила ее в душе и думала о прекрасном, смиренном нищем, за которым побежала в дождь и которому принесла камыш для подстилки, думала часто, ежедневно, и в глазах ее стояли слезы.

Не надо придавать особого значения тому, что от этих воспоминаний глаза ее увлажнились, ибо ей вообще ничего не стоило поплакать; вернее, она даже не плакала, а просто, ничуть не меняясь в лице и без видимого, хотя бы ей самой известного, повода, тихо роняла слезинки, катившиеся по ее впалым щекам, почему ее муж, рыбак, всегда называл ее плаксой. От общения и соприкосновения с людьми он закалился, очерствел и огрубел, тогда как его жена, лишенная этой отдушины и скупаемая одиночеством, была нежна душой и чувствительна, как мимоза.

И вот для них обоих настал день, который во многих отношениях был днем чудес, – и этот, и в придачу еще и следующий. Тот день начался очень удачно, ибо рано утром рыбак поймал неводом отменную рыбку, щуку, какие редко встречаются. Это была щука на диво, величиной чуть ли не с акулу, более семи футов в длину, прекрасного черного крапа, с жадной, хищно ощерившейся пастью. Для мелких озерных рыбешек ее поимка, избавившая их от такого тирана, явилась, несомненно, благодеянием божьим. Рыбаку пришлось выдержать настоящую борьбу с этой дикой

тварью, прежде чем он разможил ей голову о борт челнока. То была счастливая добыча, какую редко баловала его судьба. Рыбак хотел назавтра с утра отнести на рынок вкусное жарено и выгодно продать его.

Таково было его намеренье, и действительно ему суждено было выручить за это жарено хорошие деньги, и даже не назавтра, а в тот же день, и не в дальней деревне, а у себя дома. Ибо еще в тот же день к рыбаку и его жене снова наведались гости.

В предвечерний час, как это было когда-то и как часто бывало, супруги стояли перед своей хижинкой и глядели вдаль: как свойственно тем, кто скорее ожесточенно, чем радостно, пользуется счастливым случаем, рыбак, борода которого уже совсем поседела, с мрачной гордостью думал о своей великолепной рыбе, а жена его тихо роняла слезы, склонив голову набок и не меняясь в лице. Они не говорили друг с другом, как это было когда-то и как бывало не раз. Наступала осень; стоял сентябрь, и холмы, сбегавшие к озеру, были в тот вечер тускло освещены. Над ними висели тучи, затемнившие при садящемся солнце часть неба и уже готовые излиться дождем.

Тут они увидели, что вдалеке, по извилистой лесной тропке, один за другим в долину спускаются всадники.

Они долго молчали. Потом рыбак хрипло промолвил одно только слово:

– Всадники.

– Боже правый! – сказала жена. Она сложила руки, и две прозрачных слезинки покатались по ее щекам.

Потом они снова умолкли и только недвижно и пристально следили, как приближаются незнакомцы.

– Три всадника и один мул без седока, – хрипло проговорил через несколько мгновений рыбак.

– И один без седока! – повторила жена и плотнее сложила руки. Она подняла их к лицу и прибавила: – Без седока – белый.

Так оно и было: двое, если только позволяла дорога, ехали рядышком впереди, оставляя третьего за собой. Это был слуга, его мул был навьючен тугими тюками. Он вел на поводу четвертого мула, ненавьюченного, белого, с белым седлом и белой уздечкой. Господа, ехавшие спереди, сидели тоже на добрых длинноногих мулах, отлично оседланных и взнузданных. То были пожилые люди, разного роста, один – маленький, другой – долговязый, укутанные в дорожные плащи с капюшонами. Они остановились почти рядом с остолбеневшими супругами, которые только глазели на них разинув рты и даже забыли поклониться. Низкорослый

произнес вечернее приветствие и спросил, обращаясь к мужу:

– Друг мой, это глушь?

– Так точно, глушь, – оживился рыбак.

– Совершенная глушь? – спросил высокий и измерил рыбака испытующим взглядом, тяжело и смиренно опустив один уголок рта.

– Не смею отрицать, сударь. Эта хижина стоит здесь у озера в елико возможном уединении.

– Каково ваше занятие? – спросил низкорослый.

– Я рыбак, – гласил ответ.

Незнакомцы обменялись взглядом и кивнули головами. При этом у одного из них поднялись густые черные брови, а у другого еще благочестивее опустился уголок рта.

– Послушай, седобородый, – заговорил опять маленький, – скажи нам правду: нет ли здесь, в пределах твоей глуши, некоего камня, некоей пустынной, отрезанной от мира скалы, или как там назвать это местопребывание?

– Нет, сударь, такого не знаю, – ответил тот, кого спрашивали, и упорно закачал головой в подкрепление своих слов.

– Ничего такого в здешних окрестностях нет? Ты ведь рыбак и, наверно, рыбачишь на этом обширном озере, которое видно отсюда?

– Да, сударь, оно меня кормит.

– А в озере, наверно, имеются рифы, подводные скалы, если угодно, словом, необитаемые острова, один из которых можно во всяком случае определить как пустынный камень?

– Нет, сударь, клянусь своей душой, озеро мне надо бы знать, но я не ведаю ни о каких кремнистых островах в его водах.

– Почему плачет твоя жена? – внезапно спросил долговязый и указал пальцем, на который был надет выпуклый перстень, на жену рыбака.

– Она почти всегда плачет, – грубо ответил ее муж. – У нее глаза на мокром месте.

– Блаженны кроткие, – молвил незнакомец с перстнем.

Затем он, как и низкорослый, спешился, подошел к рыбаку, положил руку ему на плечо и сказал:

– Amice^[138], знай, мы намерены обременить вас на эту ночь своим присутствием, тебя и твою слезоточащую жену. Мы, знатные господа, проделали долгий путь за один только сегодняшней день, не говоря уже о далях, пройденных нами ранее; ибо в пути мы уже давно. Мы устали от путешествия и от сиденья в седле. Надвигается ночь, и грозит непогода, дождь уже и теперь накрапывает. Не приютишь ли ты нас в своей

уединенной хижине до завтрашнего утра? Ты не останешься внакладе.

И с этими словами дюжий господин дружески подмигнул рыбаку, как человек, взывающий к общераспространенным чувствам – корыстолюбию и жажде наживы.

Рыбаку и хотелось и не хотелось согласиться. Рассказы незнакомцев о камне были ему в глубине души неприятны и вызывали у него предубеждение против нежданных гостей. Но сулящее наживу подмигиванье заставило его мрачно и застенчиво усмехнуться в свою седую бороду. Он был теперь другим человеком, более уступчивым, чем в тот вечер, когда к его хижине пришел какой-то голый бродяга и попрошайка. Сдавалось, что один добрый улов дополнится сегодня другим, к тому же представлялась возможность выгодно соотнести второй с первым. С истинным ожесточением он воспользовался счастливой оказией.

– Конечно, я покорнейше прошу ваши благородия, – сказал он, – переночевать у меня, сколь ни мало приспособлена эта одинокая хижина к тому, чтобы принять гостей, особливо столь знатных. Мы люди бедные. Будь у нас хотя бы еще сарайчик, чулан, который здесь прежде стоял, мы сумели бы разместить там ваших мулов, и серых и этого белого. Но каморка уже давно развалилась. Придется вашему слуге, как он, я вижу, уже и делает, просто привязать животных и прикрыть их от дождя, ведь дождь, насколько я разбираюсь в погоде, припустит еще сильнее. Но вам нельзя мокнуть под дождем, да и вообще нельзя ехать ночью, ибо волки здесь тоже водятся. При таких обстоятельствах я еще никого, будь то барин или нищий, не прогонял от своего порога. Ах, если бы не наша великая бедность да не убожество этой горницы, которую вы озабоченно оглядываете! Мы еще больше озабочены и смущены, ибо не знаем, что вам и постелить и чем допреж угостить вас. С угощением дело еще куда ни шло, ибо сегодня я поймал рыбину – на рынке я выручил бы за нее хорошие деньги, – настоящую барскую рыбину, которой вы вкусно поужинаете, если велите моей жене сварить вам ее или зажарить. А вот что касается постелей, то тут был бы дорог добрый совет, – хотя и рыба тоже не дешева, – тут я просто ума не приложу.

– Хозяин, – сказал в ответ низкорослый, откинув капюшон и обнажив густые белоснежные волосы, которые очень шли к его черным как смоль бровям, – хозяин, не заботься о нас и о том, какие у нас будут постели, ибо это совершенно безразлично. Тебе только кажется, что это небезразлично, так и заметь! Мы действительно знатные господа, но находимся сейчас в таких обстоятельствах, что ко всему отнесемся спокойно и никакое противоречащее нашим привычкам предложение нас не обидит, ибо, каково

бы оно ни было, оно ничего не значит по сравнению с тем великим делом, из-за которого мы, собственно, и пустились в дорогу и предприняли, в нашем-то возрасте, такое путешествие. Если бы ты знал о дорожных тяготах, вот уже несколько месяцев выпадающих нам на долю и безропотно нами сносимых, ты бы не пекся о том, как нас уложить. Охапка соломы, брошенная прямо на пол и прикрытая простыней, покажется нам большой роскошью, если твоя жена сумеет уготовить нам такое ложе. На худой конец мы можем провести ночь и прикорнув у этого елового стола, ибо ничто, кроме одного-единственного, для нас не имеет значения.

Так говорил седоголовый. Но так как меж тем его спутник тоже снял плащ и хозяева увидели его сутану, а равно и фиолетовую ермолку, прикрывавшую тонзуру в его седых волосах, они сразу же, прося благословения, упали перед ним на колени.

– Благослови нас, святой отец! – с мокрыми от слез глазами промолвила женщина. Но долговязый испугался такого обращения и отмахнулся от него широким жестом.

– Воздержись от этого величания, женщина, – воскликнул он, – и не называй меня именем, подобающим лишь тому, кто, по-видимому, находится неподалеку отсюда! – *In nomine suo benedico vos*^[139].

И он, двумя пальцами, перекрестил супружескую чету. Когда муж и жена, приняв благословение, поднялись, рыбак снова завел речь об уходе за гостями и вернулся к своей добыче, к лакомой рыбе, которую вызвался им продать и приготовить на ужин. Но незнакомец-мирянин ему возразил:

– Выкинь, друг мой, все эти вещи из головы и не беспокойся о нас! Мы возьмем с собою необходимые припасы. У нас есть хлеб и вино, и, наверно, наш слуга принесет нам холодной курятины или еще что-нибудь в этом роде, как только задаст мулам корму, равным образом предусмотрительно припасенного.

– Хорошо, хорошо, – сказал рыбак. – Но все-таки посмотрю, не потянет ли вас, господа, на щучку, когда я вам ее покажу.

И он принес эту рыбу в кадучке, весьма удивив незнакомцев, которые стали хвалить щуку за ее величину и красоту.

– На рынке, – сказал хозяин, – я бы свободно выручил за нее пять флоринов.

– Ты получишь вдвое больше, – пообещал седоголовый, – и еще вместе с женой присоедишься к нашему ужину, если она сумеет вкусно ее приготовить – зажарить, нашпиговать и как следует приправить каперсами. Возьмешься ли ты за это, женщина?

– Ах, барин, – сказала та, – о каперсах я и слыхом не слышала, а вот

немного сала для шпигования у меня найдется, и подливку я вам приготовлю такую, что вы не останетесь недовольны.

Она пообещала больше, чем надеялась выполнить, но она боялась своего мужа, который горел желанием урвать лишнее и поколотил бы ее, если бы она выказала нерасторопность.

– Десять флоринов, – воскликнул корыстолюбец, – и сделка состоится! Зато ваши странствующие благородия поужинают по-царски, как вам едва ли еще удастся в дороге. Сейчас я только очищу и выпотрошу рыбу, чтобы стряпуха могла за нее взяться.

Рыбачка осталась с гостями, она стояла, скрестив на груди руки, а ее муж принялся хлопотать у очага в глубине хижины. Слуга подал обоим хлеб и вино, и они ели и пили, не преминув поднести и хозяйке дорожный кубок с красным вином. Она выпила его, извиняясь и отнекиваясь, и, как видно, огонь вина поощрил ее любопытство, ибо она сказала:

– Поистине великим и важным должно быть дело, заставившее столь почтенных господ, как вы, отправиться в путь и хладнокровно сносить непривычные лишения. Я отлично поняла, что вы прибыли издалека и изъездили добрую часть мира.

– Да, ты права, – подтвердил незнакомец с седой головой и черными бровями. – Мы прибыли из далекой страны Италии, где находится Новый Иерусалим. Однако мы отправились в путь и ведем розыски в христианском мире не из озорства, каковое не приличествовало бы нашему возрасту, а по высшему указанию.

– Я слушаю вас благоговейно, – ответила женщина. – И благоговение, а не излишнее любопытство будет тому причиной, если я позволю себе спросить, чего же вы ищете в христианском мире.

– Ты это узнаешь, – сказал низкорослый, – ты узнаешь это вместе со всем миром, когда на нашем примере подтвердится завет: «Ищите, да обряцете». Подтверждение его не за горами, и, судя по имеющемуся у нас указанию, мы уже недалеко от своей цели. Миновав города и веси Италии, верхом на коне, в повозках и в носилках, мы приблизились к ужасным Альпам, где в ущельях кипит вода, стремительно падающая со страшных скал, и где нам пришлось, сквозь туман облаков, по давно разведанным тропам карабкаться на такие пустынные высоты и кручи, что при виде их цепенеет душа. Там не растет ни деревца, ни кустика, стеклянный свет озаряет лишь груды окатышей, на которые сверху грозно глядят заснеженные отроги, и в чистоте тамошнего неба тоже есть что-то пустынное. Мы учащенно дышали, у нас спирало горло, и в каком-то опьянении, которое нами овладело, хотя было совсем неуместно в этих

ужасных краях, мой спутник, сидящий вот здесь епископ, совершенно не в лад со своим нравом и обликом принялся шутливо болтать, за что я и пожурил его в виду близости бога.

– Ты не можешь, – воспротивился долговязый, – назвать мои речи несдержанными.

– Разве лишь имея в виду их бурное изобилие, – ответил другой, – и я упоминаю о них единственно для того, чтобы эта добрая женщина хоть как-то представила себе чудовищность сфер, в которые нас завело наше путешествие. Но потом мы спустились оттуда и, как и предполагали, оказались в трудолюбивой Алемании, где сильные люди корчуют леса под пашни и пастбища, где кудель и ткацкий челнок кормят почтенные города, а в мирных монастырях процветает наука. Мы нигде не мешкали долее, чем требовалось для передышки. Даже знаменитый Санкт-Галлен нас не заманил. Наша миссия не терпела ни малейшего промедления. Мы двигались все дальше в вечерние и полуночные края, через многоразличные епископства, пфальцграфства и королевства, пока не оказались в этой стране, которая прилегает к морю и о которой известно, что она пять лет воевала и была избавлена от войны некоей цепкой рукой. Ты что-нибудь знаешь о цепкой руке?

– Нет, – отвечала женщина. – Мы ничего не знаем о таких делах. Наша хижина стоит слишком обособленно, чтобы до нас доходили войны и ратные клики.

– Но так оно и должно быть, – сказал седоголовый, – это соответствует полученным нами указаниям. Согласно им мы повернулись спиной к рокочущему морю и направились к холмам и пустынным урочищам вашей страны. Эти урочища вели от наполья к лесу, а оттуда, как подсказало нам сердце, мы ехали еще целых два дня. На третий день мы свернули на тропу, по которой еще никогда не ступало копыто, и кривая, заросшая травой стезя привела нас к этому омываемому озером полуострову и к вашей хижине. И вот мы сидим здесь перед тобой. А теперь, женщина, пригуби еще раз вина из моего кубка! Выпей хорошенько за здоровье гостей! Хорошенько и не спеша – вот так. Ну, а сейчас скажи нам по чести: действительно ли вы не знаете ни о каком пустынном камне или уединенной скале в пределах вашей глуши?

Но женщина боялась своего мужа и потому ответила:

– Господа, вы же спрашивали об этом рыбака, и он дал вам ответ. Разве он осмелился бы скрыть от вас правду, если бы знал о таком месте?

– Но почему ты трясешься и плачешь? – спросил ее низким голосом долговязый, ибо рыбачка не могла сдержать слез и скрещенные руки

дрожали у нее на груди.

– Отец мой, – сказала она, – это только оттого, что мне очень хочется тоже задать господам вопрос: едва вы приблизились к хижине и даже едва вы показались вдали, меня, бедную женщину, уже так и подмывало его задать.

– Спрашивай! – сказал священник.

– Для кого, ах, для кого же, – спросила женщина, – предназначен этот белый, без седока, мул, которого вы ведете с собой?

– Он, – отвечал незнакомец, еще более понизивши голос, – предназначен тому, кого мы ищем, покинувши Новый Иерусалим по высшему указанию. Он предназначен избраннику, которого мы разыскиваем по христианскому миру и местопребывание которого, судя по всем приметам, должно быть где-то недалеко отсюда.

– Ах ты господи, – промолвила женщина, – тогда я вам скажу...

Но в это же самое мгновение раздался хриплый возглас оттуда, где рыбац управялся со своей рыбой, крик ужаса и великого изумления, заставивший гостей встрепнуться и взглянуть на кричавшего. Что же касается женщины, то она резко повернулась, протянула руку туда, откуда донесся выкрик, и, словно зная, что там открылось, воскликнула с каким-то торжеством:

– Вот, вот! Вот видите, вот видите!

Так она и осталась стоять с вытянутой рукой. Гости же устремились к очагу, где рыбац в ужасе голосил:

– Это он! Я вижу его снова собственными глазами, я держу его в руках, он подобран со дна, да поможет мне бог!

На мокрой доске, выскобленная и выпотрошенная, лежала рыба, а рыбац держал в грязной руке какой-то предмет, какой-то ключ, и, уставившись на него, причитал:

– Горе мне! Это он, он самый! Подобран в пучине! В желудке рыбы! Да, да, желудок, я сразу заметил в нем что-то необычное и тотчас его вспорол. Это оказался он, он у меня в руке, помилуй мя, грешного, господи!

И рыбац, шатаясь, приблизился к столу, уперся в него локтями и зарыл в волосах грязные руки вместе со своей находкой. Гости подошли к нему, а его жена, словно в исступлении, все еще стояла на месте, протянув руку туда, откуда уже ушел ее муж.

– Друг мой, – низким и тихим голосом сказал Либерии, ибо это был он, он и Секст Аниций Проб – вот кто были эти чужестранцы, чтобы наконец назвать по именам наших старых знакомых, – друг мой, – сказал

пресвитер, – объясни нам, в чем дело, и облегчи свое сердце, которое, кажется, узнало в странной находке какую-то давнишнюю утрату! Смотри на меня как на своего исповедателя! Что это за предмет, что это за ключ у тебя в руках?

И бледный как полотно рыбак поднялся и исповедался, меж тем как его жена, сложив руки, стояла рядом с ним на коленях. Он рассказал о бездомном страннике в нищенском рубище, который когда-то прибрел к их хижине и которого он встретил с великим глумленьем и злобой и вовсе не приютил бы, если бы не предстательство жены. Он осыпал его оскорбительными словами, считая его обманщиком, а странник принимал их смиренно, с кротостью богомольца, и наконец спросил, не укажут ли ему пустынного места, где он сможет наложить на себя тягчайшую кару за совершенный им грех. Он, рыбак, отвез поутру незнакомца к угрюмому камню посреди озера и высадил его там, хоть и по желанию странника, но со злобою в сердце, чтобы тот поплатился за лицемерие, и вдобавок надел на него запирающиеся кандалы, ключ от которых бросил в озеро, и все поклялся, что если когда-либо увидит этот ключ и достанет его со дна, то поверит в святость своего незваного гостя и попросит у него прощенья.

– Всеуе, всеуе поклялся, – стонал рыбак. – Бог меня наказал и побил меня чудом через столько лет. Вот он, перст божий, ключ, проглоченный рыбой и найденный в ее желудке, – во славу нищему и на погибель мне, который, глумясь над святым, обрек себя суесловием на адский огонь, ибо теперь уже поздно просить прощенья!

И он снова уперся локтями в стол и погрузил руки в копну волос.

Как были поражены римляне!

– Anima mea laudabit te^[140], – промолвил Либерии, воздевши очи горе, – et indicia tua me adjuvabunt!^[141] Рыбак, – обратился он затем к убитому горем хозяину хижины, – не печалься, ибо ключ послан тебе в знак того, что ты приютил человека, которому дана власть над ключами и право вязать и разрешать. Он разрешит тебя и простит за то, что ты его не признал и действовал хоть и по его воле, но в порыве ненависти. Время просить прощенья еще не упущено. Завтра, перед рассветом, ты отвезешь нас к скале, ad petram, чтобы мы сняли с нее того, кого нам велено отыскать, и твоя вторая поездка будет твоим разрешеньем от первой.

– Ах, дорогие и бедные господа! – вздохнул рыбак. – Что толку в поездке? Я, конечно, ее предприиму, и возможно, что мне суждено повторять ее в вечности, в преисподней, вечно стремясь туда и обратно. Но неужели вы надеетесь найти там святого, если со дня моего злодеянья прошло уже

двадцать лет?..

– Семнадцать, – поправил его Проб, – семнадцать лет, друг рыбак!

– Семнадцать или двадцать! – горестно воскликнул тот. – Не все ли равно? Не надейтесь, что он прожил там хотя бы один год или даже месяц! Я оставил его на голом камне, в премногих нуждах; любой из них было бы достаточно, чтобы убить всякую надежду. Если его вскорости не доконали ненастье и ветры, то это сделал голод, и сделал, пожалуй, еще быстрее, чем нагота. Правда, обломки его костей мы, наверно, найдем на вершине скалы, и вы, господа, сможете доставить эти реликвии в Новый Иерусалим. Но я не смогу добиться от них ни прощенья, ни разрешенья, и мне суждено, искупая – свой грех, вечно странствовать между мостками и камнем.

Гости только обменялись улыбками, покачали головами и насмешливо пожали плечами.

– Человече, ты говоришь так по скудному своему разумению, – сказал церковник, а его друг-мирянин прибавил:

– О маловерный, взгляни на свою жену!

Она стояла на коленях, сложив руки под подбородком, и сердце ее было настолько полно веры и счастья, что вокруг ее головы стало явно немного светлее, чем во всей горнице, где горела коптилка.

Отыскание

Рыбу не стали жарить и к ней не притронулись; я рад, что все сочли неудобным шпиговать и пустить в пищу носительницу ключа и что гости довольствовались вином и хлебом. В бедной душе рыбака не осталось бы места досаде на понесенный убыток, душа его была полна страху, что ему придется вечно странствовать взад и вперед между скалой и мостками, потому что он не признал святого. Однако он получил свои деньги, ибо гости великодушно решили, что они так или иначе должны заплатить за заказанный ужин, и, следовательно, насчет этого побочного обстоятельства хозяин мог быть спокоен, какие бы другие заботы его ни осаждали.

Ореол веры вокруг головы жены он воспринял как плод ее богатого воображения, пребывая в прежней уверенности, что на камне либо вообще ничего не сохранилось от нищего, либо же сохранились одни останки, о коих он страшился и думать. Жестоко посрамленный и наказанный чудесной находкой, он боялся снова приблизиться к месту гнусного своего преступления и к тому же боялся разочарования гостей, ожидавшего их после стольких усилий; ибо полагал, что не так-то легко будет поднять на скалу этих холеных и пожилых людей и что они наконец убедятся в тщетности своего долгого путешествия.

Я по-своему разделяю заботы этого грубого человека. Ведь я знаю, а вместе со мною знаете и вы, кому я все это поведал, какое испытание предстояло римлянам, сподобившимся откровения и высокой миссии! Как хозяин повествования, предвидящий ход событий, я мог бы, правда, утешиться тем, что на поверку это испытание оказалось, так сказать, шуткой и все сошло хорошо. И все-таки я с тревогой думаю о великом смущении и замешательстве, которые по началу должны были прийти на смену уверенности.

Благочестивая женщина отнесла в кухню широкий матрац с супружеского ложа, и посланцы провели на нем несколько часов в нетерпеливой дремоте – то вдвоем, то порознь, так что во втором случае один из них лежал на матраце, а другой клевал носом, сидя на стуле. Но, едва забрезжил день, они поднялись, потребовали у рыбака воды для омовения, съели по нескольку ложек мучной похлебки, каковую подала им хозяйка, и тут же изъявили желанье отправиться в путь. Верхом на своих мулах проехали они короткое расстояние между хижинкой и мостками, ведомые рыбарем, который мрачно нес лестницу, а также вервие и заступ.

Что же касается слуги-римлянина, то он, заставляя рыбака недоверчиво качать головой, вел под уздцы белого мула, чтобы вместе с последним поджидать путников возле мостков. Он нес также кое-какие съестные припасы, хлеб и вино, а на спине белого мула лежала одежда, приличествовавшая тому, для кого она была предназначена. Подобно вину и закускам, ее поместили в лодке вместе с упомянутыми орудиями. Либерии, благочестиво опустивший уголок рта, хранил у себя ключ.

Сидя на веслах и временами тяжело вздыхая, рыбак вез их все дальше и дальше по глади озера – может быть, час, а может быть, целых два: они на это не обращали внимания. Они искали глазами скалу, о которой возвестил им агнец и которая наконец показалась в пустынной дали, серо-бурый и голый конусообразный, довольно высокий риф, – «керпа», как с благоговением пробормотал епископ, «ретра», как прибавил он, сложив руки. Что же касается Проба, то он, когда они приблизились к цели, сказал:

– Покамест я ничего не вижу на этом камне.

Он сделал ударение на «покамест», и все же его друг наказал его строгим: «Не торопись!»

– Я не тороплюсь, – отвечал Аниций. – Однако покамест не видно ни хижин, ни какого-либо другого укрытия, ни тем более человеческой фигуры там наверху.

– Чем и из чего, – уныло усмехнулся рыбак в бороду, – мог он построить себе укрытие!

Либерии оставил его слова без вниманья.

– Сильней налегайте на весла! – приказал он. – Пристаньте к скале, и мы не мешкая на нее взберемся!

– Да, да, взберемся! – горячо подхватил его друг, хотя его, как более тучного, предстоявшее восхождение немало тревожило. И поистине, это было куда легче сказать, чем сделать, людям, достигшим уже шестого десятка. Рыбаку удалось причалить и закрепить лодку; ему удалось также ценой многотрудных, сначала безуспешных, и лишь впоследствии увенчавшихся успехом попыток зацепить крючья лесенки за два выступа, до которых она доставала, отвисая от чуть наклонной стены и являя собой хоть и шаткую, но сравнительно надежную опору. Известно, однако, что лесенка отнюдь не доходила до самой площадки, и задача, заключающаяся в том, чтобы провести гостей не только по ее ступенькам, но и дальше, по голой скале, оказалась для рыбака, и без того уже павшего духом, на поверку не только не легче, но еще тяжелее, чем он опасался.

Он связал всех троих своим вервием и, взобравшись на шаткую лестницу, распорядился, чтобы за ним следовал Либерии, а замыкал

шествие Аниций. Грешнику, не подкрепленному верой, тяжело было тянуть и сохранять равновесие уже на ступеньках, но еще тяжелее пришлось ему, когда они кончились и до самой вершины камня нужно было на каждом шагу искать опоры ноге. Иногда вожатый вырубал заступом все же хоть какое-нибудь жалкое подобие ступени для римлян. Они, кряхтя, цеплялись за эти выемки руками и ногами. Задыхаясь и в поту, несмотря на холод, они вскарабкались друг за дружкой наверх, доползли до площадки, выпрямились, заставили себя оглядеться, – рыбак озирался понуро и нехотя, чужестранцы – жадно тараща глаза.

Ничего не открылось их взору, кроме того, что можно было увидеть издали и снизу: пусто было на голом прямоугольнике, которого они достигли с таким трудом. Они смутились, почувствовав разочарование, унижительное и горестное. Неужели возвешенье и наставленье, обоими ими услышанное, обоих обмануло и сбilo с толку? Неужели слова агнца, до сих пор подтверждавшиеся, могли под конец и у самой цели оказаться ложью? Проб и Либерии невольно протянули и пожали друг другу руки.

Это они сделали до того, как одновременно с рыбаком заметили, что от середины площадки к ее краю движется какой-то предмет, какое-то существо, какая-то живая тварь, чуть побольше ежа, движется то на четвереньках, то выпрямляясь, то вдруг вновь опуская передние конечности. Это передвижение походило на бегство, но в той стороне, куда направлялось диковинное создание, не было никакого укрытия. Впрочем, у самой кромки лежал какой-то предмет, покрытый ржавчиной и наполовину истлевший, который не ускользнул от глаз рыбака.

– Кандалы! – воскликнул он. А у друзей вырвался сдавленный возглас:
– Живая тварь!

Руки, за которые они держались, дрожали. Каждый перекрестился свободной рукой.

– Знакомо ли вам по своему облику, – спросил рыбака Либерии, – это убегающее существо?

– Нет, сударь, – отвечал тот. – Я впервые вижу подобное животное. Его не было на камне, когда я доставил сюда святого.

– А что значило, – пожелал узнать Проб, – твое восклицание, относившееся к этому вот орудию?

– Это кандалы, – признался рыбак, – изъеденные сыростью, которые я когда-то наложил на святого и ключ от коих с проклятьями бросил в озеро – его-то рыба и проглотила. Он, господа, у вас в руках, а это вот кольца, хоть и запертые, но уже никого не сковывающие. Святой их сбросил. Может быть, он вознесся на небо.

– Не таков смысл полученного нами наставления, – печально возразил пресвитер. – Вознесся господь, что воздвиг на камне церковь свою. Достаточно горько то, что, вопреки сладостному указанию, мы застали этот камень пустым. Не стоит заглушать свою боль недопустимыми догадками.

– Ты говоришь: пустым, – заметил Проб, – однако это слово не вполне соответствует истине. Совершенно пустой и лишенной всяких следов того, кого нам ведено отыскать, мы эту скалу не застали. Вот кандалы, которые он носил. Его самого не видно. Но вправе ли мы, будучи христианами, отождествлять невидимость с небытием? Вправе ли мы колебаться в вере, и не должны ли мы, напротив, уверовать, что за этой пустотой, за этим мнимым «ничто» кроется подтверждение наших надежд? Спору нет, единственный житель скалы, указанной агнцем, – это божья тварь, бегущая к кандалам. Ее не было тут, когда здесь поселился избранник, а теперь она налицо. Давайте к ней приблизимся.

– Она зело колюча, – сказал с отвращением Либерии.

– Да, колюча, – подтвердил Проб. – Однако ее поведение свидетельствует скорее о страхе, чем о злонамеренности. Нам нечего ее опасаться, так почему же нам не ждать от нее какой-нибудь пользы? Подойдем к ней.

И Проб, который все еще держал своего друга за руку, потянул упировавшегося Либерия к краю площадки, к заржавелым кандалам и сидевшему возле них существу. Но как удивились римляне и рыбак, как сперло у них дыхание и как они вдруг застыли на месте, когда это существо отмахнулось от них одной из своих коротких передних конечностей и человеческий голос, исходивший, несомненно, из его заросших щетиною губ, произнес:

– Прочь от меня! Прочь отсюда! Не мешайте покаянию величайшего грешника!

Пришельцы обескураженно взглянули друг на друга. Их руки еще плотнее сцепились. Прелат перекрестился ключом. Он сказал:

– Тварь божья, ты говоришь. Можно ли из этого заключить, что ты причастен к человечеству?

– Я вне его, – гласил ответ. – Покиньте место, которое указано мне затем, чтобы я ценой жесточайшего покаяния, может быть, все-таки еще обрел спасение.

– Милое созданье, – вмешался Проб, – мы вовсе не собираемся оспаривать у тебя твое место. Но знай, что в двойном видении оно указано также и нам и что нам ведено найти здесь того, кого избрал господь бог.

– Здесь вы найдете только того, кого бог избрал презреннейшим,

ужаснейшим грешником.

– Ну что ж, – возразил Аниций с учтивостью горожанина, – это тоже интересная встреча. Что же касается того, за кем мы посланы, то его господь избрал своим викарием, епископом над епископами, пастырем народов, папой римским. Знай, что мы римляне, сыны Нового Иерусалима, где пустует вселенский престол, ибо ум человеческий помутился при попытке его занять. Мы же, этот посвященный и я, в двойном видении узнали из уст умильного агнца, что господь сам выбрал того, кому дано право вязать и разрешать, и что избранника нужно искать в далекой стране, на камне, на этом камне, где тот, как сказал нам агнец божий, живет вот уже семнадцать лет. Мы его не нашли, мы нашли только эти кандалы, ключ от коих, через посредство некоей рыбы, вернуло озеро, и вместо избранника мы нашли тебя. Умоляем тебя, скажи, известно ли тебе что-нибудь о нем?

– Молчи! – воскликнул Либерии с внезапным испугом, схватив говорившего за руку. Но тут они увидели, что из глаз странного существа по его заросшей, обезображенной мордочке катятся две слезинки.

– Ты плачешь, милое создание, – сказал Проб, который при этом зрелище и сам не удержался от слез. – Твой плач еще убедительнее, чем дар речи, свидетельствует о том, что ты причастен человечеству. Ради крови агнца скажи, был ли ты человеком, прежде чем тебе выпал на долю твой нынешний облик?

– Я был человеком, хотя и вне человечества, – раздалось в ответ.

– А принял ли ты крещение?

– Меня сподобил его некий благочестивый аббат и нарек меня своим именем.

– Каким же?!

– Не спрашивай! – воскликнул Либерии в величайшем испуге, пытаясь встать во весь свой высокий рост между другом и крохотным существом. Ни оно ответило:

– Грегориус.

– О ужас! – крикнул слуга церкви и, закрыв лицо обеими руками, упал на колени. Над ним склонился его спутник, который, хоть и будучи гораздо меньшего роста, теперь оказался выше.

– Соберемся с духом, amice! – сказал он. – Это великое чудо, пусть и способное поставить нас в тупик, но все же трогательнейшее чудо, перед которым меркнет наше человеческое суемудрие.

– Это сын сатаны и наваждение адово! – вырвалось из-под ладоней Либерия. – Fugamus!^[142] Над нами подшутил дьявол! Бог не мог избрать щетинистого зверя своим епископом, хотя бы тот сотни раз присваивал себе

имя избранника! Прочь отсюда, прочь от места адского морока!

Он вскочил на ноги и хотел убежать. Проб вцепился в его одежду. А за спиною у них раздался смиренный голос:

– Некогда я изучал *grammaticam, divinitatem* и *leges*.

– Ты слышишь? – спросил Проб. – Мало того, что он говорит и плачет, он и по своим знаниям вполне подготовлен к тому, чтобы вязать и разрешать. Ты поступил бы правильно, если бы вручил ему ключ.

– *Numquam!*^[143] – воскликнул тот в неистовстве.

– Либерии, – принялся мягко убеждать пресвитера его спутник, – вспомни о той простой женщине, которая признала святого в личине нищего и вокруг головы которой мы видели ореол веры! Неужели мы позволим ей себя пристыдить, наотрез отказавшись признать избранника в облике низшего существа? Неужели мы превратно истолкуем точное повеление агнца?

– С самого начала, – возразил Либерии, – была какая-то несогласованность в наших видениях, ибо ты утверждал, будто кровь агнца на твоих глазах превращалась в розы, тогда как от меня укрылась эта подробность.

– Ты объяснял это тем, – отвечал Проб, – что тебе как сыну и князю церкви не нужны подобные подтверждения веры.

– Им я воистину и являюсь, – воскликнул Либерии, – слугой церкви, стражем ее священной чести. Ты же мирянин и как таковой не способен разделять мои чувства. Тебе легко дать себе поблажку в вопросах веры, а я знаю толк в представительстве и потому сгораю со стыда. Мы с тобой посланы затем, чтобы доставить в Рим епископа над епископами, отца князей и королей, богоизбранного кормчего шара земного. Неужели я должен вернуться домой, неся на груди чудище величиною с ежа, увенчать это чудище тиарой, посадить на *sedia gestatoria*^[144] и потребовать от града и мира, чтобы они почитали его как папу? Турки и язычники станут глумиться над церковью. Церковь...

Он осекся. За спиною у них послышалось:

– Не смущайтесь моим видом! Я стал таким маленьким, потому что кормился младенческой пищей и жил под открытым небом. Мои рост ко мне вернется.

– Ты слышишь? Ты слышишь? – торжествовал Проб. – Его внешность поправима. Ты же, мой друг, слишком односторонне выпячиваешь аристократизм церкви и забываешь об ее демократичности, разительный пример которой, как мне кажется, и приводит нам бог. При выборе главы

церкви ничего не значат наши земные градации, ни племя, ни род, ни происхождение, ни даже наличие духовного сана. Самый убогий и невзрачный, если только он по-христиански крещен и к тому же не еретик, не раскольник и не заподозрен в святокупстве, может, как тебе известно, стать папой. А ты, кающееся создание, знаешь ли ты этого седобородого человека?

– Он привел меня сюда.

– И ты носил эти кандалы?

– Я носил их, пока они не спали с меня, оттого что я сделался меньше. Не требовалось никаких кандалов, чтобы удержать меня в моем покаянии, я сам держался за него цепкой рукой. Мне, грешнику, была дарована необычайная собранность во всяком бою.

– По-видимому, ты готов повиноваться избранию?

– Мне не было места среди людей. Если непостижимая милость господня указывает мне место превыше всех, то я займу его, исполненный благодарности за то, что мне дано право вязать и разрешать.

– Кардинал-пресвитер церкви Санкта Анастасия суб Палацио, – почтительно молвил Проб, вытягиваясь перед своим куда более рослым другом. – Отдай этому чаду господню ключ!

Тут Либерии уже не стал противиться.

– Et tibi dabo claves regni coelorum!^[145] – пробормотал он, опускаясь на колени и вручая богомольцу то, что вернула в хижину рыба. Скрюченными ручками Григориус прижал ключ к своей волосатой груди.

– Возлюбленные родители, – сказал он, – я вас разрешу.

Превращение

Они решили, что тот же, кто доставил сюда избранника, стало быть рыбарь, отнесет его теперь на руках к лодке. Спуск оказался необычайно труден, пожалуй еще труднее, чем подъем, но все четверо, сначала по голому камню, а затем по ступенькам лесенки, благополучно добрались до ладьи, где носитель ключа был осторожно опущен на бортовую скамью, после чего рыбак, довольный, что ему не придется вечно блуждать между скалой и мостками, изо всех сил налег на весла.

С мучительной тревогой взирал Либери на грешника с камня, и я сомневаюсь в том, что озабоченность Проба при виде сидевшего перед ним на скамейке папы значительно уступала озабоченности его друга-прелата. Его душа была также полна тайного страха за представительство, тем более, что он взял на себя большую ответственность и, по-христиански себя испытывая, задавался теперь вопросом, не вызвано ли его смелое поведение гордыней, то есть гордостью тем, что чудесные розы явились в видении только ему. Впрочем, я отлично вижу, что смущенье плывущих по озеру отражается и на лицах моих читателей. Один только я, рассказчик, знающий все наперед, совершенно невозмутим и спокоен, ибо мне-то известно, сколь простым и естественным образом, еще в пути, разрешилась эта дилемма, это противоречие между безобразной наружностью карлика и высоким саном, ему назначенным, так что не прошло и двух часов, как, к великому удовлетворению и успокоению римлян, с ними в лодке сидело уже не взъерошенное, окостеневшее и косматое дитя природы, а привлекательный, хорошо сложенный человек лет сорока, и даже длинные черные волосы и густая черная борода не могли уже скрыть благообразия его лица.

Как произошла эта перемена? Поистине, ничего не могло быть проще и вместе с тем непонятнее. После семнадцатилетнего пребывания у старой материнской груди земли достаточно было одного лишь прикосновения высшей пищи к губам Грегориуса, чтобы вновь приобщить питомца скалы к возмужавшему человечеству. Весьма вероятно, что сама природа заморыша к тому стремилась. «Мне хочется есть и пить», – сказал он, как только перевозчик взмахнул веслами, и, к стыду своему сообразив, что они от смущенья забыли даже его накормить, римляне уделили ему из имевшихся в лодке запасов вина и пшеничного хлеба. Он вкусил хлеба, испил вина, и в этот же миг началось то тихое, постепенное, неторопливое,

я бы сказал, неприметное превращенье, право же, вовсе не удивившее и не испугавшее его свидетелей, которое возвращает нам Григорса, воспитанника аббата «*Agonia Dei*» и победителя в бою с драконом, Григорса зрелой поры, так что нам остается лишь пожелать, чтобы бритва и ножницы поскорее убрали с его головы обильные космы и дали нам снова ясно увидеть знакомое лицо, строгое повторение пленительных черт Сибиллы и Вилигиса.

Так как он был гол, ему ласково подали привезенное платье, белую шерстяную ризу с короткой пелеринкой и священническую скуфейку. Итак, он был одет, когда они достигли берега и мостков, и он сел на мула с белой уздечкой, ожидавшего его вместе с мулами римлян под присмотром слуги. И он поехал по полуострову с людьми, которые его привезли, к хижине, где увядающая женщина упала перед ним на колени и, когда он спешился, оросила его ноги слезами.

– Вы были добры ко мне, женщина, – сказал он, склонившись над ней, – когда я посетил эту хижину в прошлый раз. Я не забыл, как вы побежали за мною в дождь, а поутру разбудили меня, дабы я не опоздал отправиться к своему месту.

– Ах, святой отец, – разрыдалась она, – я не заслуживаю вашей похвалы, ибо богу известен мой грех. Когда я в тот день защитила вас от грубостей рыбака, он упрекнул меня в том, что я полюбила вас плотской, похотливой любовью, и я отвергла это обвинение, отвергла притворно, как теперь признаюсь. Ибо я и в самом деле заглядывалась на ваше тело в нищенском рубище и на ваше благородное лицо, и если я, презренная, сделала для вас доброй дело, то только из вожделения!

– Это пустяк, – отвечал Григориус, – не стоит о нем и говорить. Редко бывает не прав тот, кто усматривает греховное начало в добром поступке, но бог милостив к добрым делам, если даже корень деяний сих – плоть.

Так он сказал. То был первый пример необычайной, столь утешительной для людей и ненавистой лишь ригористам снисходительности, которую он являл как папа.

Женщина была счастлива. Мне кажется, что, получив прощенье, она заключила, будто он разрешает ей любить его и теперь все еще несколько плотской любовью. А его одолевала только одна забота, покидавшая его за эти семнадцать лет на голой скале разве лишь во сне и более важная для него, чем все остальное, чем поездка в Рим, которую чужестранцы не хотели откладывать, чем стрижка бороды и волос, за которую готов был приняться их личный слуга. То было беспокойство за дощечку, в то утро, когда он поспешил вослед рыбаку, забытую на камышовый подстилке в

сарая, где он ночевал, и он настойчиво о ней спрашивал. Кто мог бы тут его утешить?

– Ах, святой отец, – молвил рыбак, – выполняя свое подлое обещанье, я приютил вас в ту ночь. Чулан, который я указал вам в своем ослепленье, еле держался. Он простоял всего лишь три месяца после того, как вы уехали со мною, а потом его опрокинул ветер, и он развалился. Крышу и стены я разобрал на дрова, и теперь там – взгляните сами – пустырь, где растут лишь крапива да сорняки. Можно ли через столько лет найти хоть какой-то обломок этой вещицы, что вы там когда-то забыли? Она давно истлела и смешалась с землей, не надейтесь ее отыскать!

– Вспомни, человек, – строго ответил ему Либерии, – что ты говорил совершенно то же самое, когда мы просили тебя отвезти нас к скале! Ты жалким образом утверждал, что мы там ничего и никого не найдем. И сколь же разительно уличил тебя господь в маловерии!

– Святой отец, – прибавил Проб, – потерял некую драгоценность. Дайте лопату и заступ! Мы сейчас будем копать землю ради него.

Однако Григор этому воспротивился.

– Орудия дайте мне! – приказал он. – А сами ступайте в хижину! Я буду копать один, мне не нужны свидетели.

– Осмелюсь заметить вашему святейшеству, – вмешался Либерии, – что это уронило бы достоинство церкви, если бы вы взяли за лопату и стали в поте лица своего копать землю. Даже нам, посланцам, такое занятие не подобает, это дело рыбака и нашего слуги.

– Діхі, я так сказал, – ответил Григорс, и воля его была исполнена. Засучив рукава ризы, он вонзал заступ в землю, на которой когда-то лежал, и, стоя на коленях, рылся в пыли собственными руками. Можно сказать, что никто на свете не искал более усердно свидетельства и удостоверения своей принадлежности к сословию грешников. Крапива жгла ему руки, но он не обращал на это внимания, и господь вознаградил его за труд, за пот и ожоги, ибо вдруг среди сора и гнили что-то сверкнуло, и он вытащил чистое и целехонькое, словно только что вышедшее из-под руки мастера, так что и чернила даже не потускнели, вено подкидыша, повинную его матери, хранившуюся в земле столько же времени, сколько дотеле у верного друга, аббата, – то есть ровно семнадцать лет.

И вот, держа ее в одной руке, а в другой руке ключ, он про себя произнес:

Мне теперь мои печали
Просветленными предстали,

И дивлюсь я, сам не свой,
Той алхимии святой,
Что и плоть, и боль, и стыд
В дух чистейший претворит,
И наперсника порока
Вознесет к тебе высоко.
Господи, вся скорбь земная
Пусть войдет в ворота рая.

Величайший папа

Звон, перезвон колоколов *surra urbem*, надо всем городом, в струящемся над ним воздухе, пересыщенном гудящими звуками! Кто звонит в колокола? Никто – токмо дух повествования, возвещающий вам, что уже за три дня до прибытия избранника все они сами собой стали звонить и не умолкали до тех пор, пока не окончился обряд посвящения перед собором Святого Петра. При всей его дивной красоте, это историческое событие было вовсе не так уж приятно для *populatio urbis*^[146]. Три дня и три ночи не удавалось остановить колокола Рима, они звонили все разом, с величайшей силой и повсеместно, и выдержать этот непрерывный, чудовищный шум и гам людям было не так-то легко; это духу повествования совершенно ясно. То было некое священное испытание и бедствие, о прекращении коего слезно молили небо слабые души. Однако небо, как я полагаю, было настроено слишком торжественно, чтобы внимать столь ничтожным жалобам: ведь оно возводило на *sedes Petri*^[147] незаконного сына, мужа собственной матери, зятя собственного деда, свояка собственного отца, многогрешного брата собственных детей и было, как я понимаю, настолько взволнованно и удивлено непостижимостью своего деяния, что сия взволнованность небес вылилась в самопроизвольно-могучее громохание всей колокольной меди семи епархий. Но из такого великого неудобства, вызвавшего усиленный спрос на вату, а стало быть и повышение цен на означенный товар, намеренно придерживаемый торговцами, *populatio* могла заключить, что приближается папа необычайной святости.

Он ехал по христианским землям на белом муле, мужественно красивый, облагороженный бородой, и ежедневно росло число людей, его окружавших, ибо многие сановники церкви, графы и просто охваченные страстью к паломничеству миряне, возжелавшие присутствовать на церемонии венчанья святейшего, присоединялись к нему по пути. Молва о великом грешнике, прожившем семнадцать лет на голой скале и ныне удостоенном, с изволения божья, престола престолов, опережала Грегориуса, и везде на дорогах лежали больные и немощные, в надежде выздороветь от его прикосновения или даже только от его слова и взгляда. История знает, что многие действительно избавились тогда от страданий – иные, вероятно, через блаженную смерть, если они, будучи уже слишком немощны, поднялись со своих постелей и улеглись на дороге. Иные,

однако, дотронувшись до края его одежды или хотя бы издали принявши его благословение, бросали прочь костыли и повязки и с хвалой на устах заявляли, что никогда еще не чувствовали себя лучше.

Достославный Рим встретил избранника ликованием – в частности (и по-человечески это можно понять) потому, что теперь, когда он наконец прибыл, появилась надежда на скорое умиротворение неукротимых колоколов. Он приближался к городу, как мне известно, по Номентской дороге, на четырнадцатой миле которой находится епископская резиденция Номент. Туда, навстречу ему, уже отнесли кресты и хоругви римских базилик, и люди всех званий, и клир, и дворянство, и цехи горожан со своими знаменами, и отряды военных, и школьники, с пальмовыми и масличными ветвями в руках, выстроились там для великого сретенья. С их торжественным пением сливался далекий металлический звон, которому, без человеческого вмешательства, вторил номентский колокол. Избраннику сообщили об этом чуде, и он от души порадовался такой чести. Уже смеркалось, а потому он переночевал во дворце епископа и лишь наутро вместе с бесконечно растянувшейся процессией под немолчные песнопения торжественно вступил в священный город. Как значится в летописи, он не прошел через Номентские ворота, а проследовал вдоль стен к Мульвиеву мосту, чтобы таким образом выйти к апостольскому собору. И из тысячи широко разинутых ртов устремился к небесам хвалебный тропарь:

Ликуйте, все края земли,
Рим, Иудея, Греция,
Фракийцы, скифы, персы, египтяне,
Единый царь над нами!

Это он, найденыш аббата, питомец камня, был поставлен царем надо всей пестротой печалей земных, это его, когда он, на глазах несметной толпы, запрудившей украшенную фонтаном площадь перед святилищем, поднимался по широкой мраморной лестнице в атриум усыпальницы, встречали священники величальным напевом: «Benedictus qui venit in nomine Domini!»^[148] Перед всем народом, на площадке у входа в колоннаду парадиза, архидиакон водрузил ему на голову тройной венец тиары, накинул ему на плечи паллиум, вручил ему пасторский жезл и надел ему на палец папский перстень. Утверждают, что в этот миг или уже при вступлении избранника в город бронзовые статуи апостолов Павла и Петра,

стоявшие на пьедесталах, радостно подняли вверх свои регалии, одна – меч земли, другая – ключи неба. Не знаю, насколько справедливо это утверждение. Я не стану его опровергать, но и никого не заставлю верить ему. Что же касается Григориуса, то его облачили во множество одежд: в белую шелковую фальду, в альбу из полотна и кружев с золоченой набедренной тесьмой, в несколько хитонов, строченных золотыми и красными нитками, затем в три ризы, одна на другую, не считая столы, манипула и кушака златотканого белого шелка. На ноги ему натянули папские чулки, настолько толстые и негибкие из-за золотого шитья, что они так же тяжелы, как башмаки, вокруг шеи ему повесили золотое вервие со сверкающим первосвященническим крестом, после чего папский перстень надели на шелковую перчатку и наконец, поверх всех девяти облачений, нарядили его в самое тяжеловесное, в длинную со шлейфом мантию цвета утренней зари и золотого заката, не сминавшуюся из-за драгоценной вышивки. Затем его посадили в золотой паланкин, и юноши в скарлатах понесли его вокруг всей базилики, пол которой, до последней языческой мраморной плитки, заполнили верующие: будь то под высоким потолком широкого и длинного среднего нефа, где слепятся глаза от сусального блеска апсиды^[149], или же в двух боковых портиках, поровну распределивших между собой тяжесть кровли.

Они отнесли его к главному алтарю над гробницей, и он отслужил здесь свою венчальную мессу – весьма умело, ибо еще в детстве перенял все необходимые приемы у своего названного отца в монастыре «Мука господня». Вокруг папы, сверкая, как звезды, сидели епископы и архиепископы; были здесь и другие важные лица, аббаты и *judices*^[150]. Затем, под все еще не смолкавший колокольный звон, его понесли вокруг площади Святого Петра, а потом старинной дорогой, на холм, и с холма, через триумфальные арки императоров Феодосия, Валентиниана, Грациана, Тита и Веспасиана и через квартал Парионе, где у дворца префекта Хромация стояли и, качая головами, славили папу евреи, по Священной дороге, мимо Колизея, к его резиденции – Латерану.

Слушайте же, что было дальше. Едва он прибыл в свой дом и в благотворной тишине, наступившей теперь, когда колокола наконец угомонились, снял с себя многочисленные наряды, как он уже начал править христианским миром, пасти стадо народов и пресуществлять во благо всю пестроту печалей земных. Григорий-столпник очень скоро показал себя величайшим папой, совершающим подвиги, равные тем, которые, если судить по изображениям на подстолпиях некоторых колонн,

взятых для римских церквей из каких-то других зданий, приписывались полубогу Гераклу. Я не знаю, за что его преимущественно хвалить: за то ли, что он позаботился о необходимом усилении Аврелиевых стен, заново укрепил город Радикофани и еще один, под названием Орте, построил множество церквей, мостов, площадей, монастырей, больниц и приют для найденышей, выложил атриум собора Святого Петра мраморными плитками и украсил фонтан перед ним часовней с колоннами из порфира? Но то была ничтожная часть его деяний. Ибо цепкой своею рукой он не только сохранял для Святого Престола земельные владения или учреждал таковые даже в Сардинии, в Коттиевых Альпах, в Калабрии и Сицилии, но также подчинял ему потентатов и строптивых баронов равнины, заставив их, кого уговорами, а кого и более сильными средствами отказаться от своих замков и управлять ими лишь на правах ленников церкви, так что независимые князья становились теперь вассалами и *homines Petri*^[151].

Но разве этим исчерпывались его деяния? Отнюдь нет. Воля его была настолько тверда, что он с беспощадной суровостью расправился с манихейцами, присциллианцами и пелагианцами^[152], а также с монофизитской ересью^[153], подчинил примату Святого Петра непокорных епископов Иллирии и Галлии и принял против прелатов, взимавших деньги за посвящение в духовное званье, такие меры, что на некоторое время этот порок почти бесследно исчез с лица земли.

Я говорю здесь о его силе, а между тем своей славой он был обязан прежде всего другим своим качествам – кротости и смирению. Он первым отделил честь и святость духовного сана от достоинств и недостатков его носителя и проклял *ex cathedra*^[154] чрезмерно строгих африканских донатистов^[155], которые, подобно неистовому Тертуллиану^[156], признавали право на званье священника только за теми, у кого незапятнанно чистые руки. Ибо он заявил, что достойных нет и что он сам, по вине плоти, наименее достоин своего сана, до коего возвысился только благодаря граничащему с произволом избранию. Хоть его заявление и пришлось на руку некоторым лукавым козлицам в господнем вертограде, для церкви оно оказалось весьма полезным и мудрым, так как заранее защищало его высокий сан от всяких поношений, на какие только не способна слабость человеческая.

Его терпимость и милосердие были равны непоколебимости, которую он при нужде проявлял; его, я бы сказал, дерзкая манера побуждать божество к милосердию, даже в тех случаях, когда таковое из собственных побуждений едва ли к нему склонялось, снискала уважение во всем

христианском мире. Не кто иной, как он, например, вызволил из ада императора Траяна, лишь потому, что тот однажды без долгих размышлений удовлетворил законные притязанья некоей вдовицы, у которой убили единственного сына. Это вызвало кой у кого даже недовольство папой, и молва утверждала, будто господь уведомил его, чтобы он, хоть ему единожды и удалось причислить язычника к сонму блаженных, впредь уже не осмеливался обращаться к богу с подобными просьбами.

Как бы то ни было, в течение всей своей жизни Грегор больше стремился разрешать, чем вязать, и отсюда-то и вытекали выносимые им решения и приговоры, поначалу часто удивлявшие и тревожившие не только народ, но и самую церковь, однако в конце концов всегда вызывавшие восхищение. Так, например, он установил великие вольности в просвещении далеких и диких стран. Там, где еще сохранялись языческие храмы, ведено было не разрушать их, а лишь очищать от идолов и окроплять святою водою, чтобы дикари молились там же, где прежде, но только в духе просвещения. Собор Святого Петра, объяснял Грегор, целиком построен, как всем известно, из кирпичей цирка мерзостного императора Калигулы и, стало быть, состоит сплошь из стыда и срама, освящен же он токмо гробницей первоапостола и духом, коим проникнуты возносимые там молитвы. Все дело в духе. Если прежде, принося жертвы демонам, дикари учиняли закланья быков, то пусть они и теперь закалывают их и съедают, но только во славу единого бога.

Какие только вопросы перед ним не вставали! И на все он отвечал достопамятным образом. Его спрашивали, вправе ли больные, не откупаясь подаяниями, потреблять мясо во время поста. Вправе, гласил ответ: иногда необходимость бывает важнее закона... Его спрашивали, дозволено ли внебрачному сыну стать епископом. Да, отвечал он, дозволено. Хотя, как известно всякому, кто изучал *legem*, каноническое право и запрещает это, однако, если незаконнорожденный – человек праведный, благочестивый, и к тому же обладает цепкой рукой, и если обстоятельства этого требуют, а избиратели единодушны, то такое исключение пойдет лишь на пользу правилу... Некий монах в Женеве пристрастился к хирургии и резал направо и налево. Одной крестьянке он вырезал зуб и предписал ей лежать в постели. А она вместо этого пошла работать и умерла. Вправе ли он теперь нести свою службу священника? Да, отвечал Грегор. Конечно, церковник, подвизающийся в таком ремесле, не заслуживает полного одобрения, однако он действовал не из корысти, а из человеколюбия, из усердия к своему искусству и отвращения к зубу; к тому же он не виноват,

что его указания, свидетельствующие о должной осмотрительности во врачебных делах, не были соблюдены. А посему пусть он по-прежнему отправляет богослужение, предварительно наложив на себя небольшую епитимью... Много шуму наделал случай с обращенными в христианскую веру мусульманами из страны Ханаан, которые простодушно пришли к купели вместе со своими четырьмя женами, каждый с четырьмя, да еще с их детьми. Могли ли они, во имя бога, стать христианами? Этот вопрос стоил папе, как утверждал его камердинер, бессонной ночи. Но в конце концов Грегориус осенила мысль, что Авраам и другие патриархи жили на глазах у Иеговы совершенно так же, как эти турки. Он встал с постели и продиктовал писцу ответ; «Даже в евангелии, не говоря уж о книгах Ветхого завета, нет ни одного слова, категорически запрещающего многоженство. Так как язычникам, по законам их культа, положено иметь многих жен, то, значит, и приняв христианскую веру, они вольны брать пример с патриархов. Было бы неумно без нужды осложнять обращение неизбежными человеческими раздорами, обязавши мусульман взять с собою в новую жизнь лишь по одной из жен, а остальных, вместе с их невинными чадами, толкнуть назад, во мрак заблужденья, отчего церковь лишилась бы многих душ. Пусть веропроповедники христианства и впредь руководствуются сим указанием. Дано в Риме, поутру, в Латеране. Грегориус, Р.М.т.р.»^[157]

Сколько это вызвало толков! Они дошли даже до финикийцев и скифов. Если бы не его строгость к симонианцам, еретикам и непокорным оспаривателям примата, его обвинили бы в нерадивости. Впрочем, он дал еще один повод к таким нападкам, установив, что крещение, принятое однажды во имя Христово, навсегда сохраняет свою силу и что, стало быть, возвращающиеся в лоно церкви еретики не нуждаются в повторном крещении. Это вызвало великое недовольство у многих африканских и азиатских епископов. Он не принял послов из Карфагена, явившихся в Рим, чтобы обвинить папу в злоупотреблении властью, и даже пригрозил отлучением особенно упорствовавшему в этом вопросе примасу^[158] Африки. Дело, наверно, дошло бы до раскола, если бы Грегор, словно Моисей перед фараоном, именно тогда не сотворил великого чуда, неложно доказавшего, что бог на его стороне. Одним прикосновением десницы он сочленил воедино цепи Петра, иерусалимскую и римскую, так что образовалась одна цепь из тридцати восьми звеньев. Отсюда и происходит праздник поклонения Петровым веригам, каковой не мог же завестись ни с того ни с сего и, следовательно, подтверждает подлинность описанного

чуда.

Этим Грегор пресек или предотвратил немало разговоров о его нерадивости. И все же нашлись люди, утверждавшие, будто папа прощает столь непростительные грехи, как супружеская измена и блудодейство. Но то была ложь. Таким лжецам он назначал уже довольно тяжкие епитимьи, однако не слишком тяжкие: слишком тяжких он не любил и всегда им противился. Он сам прошел через самую жестокую епитимью и был превращен богом в чешуйчатое, шерстистое, крошечное существо, в питомца земли, но он неизменно внушал всем исповедателям и судьям церковным, что муки грешника, познавшего сладость раскаянья, надлежит облегчать мягкостью наказания. Рука закона мозолиста и тяжела, а плоть человеческая требует крепкой, но мягкой руки. Кто слишком ревностно преследует грешника, рискует сотворить не добро, а зло. Ибо если на человека наложить слишком суровую кару, он может сломиться, ожесточиться и снова от господя отступиться, испорченный дьяволом, каковому, раскаявшись в своем покаянии, он тем ретивее станет служить. Поэтому самая мудрая политика состоит в том, чтобы милость была важнее закона, ибо она создает в церковной жизни ту верную меру вещей, благодаря коей согрешивший обретает спасение, а праведник остается праведником, дабы мощно возростала слава господня и римской церкви.

Кого бы не обрадовало такое ученье? Оно радовало всех, кроме некоторых ригористов, но и этих сковывал великий авторитет папы. К тому же папа был очень хорош собою, красавец, какими, неизвестно отчего, часто бывают дети греха.

«Кого любят, тех и слушаются», – гласит поговорка. А его любили, любили даже в Персии и Фракии, потому-то его и слушались. За его удивительные ответы его прозвали «Оракул апостольский»; а за мягкость его – «Doctor mellifluus», что значит «Медоточащий наставник».

Пенкгарт

У его матери, его тетки и жены было только одно тело, и оно теперь состарилось, ослабело, поблекло, ибо все это время она пребывала в трудах и раскаянье и неизменно пила воду смирения. То, что возложил на нее, покидая родную страну и отправляясь на богомолье, ее в блуде прижитый сын, она, не щадя ни плоти своей, ни денег, с упованием в сердце выполняла из года в год, более двадцати лет подряд, а ведь когда они расстались, ей было уже тридцать восемь лет.

В ту пору он был еще весьма юн, а оказись он тогда в более зрелом возрасте, он, наверно, обошелся бы с нею мягче, особенно если бы предвидел, что Веримбальд, ее дальний родственник, ставший после его ухода герцогом Фландрии-Артуа, грубо воспользуется одиночеством Сибиллы, ее отрешением от земных благ, ее желанием пить воду смирения и скаречно сократит выводное вдовы, так что приют, построенный ею на большой дороге, у подножья замка, был очень беден и представлял собою лачугу, где она не имела даже отдельной постели. Спала она среди калек и больных, подобранных ею на большой дороге или постучавшихся в ее дверь, каковых – серый ангел – она укладывала в постель и кормила кашицей и сливками.

Здесь, на соломенном тюфяке, она и разрешилась второй своей дочерью, каковую, подобно первой, Герраде, можно было также назвать ее внучкой. При родах ей помогала некая женщина, сама уже на сносях, греховно зачавшая от одного бродячего скомороха, с которым и застал ее муж, а через три дня, когда самой повитухе, изгнанной из дому навозными вилами, тоже пришло время родить, Сибилла поднялась, чтобы, в свою очередь, ей помочь, и приняла у нее мальчика. Гудула – так звали эту грешницу – осталась при ней и помогала ей ублажать хворых, омывая их раны, купать их и одевать. Подросши, ей стали помогать и дочери, обе в таких же серых платьях: сначала Геррада, белая и румяная, которая теперь именовалась Стультиция, так как при крещении ее нарекли слишком гордым именем, да и вообще окрестили лишь по ошибке, а затем и вторая, названная без крещенья Гумилитас, по-южному смугло-бледная, с иссиня-черными глазами, очень похожая на своего дедушку-дядю Вилигиса, а стало быть, также на своего отца и брата, отчего Сибилла обращалась с нею значительно строже, чем со Стультицией, внешность которой не напоминала об этом родстве.

Что же касается сына Гудулы и скомороха, то он при крещении получил имя Пенкгарт и носил его с честью, ибо, с детства сметливый, работающий, в приюте работник он был настоящий, на все руки мастер – и столяр, и свечник, и сапожник, и печник, к тому же пчеловод, огородник и такой плотник, что пристроил к домику множество новых сараев и навесов, чтобы хозяйка могла принять больше страждущих, отделить прокаженных и спать с дочерьми отдельно. Мало того, Пенкгарт-бастард умудрился чудеснейшим образом украсить внутренние стены странноприимных покоев. Ибо сызмальства приохотился, впрочем, не так, чтобы уж очень сильно, не больше, чем ко всяким иным поделкам, рисовать где попало углем, аспидом и графитом, а вскоре и красками. Он растирал их и разводил водою, белком и медом и изображал ими зверей и людей, а также высшие существа, апостолов, ангелов, с превеликим сходством и в самых натуральных цветах. В этом он весьма преуспел, и когда семнадцати лет пристроил к приюту новые помещенья, – рослый парень, чернявый, с узким лицом и длинными, свисающими с висков, как бакенбарды, волосами, – он покрыл все стены известковым раствором и с помощью кисточки намалевал на них акварельными красками поразительнейшие вещи: епископа в лучезарном венце, истекающего кровью под бичами воинов; Давида, с невозмутимым лицом приносящего домой, держа ее за вихор, голову Голиафа; господа нашего Иисуса Христа, принимающего крещение в реке Иордани и искушаемого хвостатым сатаной, возжелавшим, чтобы спаситель спрыгнул с церковной крыши. Покончив с этим, он снова принялся выращивать капусту и сапожничать и не обращал никакого внимания на то, что кавалеры и дамы из замка, преодолевая свое отвращение к гною болящих, то и дело приходят в приют, чтобы поглядеть на его, Пенкгарта, искусство. Герцог Веримбальд, однако, не приходил, почему что прослышал, будто военачальнику, под чьим наблюдением истязают святого епископа, Пенкгарт придал неумолимое сходство с ним, герцогом Фландрии-Артуа.

Сибиллу этим любопытным тоже не удавалось увидеть, хотя они и искали ее глазами, и неспроста, ибо Гримальдова дочь, которая никого не считала ровней себе, кроме своего столь же благородного, как она, брата, даже в преклонных летах, даже во вретнице, отличалась поистине царственной, хотя и поблекшей уже красотой. Поблекли, собственно, ее щеки, да еще обозначились две отвесных морщинки между бровями, но ни годы, ни тяготевшие над нею смертные грехи, ни то, что она непрестанно склонялась над постелями хворых и над купальной лоханью, – ничто ее не согнуло. Она была так же стройна и величественна, как в тот памятный

день, когда Григорс впервые приблизился к ней в соборе многострадального Брюжа, и по-прежнему гордой оставалась ее походка, ибо благородство тела удивительным образом утверждает себя вопреки тяготам изнуренной христианским покаяньем души. Насколько посеребрились или побелели ее волосы, не было видно из-за головной повязки, скрывавшей ее лоб. Но горькие слезы, в раскаянье пролитые Сибиллой, страшившейся своего усугубленного смертного греха, не смогли и за столько лет погубить необычайную красоту ее точеного смуглого лица, с бледноватой щербинкой у самой повязки, эту обаятельную прелесть, которую я и не тщусь вторично описывать, потому что я не Пенкгарт и рисовать не умею, но которая, увы, для них всех, для брата и сестры, для сына и матери, была столь единственным взаимным соблазном.

Теперь, на старости лет, этой красой, пусть поблекшей, обладала, как думали, только Сибилла, несчастная грешница: ибо Вилигис погиб, а Григорс последовал примеру отца и, наверно, тоже погиб, хотя ей, матери, и не доставили его трупа! Но если прекрасный Вилигис принял смерть и сошел в могилу из-за своей нежности, то Григорс, ее второй супруг, конечно, пал жертвой своей гордой и юной мужественности, ибо мальчик, несомненно, переусердствовал в раскаянье, не берег себя и дал изрубить свое дивное тело, делившее с ней брачные радости, кривым кинжалом в Святой земле. Спас ли он этим душу свою от адского пламени? А Вилигис свою? Кто мог бы дать ей ответ на такие вопросы? Или хотя бы на вопрос, как обстоит дело с ее собственной душой, покрытой смертными грехами, словно гноящимися ранами, и есть ли у нее, даже если она не устанет пить воду смирения, хоть малейшая надежда узреть всевышнего? В часы, когда она не омывала больных, она много плакала и, не вставая с колен, со страхом молилась за всех троих, сокрушаясь об ужасном союзе, их связавшем.

И вот, когда ей было шестьдесят лет, она услышала, что в Риме появился величайший папа по имени Грегориус, утешитель грешников и благой врачеватель душевных ран, не имеющий себе равных среди всех, кто владел апостольским ключом, наместник Христа, гораздо более склонный разрешать, чем вязать. Да и как могла она не услышать о нем? О нем слышал весь мир, весь orbis terrarum christianus^[159], и мне всегда кажется, будто он как раз к тому и стремился, чтобы вместе с orbis'ом услышала о нем и она. Уж не затем ли он и стал таким великим папой, чтобы его слава дошла до всех, а значит, и до нее? Ведь и столь хорошим герцогом он был потому, что желал им быть только ради нее, которую сам же обманывал. Нужно только пожелать чего-то сильнее, чем остальные,

чтобы снискать славу у человечества.

Так, стало быть, в ней и созрело решение отправиться на закате дней своих в Рим, к святому папе, и поведать ему, на чье участие можно было рассчитывать, всю эту историю крайней и хитросплетенной греховности, сосредоточившейся вокруг нее, чтобы добиться от него хотя бы совета и утешения. Она сказала об этом Гудуле, своей помощнице.

– Гудула, – сказала она, – меня осенило – а молитвы укрепили меня в моем намеренье – пойти к этому великому папе и открыть ему все неслыханные обстоятельства моей жизни. Он, наверно, никогда еще не встречал такого избытка греховности, и ему надлежит об этом узнать. Один только он способен сравнить сей избыток с избытком божьего милосердия и определить, перекрывается ли оно моими грехами, или же, будучи столь же избыточным, сможет уравновесить их страшную тяжесть. Ничего наперед не скажешь. Возможно, что папа, воздевши длани горе, предаст меня анафеме и препоручит огню геенны. Ну что ж, тогда все кончено, и я буду это знать. Возможно, однако, что я обрету покой благодаря этой исповеди – покой на земле и пусть хоть ничтожную толику блаженства в загробной жизни – и для себя, и для тех, кого я люблю и любила.

Гудула слушала ее, качая головой и спрятав руки в рукавах серого платья.

– Я возьму с собой также Стультицию и Гумилитас, – продолжала Сибилла, – и покажу ему злосчастно-невинные плоды моего смертного греха, и, может быть, он разрешит христианское крещение бедной Гумилитас – вопреки мужественному запрету ее отца Григорса. Ведь говорят, что папа Григорий щедр на крещение и сподобил его даже многоженцев-мусульман со всеми их женами и чадами. Тебя же, согласно созревшей во мне воле, я оставляю на это время главою приюта, чтобы ты распорядилась здесь по своему усмотрению, покуда я не вернусь, то ли с клеймом проклятья, то ли спасенная.

– Милая госпожа, – отвечала Гудула, – лучше бы вы взяли меня с собой, чтобы и я повинилась перед его святейшеством в прелюбодеянии со скоморохом и чтобы папа взвесил этот старинный грех на весах милосердия божья.

– Ах, Тулула, – отвечала ей Сибилла, – папа улыбнулся бы, услышав твою исповедь, и посмеялся бы над причиной, приведшей тебя к престолу Петра! Ведь эта история со скоморохом – сущий пустяк, к тому же, по моему, она давно искуплена, и твой сынок Пенкгарт – чудесный мальчик. Пусть он будет моим письмоношцем, когда я напишу письмо в Рим. Я теперь не княгиня, и мне уже не подобает писать папе самолично. Но я

была княгиней и знаю порядки. Я напишу номенкулатору его святейшества, это, да будет тебе известно, его *conseiller*^[160] в делах милосердия, заступник сирот и вдов и всех притесненных, к которому и обращаются, когда нужно о чем-нибудь попросить папу. Я напишу ему, что являюсь средоточием невообразимо греховной истории. Старица, напишу я, принадлежит к высокому роду, но уже давно живет в покаянии и молит о том, чтобы ей милостиво дозволили упасть к ногам отца христианства и лично поведать ему все ужасы своей жизни; выслушать их очень страшно и очень тяжело; нужно быть человеком недюжинной твердости, чтобы выдержать мою исповедь и поверить, что ее может выдержать господь. Вот как я напишу, чтобы вызвать любопытство номенкулатора и папы. На что бы мы, женщины, и годились, если бы не умели проявить должную хитрость и при такой okazji? Словом, у меня письмо уже готово, мне нужно только перенести его на пергамент, а Пенкгарт отвезет его в Рим. Твоего же дела я коснусь как бы невзначай, когда папа согласится меня принять. С ним-то он наверняка справится, ибо, право же, по сравнению с моим грехом все это смехотворно...

– Где же Пенкгарт? – сказала она Гудуле через несколько месяцев. – Хотя из-за великого моего нетерпенья время тянется для меня медленней, чем оно течет в действительности, но все-таки, по моим расчетам, твоему сыну как раз пора бы вернуться. Будь то с благоприятным ответом или с отказом, но возвратиться он должен. Мое нетерпенье, Гудула, уже готово перерасти в тревогу, не за себя, впрочем, а за него и за тебя. Ибо как посмотрю я тебе в глаза, если с ним что-либо стряслось по дороге и мы больше никогда о нем не услышим, если он, не дай бог, убит разбойниками или свалился в пропасть? Это было бы для меня страшнее, чем если бы он принес мне отказ.

– Не печальтесь, госпожа, и наберитесь терпенья, – утешала ее Гудула, пряча руки в рукавах серого платья. – Мой Пенкгарт не пропадет.

И правда, все дело было лишь в том, что в Риме Пенкгарт завел знакомство с некоторыми молодыми людьми, которые тоже рисовали и писали красками. Он подружился с ними, и они повели его к своему учителю, у которого растирали краски и брали уроки живописи, и тот, посмотрев рисунки Пенкгарта, похвалил его и дал ему кое-какие советы, из-за чего юноша, при всей своей честности, замешкался в городе, хотя у него в кармане уже лежало полученное от номенкулатора согласие папы. Он неохотно расстался с Римом, с новыми приятелями и их учителем и потому очень обрадовался, что Сибилла, когда он, извиняясь за промедление, вручил ей благоприятный ответ, попросила его снова, на этот

раз вместе с нею, Стультицией и Гумилитас, отправиться в Рим, дабы помочь им в пути своим опытом. Он выполнил это ее порученье с великой осмотрительностью, ловкостью и заботой, и благополучно, не дав им нигде споткнуться о камень, провел мать и ее дочерей через уже знакомые ему дали и печали, через дебри и мирные нивы, в столицу столиц, к номенкулатору, и тот предоставил им кров и стол в женском монастыре Сергия и Вакха, вблизи Латеранского дворца, и назвал исповеднице день и час, – а он пришелся как раз на следующее утро, – когда ее выслушает папа, наедине, в отдаленнейшем из своих покоев.

Аудиенция

Их ласково встретили монахини, а на следующий день перед назначенным часом, вскоре после заутрени, кубикуларий, или иначе спальник папы, отвел паломниц из монастыря во дворец; в первом же зале он передал их протоскриниарию, который перепоручил их вестиарию, а затем их принял вице-доминус, препроводивший их к примицерии дефенсоров – так и продвигались они от зала к залу. Они прошли через много рук и миновали десять каменных зал, предшествовавших отдаленнейшему покою и охраняемых палатинскими алебардирами, дворянами-гвардейцами, привратниками и качалочниками в красных одеждах. В самом большом зале, где стоял трон, посетительниц сопровождали два почетных постельничих, которые в дверях передали их двум тайным постельничим. Затем паломницы вошли в седьмой зал, в Тайные Сени, и Стультиция с Гумилитас остались здесь под охраною двух тайных капелланов. Сибилла же последовала дальше, ведомая неким старцем, куропалатом, ибо Тайные Сени отнюдь еще не примыкали к отдаленнейшему кабинету! За ними шел еще один зал, а за ним еще один, причем оба служили только для того, чтобы создать лишнее расстояние, а за вторым небольшая, опять-таки с треном, зальца, служившая тоже только для расстояния. В ней, однако, имелась дубовая дверь с мраморным папским гербом наверху, справа и слева от которой стояли одетые в пурпур стражи. Куропалат кивнул им, и они распахнули обе створки. Старец отступил назад, а Сибилла прошла через дверь и оказалась в отдаленнейшем кабинете.

Отец христианства, на вид сорокадвухлетний человек (кстати сказать, я верно определил его возраст, ибо он правил уже пять лет), сидел в красно-золотом кресле за большим, обитым красной кожей столом, заполненным свитками бумаги и письменными принадлежностями. Он сидел боком к вошедшей, которая уже у дверей сделала первый реверанс, и сразу же повернул к ней голову в бархатной, с горностаевой оторочкой скуфье, прикрывавшей затылок и кончики ушей – великолепном головном уборе папы! И еще мне очень нравится плотная, той же выделки мантия, накинутая на плечи поверх белой далматики и выглядывавшая из-под расшитого крестами паллиума. Строги были черты безбородого, окаймленного скуфьею лица избранника: скулы его вырисовывались настолько ясно и сильно, что казалось, будто он сжал челюсти, чтобы их

выпятить, и как-то особенно строго, чуть выдаваясь вперед, покоилась его верхняя губа на нижней. Однако, увидев покаяницу, темные глаза его блеснули слезами, хотя и не утратили твердости взгляда, а ведь это редкостное и прекрасное умение – твердо глядеть сквозь слезы.

Она этого не заметила, потому что глаза ее были благочестиво потуплены, когда она приближалась к нему с тремя реверансами и, приблизившись, упала к его ногам. Движением руки, едва ли не слишком поспешным для его сана, он велел ей подняться, не дал ей поцеловать свою сафьяновую, с изображением креста, туфлю и вместо этого протянул ей перстень для поцелуя. Затем он указал на молитвенную, обитую красным бархатом скамеечку рядом со своим креслом; для рук имелась особая подпорка с подушками. С этого места Сибилла подняла глаза на наместника божия и благоговейно взглянула ему в лицо. Старая женщина! Она забыла, что, когда смотрят, нужно моргать глазами, забыла, что нужно шевелить веками, она не стала, поймите меня правильно, мигать ресницами, а от этого взгляд не застывает, а, наоборот, очень скоро расплывается, скользит по предмету и, уже не воспринимая его, убегает в неопределенную даль. И поэтому Сибилла закрыла глаза, слегка провела кончиками пальцев по лбу и затем опустила взор на свои руки, смиренно сложенные.

– Дщерь наша, почтенная женщина! – сдерживая голос, заговорил исповедатель, – вы проделали долгое путешествие к нам из вашей далекой страны, владычицей которой вы, как нам известно, некогда были. Велико, видимо, ваше желание открыть нам свою душу и облегчить ее в нашем присутствии. Этот час настал. Папа слушает.

– Да, святой отец, – отвечала Сибилла, – этот час настал благодаря вашему милосердию, о котором, однако, я знаю, что оно кратковременно и позволит вам всего только меня выслушать, ибо, как будет обстоять дело с милосердием, и вашим, и божьим, когда вы меня выслушаете, – мне страшно и думать.

– Папа слушает, – повторил он, чуть приближая полуприкрытое скуфьей ухо к ее устам.

– Да поможет мне бог приступить к рассказу, – прошептала она. – Святой отец, согласно некоему повелению, я содержу принят для человеческого отребья с большой дороги, и верной помощницей в этом деле служит мне одна женщина по имени Гудула, великая грешница. Двадцать лет назад она совсем потеряла голову из-за одного бродячего скомороха и была застигнута на месте преступления мужем, который, в справедливом гневе, прогнал ее со двора каким-то крестьянским орудием.

Тогда она пришла ко мне и, соединив свое покаянье с моим, попросила меня исхлопотать ей у вас отпущенье греха, и если я на это отваживаюсь, то лишь потому, что мне кажется, будто господь склонен ее простить. Ибо он благословил ее сыном от скомороха, Пенкгартом, чудесным юношей, лучшим, надо думать, чем если б он был от законного мужа. Это мастер на все руки; он пишет красками, и до того отменно, что я хочу спросить вас, святой отец, нельзя ли его пристроить при вашем дворе, чтобы он расписывал ваши покои и часовни богу во славу и вам в благодарность за отпущенье греха его матери.

– Женщина, – сказал Грегор и отстранил от нее свое ухо, – неужели вы затем проделали свое путешествие, чтобы явиться к нам с подобной безделицей? Ибо, судя по тому, что вы написали нашему номенклатору, все, что произошло между этой женщиной и скоморохом, сущая безделица по сравнению с грехами, которые выпали на вашу долю.

– Увы, это верно, святой отец, – согласилась она. – И я втайне боялась, что вы по ошибке похвалите меня за то, что заботу о собственном душеспасеньи я несвоекорыстно оттесняю заботой о душеспасении грешной сестры и не только прошу за нее, прежде чем за себя, но еще и ходатайствую об устройстве ее искусного в ремеслах незаконного сына. Такое толкование моего поведения тоже возможно, но вы по праву его отвергли. Не из бескорыстия заговорила я сперва о Гудуле, нет, я начала с ее истории только затем, чтобы выиграть время, потому что никак не решусь приступить к своей собственной и смутить ваш слух ужасающей исповедью.

– Это ухо и это сердце не дрогнут, – отвечал он. – Говорите не обинуясь! Папа слушает.

И она, то ломая на подушке прекрасные худые руки, то запинаясь, то всхлипывая, шепотом рассказала ему все-все, всю эту необычайную историю, как я вам ее рассказал, за исключением двух семнадцатилетий, – на норманском острове и на камне, – о которых она ничего не знала. Она говорила о своем милом брате, о том, как они только друг в друге видели себе ровню, о рыцарственной приверженности к ней герцога Гримальда и о том, как ночью, когда старый рыцарь лежал бездыханный, вокруг башни жалобно кричали совы и потолок оглашался воем верного пса Ханегифа, а они, как злодеи, в кровавом упоении своим двуединством, все-таки сотворили черное дело. Как они продолжали грешить и как сестра с омерзением поняла, что понесла от брата. О господине Эйзенгрейне и суровой доброте его предписаний. Об уходе и гибели нежного Вилигиса. Об ее родах в приморском замке под опекой госпожи Эйзенгрейн и о том,

как у нее отняли прекрасного младенца и положили его в бочонок, так что она едва успела хоть как-то снарядить сыночка в морское плавание, снабдив его дощечкой, на которой запечатлела историю его рождения, двумя хлебами, наполненными золотом, да несколькими свитками левантийских тканей. Она говорила о пяти мечях, терзавших ей сердце, и о своей размолвке с богом, перед лицом которого она не захотела быть женщиной, вообще никакой женщиной, а потому опозорила всех женихов и ввергла всю страну в затяжное бедствие. Рассказала она и о давнишнем своем сновиденье: как ей приснилось, будто она родила дракона, который вспорол ей чрево и затем улетел, но только затем, чтобы вернуться и снова пробиться в ее лоно. И так оно и случилось: ибо внезапно младенец стал мужчиной или во всяком случае юношей-рыцарем с величайшими задатками мужественности и, служа как вассал герцогине, усмирил бесноватого жениха своей невероятно цепкой рукой. Как она, – святой отец, – прошептала она, – взяла себе в мужья этого возлюбленного, единственного, кого она могла и должна была любить, и блаженно прожила с ним три года, и родила ему дочь, белую и румяную, похожую на него и на мать. Как, благодаря дощечке, – рыдала она, – ей открылось ужасное тождество младенца и мужа, и душа ее содрогнулась от страха, но содрогнулась лицемерно; ибо поверхностно было притворство души, лукаво обворожившей ее сатанинским обманом, а в сокровенных глубинах сердца, где прячется истина, она, Сибилла, отнюдь не обманывалась, и страшное тождество стало ей ясно с первого же взгляда, и она бессознательно и вместе сознательно вышла замуж за собственного ребенка, потому что снова увидела в нем единственную ровню себе. Вот и все; она ни о чем не умолчала, ибо была бы недостойна внимания папы, если б она не поведала ему без утайки всех бередящих ей душу тревог. Пусть он теперь, побагровев от гнева и сжав кулаки, возденет руки горе и навеки ее проклянет. Лучше обречь себя адскому пламени, чем лживо скрыть от бога и от папы, что втайне она все знала и что душа ее притворялась, когда обнаружилась истина.

Она умолкла. Наступило молчанье. И она сказала:

– Вы долго слышали мой голос, папа Григориус. А теперь я снова услышу ваш.

И она услышала его снова, хотя и не в полную силу, ибо папа говорил приглушенно, как священник в исповедалъне:

– Велик и крайне тяжек ваш грех, женщина, и вы откровенно признались в нем папе. Этой крайней откровенностью вы покарали себя суровее, чем когда, по предписанию вашего греховного супруга, мыли ноги

недужным и нищим. Вы ждете, чтобы я воздел руки горе и предал вас анафеме. Но не говорил ли вам кто-нибудь, кто изучал богословие, что искреннее раскаянье равнозначно для бога искуплению любых грехов и что, как бы ни болела душа человека, он будет спасен, если его глаза хоть на час увлажнятся слезами чистосердечного раскаянья?

– Да, я это уже слыхала, – отвечала она, – и я рада услышать это снова от самого папы. Но отдельно от него, от моего ребенка и мужа, я не хочу и не могу быть спасенной. Не взывайте! Как обстоит дело с ним?

– Прежде всего, – сказал папа, – я должен спросить это у вас. Не слыхали ли вы, что с ним случилось, жив ли он, или умер?

– Нет, господин мой, с тех самых пор я ничего о нем не слыхала. А что же касается того, жив ли он, или умер, то полагаю, что умер, ибо, как истый мужчина, он, несомненно, взял на себя столь тяжкое покаянье, что перенапряг свои силы. Ведь он считал, что его грех ужаснее всего, с чем я не могу согласиться. Ибо если всей своей плотью и кровью он и состоял из греха, – из греха его родителей, то все-таки грешен он лишь постольку, поскольку в неведение разделял с матерью брачное ложе. А я родила себе супруга от собственного брата.

– Мера греховности, – возразил он, – богом не установлена, тем более, что в глубине души, где уже невозможны никакие уловки, твой сын тоже отлично знал, что полюбил не кого иного, как свою мать.

– Отец христианства, как тяжело вы его обвиняете!

– Не слишком тяжело. Папа не будет к этому повесе снисходительнее, чем вы к себе. Юноша, отправившийся на поиски своей матери и завербовавший женщину, которая, при всей своей красоте, годилась ему в матери, обязан считаться с возможностью, что его женой окажется его мать. Это я говорю об его разуме. Что же касается его крови, то она почуяла тождество матери и жены задолго до того, как он узнал правду и лицемерно изобразил ужас и удивление.

– Это говорит папа. И все-таки я не могу этому поверить.

– Женщина, он сказал это нам самим.

– Что, что? Значит, вы его видели перед его смертью?

– Он жив.

– Не понимаю! Где, где же он?

– Недалеко отсюда. Вы смогли бы его узнать, если бы господь показал вам его?

– С первого взгляда, ваше святейшество!

– Еще один вопрос: вам было бы очень мучительно увидеть его снова или все-таки радость взяла бы верх?

– Она не только взяла бы верх, она была бы моим единственным, блаженнейшим чувством. Смилуйтесь, господин мой! Дайте мне поглядеть на него!

– Поглядите сначала на это.

И он извлек из-под лежавших на столе бумаг и протянул ей дощечку слоновой кости, в оправе, исписанную на манер грамоты. Она держала ее в руках.

– Что со мной? – промолвила она. – Это тот самый предмет, о котором я вам сказала и который я положила младенцу в бочонок семнадцать и еще семнадцать и еще три года и еще пять лет назад. Господи, господа, он опять у меня в руках – в третий раз! Он был у меня в руках, когда я писала на нем о происхождении своего ребенка, а затем снова в тот страшный час, когда я, по совету злонравной служанки, достала эту дощечку из тайника в покое моего мужа. Какой мукой было для моей грешной души догадаться, откуда взялась у меня эта грамота. Ребенок и муж, – душа хотела отделить одного от другого, отказываясь понять их тождество. Ей долго хотелось верить, что ребенок дал мужу эту дощечку. Вам дал ее мой муж, дражайший папа?

– Она всегда была моей. С нею приплыл я сначала на морской остров, а затем в страну ваших отцов и моих. Милая, я должен задать твоей душе новую, но благостную задачу: осмыслить триединство ребенка, супруга и папы.

– У меня кружится голова.

– Поймите это, Сибилла. Мы доводимся вам сыном.

Она, улыбаясь, склонилась над подушкой, и по ее истощенным годами и покаяньем щекам полились слезы. И, улыбаясь сквозь слезы, она промолвила:

– Я давно это знаю.

– Что? – сказал он. – Значит, вы узнали меня в папской скуфье и через столько лет?

– С первого взгляда, ваше святейшество. Я всегда вас узнаю.

– И, стало быть, вы просто притворялись перед нами, дерзкая женщина?

– Потому что вы вздумали притворяться передо мной...

– Мы чаяли потешить этим всевышнего.

– А я охотно вам помогала. И все же это не было пустым притворством. Ибо если даже все трое – одно лицо, то все-таки папа очень далек от ребенка и мужа. Я искренне исповедовалась избраннику бога.

– Мать! – воскликнул он.

– Отец! – воскликнула она. – Отец моих детей, вечно, любимое мое

чадо!

И они бросились друг другу в объятия и зарыдали вместе.

– Григорс, несчастный! – сказала она, прижимая его голову к своей. – Как жестоко должен был ты себя казнить, чтобы господь возвысил тебя над нами, грешными.

– Ни слова больше об этом, – отвечал он. – Правда, место мое было самым убогим и голым, но созвездия неба, погода и ветер разнообразно менялись, и к тому же господь унизил меня до подобия сурка, а в таком состоянии легче сносить лишения. Но ты, возлюбленная мать, неужели ты вовсе не удивилась, когда узнала в папе своего сына?

– Ах, Григорс, – возразила она, – эта история настолько необычайна, что здесь и самому удивительному дивиться уже не приходится. Но как должны мы хвалить премудрость всевышнего, который, удовлетворившись твоим унижением, возвысил тебя до папы! Ибо теперь в твоей власти прекратить этот ужас, все еще не изживший себя, и расторгнуть наш брак. Подумай только, что мы поныне обвенчаны во Христе!

– Достопочтеннейшая! – сказал он. – Препоручим это богу и предоставим ему решить, оставит или не оставит он в силе такое сатанинское учиненье, как наш брак. Мне вовсе не к лицу расторгать этот союз, возвращая нас к отношениям сына и матери. Ибо, если все как следует взвесить, было бы лучше, если б я не был и вашим сыном.

– Но кем же, дитя мое, доводимся мы друг Другу?

– Братом и сестрой, – отвечал он, – в любви и в страдании, в раскаянии и в благостыне.

Она задумалась.

– Братом и сестрой. А где же душа Вилигиса?

– Душа моего отца? Женщина, разве вы не слышали, что нам удалось вымолить из ада некоего языческого императора? Так не бойтесь же за моего дорогого дядю, с которым я был бы рад встретиться еще в жизни и которого мы некогда встретим в раю.

– Слава, дитя мое, твоей первосвященнической власти! Ты был так молод, когда ушел от меня и запретил крестить вторую нашу дочь. Разрешишь ли ты крестить ее, созревши до папы?

– Наши дочери! – воскликнул он. – Где они?

– Меня немного обидело, – отвечала она, – то, что ты до сих пор не спросил о них. Они в Тайных Сенях.

– Так далеко отсюда? Пусть их сейчас же приведут к нам!

Их привели. Стультиция и Гумилитас вошли в отдаленнейший покой, и им тоже было позволено поцеловать не туфлю, а только перстень.

– Милые племянницы! – сказал Грегориус. – Мы называем вас так потому, что мать ваша нашла в папе побочного родственника. Мы от души рады познакомиться с вами и с вашей столь несходной красотой!

А Сибилле он сказал:

– Теперь ты видишь, почтительно любимая, что, хвала богу, сатана не всесилен и не зашел в своих ухищрениях так далеко, чтобы я вступил в брачный союз еще и с этими двумя и, пожалуй, прижил бы от них детей, отчего наше родство стало бы сущей пропастью. Все имеет свои границы. Мир конечен.

Они еще о многом говорили между собой, и как когда-то, только на сей раз при гораздо более счастливых обстоятельствах, Грегориус отдал кое-какие распоряжения, потому что он был мужчина и сверх того папа. Поначалу Сибилле вместе с племянницами надлежало задержаться в монастыре Сергия и Вакха, но с тем чтобы вскоре переселиться в собственный монастырь, который построит для нее папа и которым, пользуясь великими почестями, она будет управлять как княгиня и аббатиса. В точности так оно и случилось, и Стультиция осталась при матери на правах вице-аббатисы, а Гумилитас, приняв христианское крещение, сочеталась браком с Пенкгартом, известным нам рисовальщиком, ибо они оба давно уже питали друг к другу приязнь. Пенкгарт, весьма преуспевший в художестве, занял в Риме высокое положение и получил возможность расписывать многие стены, отчасти благодаря своему дарованию, отчасти же потому, что был женат на племяннице папы. Хоть это и называется nepotизмом, но если nepotизм оправдан теми или иными заслугами, то против него нечего и возражать.

Так жили они все себе на радость, и со временем каждый умер своею смертью, по мере того как она, по очереди, к ним приходила. Сибилла умерла первой, восьмидесяти лет: старше она не стала, наверно, потому, что раннее горе и суровые годы раскаянья сократили ей жизнь. Ее брат и сын, папа, пережил ее почти на целый человеческий век. Он достиг девяноста лет и все еще возвышался и вырастал как пастырь народов; до конца жизни он изумлял orbis, этот оракул апостольский и doctor mellifluus. Остальные еще немного помешкали на земле, долее всех – дети Пенкгарта и Гумилитас, веселые люди, которые были рождены правомернейшим образом, для будущего, и так и жили. Но сколько ни жили, увяли и они, увяли, как листья лета, и удобрили почву, чтобы на ней копошились, цвели и увядали новые смертные. Мир конечен, и только слава божья вечна.

Клементий, который теперь привел свою повесть к развязке, благодарит вас за ваше внимание и с радостью принимает вашу благодарность за его труд. Но только пусть те, кому пришлось по вкусу эта история, не истолкуют ее превратно и не подумают, что грех не так уж и страшен. Да остерегутся они сказать себе: «Бесчинствуй ничтоже сумняся! Если уж тем все сошло с рук, то ты и подавно не погубишь душу свою!» Это нашептывает дьявол. Попробуйте-ка сначала прожить семнадцать лет на камне, превратившись в сурка, и купать больных более двадцати лет подряд, и тогда вы увидите, шуточное ли это дело! Но, конечно, мудр тот, кто предчувствует избранника в грешнике, и мудр сам грешник, если он так поступает. Ибо предчувствие собственной избранности может облагородить грешника и настолько оплодотворить его греховность, что она высоко его вознесет.

В награду за это предостережение и совет я прошу вас оказать мне милость, и помянуть меня в своей молитве, дабы все мы некогда свиделись в раю с теми, о которых я рассказал.

VALETE!^[161]

Комментарии

Легенда о папе Григории стала известна Томасу Манну из средневекового сборника «Gesta Romanorum» («Римские деяния»), автором, или, вернее, компилятором которого был немецкий или английский монах Элиманд, умерший около 1230 года.

Главным источником Томасу Манну послужили, однако, не «Gesta», а поэма немецкого (швабского) поэта Гартмана фон Ауэ (1165—1210) «Григорий столпник», с которой Томас Манн познакомился позднее и сюжета которой он придерживается в «Избраннике».

Кроме поэмы Гартмана фон Ауэ, в «Избраннике», по собственному свидетельству Томаса Манна, получили пародийное переосмысление куртуазный эпос «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, старинные песни, посвященные деве Марии, «Песнь о Нибелунгах».

Местом действия «Избранника» является не Аквитания, как в поэме Гартмана фон Ауэ, а вымышленное герцогство Фландрия-Артуа. Действие романа не приурочено к какой-либо конкретной эпохе. «Я придумал, – пишет Томас Манн, – некое лишенное временной определенности сверхнациональное западноевропейское средневековье, в языковой сфере которого юмористически смешаны архаичные и современные древненемецкие, старофранцузские, а подчас и английские элементы». Таким образом, «Избранник» не является историческим романом, более или менее достоверно повествующим о подлинных событиях. Поэтому географические названия, встречающиеся в романе, не комментируются.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

1

над Римом (*лат.*)

«На тебя, Господи, я уповал» (*лат.*) – католическая молитва

«Блаженны те, чьи грехи сокрыты» (*лат.*)

Ходящий в ключах – апостол Петр, могила которого находится в соборе св.Петра в Риме.

5

монах ордена святого Бенедикта (*лат.*)

6

древо жизни (*лат.*)

7

церковь (греч.)

Остров св.Патрика – Ирландия. Апостол Патриций (389—461) – национальный святой Ирландии.

«Имею сообщить тебе некий секрет. Я весьма крепок телом и посему часто подвержен искушениям дьявольским» (вульгарная, синтаксически германизированная латынь)

Здесь – папский престол (*лат.*)

«К эфесянам» *(лат.)*

Император Каролус – Карл Великий (742—814), король франконский, с 768 года римский император.

13

по имени (франц.)

увы, ах (*старофранц.*)

домочадцы, дружинники-рыцари (*старофранц.*)

придворная галантность, куртуазность (*старофранц.*)

Добро пожаловать, сир! (*старофранц.*)

Тйост – рыцарский поединок.

храни вас господь (*старофранц.*)

малышками (*старофранц.*)

Святому духу (старофранц.)

не правда ли? (*старофранц.*)

на то божья воля (*старофранц.*)

Бог не желает (*старофранц.*)

надежда дам (*старофранц.*)

хозяин замка (*старофранц.*)

учитель рыцарского этикета (*старофранц.*)

человеком благовоспитанным, учтивым, образованным, умеющим красиво говорить (*старофранц.*)

слегка (франц.)

30

зад (франц.)

31

сын графа (*франц.*)

подстилка (*старофранц.*)

никого сильнее не хочу видеть (*старофранц.*)

наставницы (*старофранц.*)

отказ (*старофранц.*)

преданно (*старофранц.*)

тем не менее, все равно (*франц.*)

живая (франц.)

сын герцога Гримальда (*франц.*)

40

прекрасное тело (*франц.*)

община, дружина (*старофранц.*)

сеньеры-бароны (*старофранц.*)

рог, в который охотники трубят, захватив добычу (*старофранц.*)

поистине, поистине (*лат.*)

Не ломай. Я введу. *(старофранц.)*

Сделай это! Право, не знаю, что это такое. Возьмем то, что нам уготовано! (*старофранц.*)

Это хорошо? (*старофранц.*)

Сама узнаешь. Ничего нельзя узнать, не испытав (*старофранц.*)

О, ты меня убиваешь! (*старофранц.*)

О Боже, как тяжело мучат меня грехи мои! (*старофранц.*)

Божественного Бенедикта (*лат.*).

О ты, антихрист и изувер! (*старофранц.*)

Двадцать марок – десять фунтов золота.

я возьму в супруги того, кто спас нас своею святою кровью
(старофранц.)

«Никогда!» (франц.)

противиться богу не волен никто, кроме самого бога (*лат.*)

«Мука господня» *(лат.)*

Киновия – так называемый общежительный монастырь с выборным настоятелем, где монахи обязаны трудиться в пользу монастыря, за что обеспечиваются пищей, одеждой и т.д.

...послушный уставу Цистерциума... – Имеется в виду монашеский орден цистерцианцев, являющийся ветвью ордена – бенедиктинцев и отличающийся более строгим уставом.

Бельцы – лица, готовящиеся к пострижению в монахи и живущие в монастыре.

...«аббат» – кто учен... – Слово «аббат» происходит от арамейского «абба», что значит «отец».

Капитул – собрание и место собраний членов духовной коллегии.

чернь (*лат.*)

Друиды – жреческая каста у кельтов (племен, обитавших со 2-го тысячелетия до н.э. в Западной Европе к северу и западу от Альп, от реки Роны, через Южную Германию, до областей по верхнему течению Дуная), религия которых состояла в почитании природы и требовала жертвоприношений, иногда – человеческих.

немного, здесь – пожалуй (*архаическ. англ.*)

порывы ветра (*франц.*)

черпать (*архаическ. англ.*)

держать (*архаическ. англ.*)

думать (архаическ. англ.)

бедняцкое (*англ.*)

что может (англ.)

пресная вода (*англ.*)

спиртное (*англ.*)

моряка, морехода (*англ.*)

бедных людей (англ.)

Бог дал, Бог дал (*лат.*)

Поверъте мене! (лат.)

это (*архаическ. англ.*)

воспитать (*архаическ. англ.*)

дюжину ребят (*архаическ. англ.*)

это обман (*архаическ. англ.*)

всегда (*архаическ. англ.*)

вы должны (*архаическ. англ.*)

окунуть (*архаическ. англ.*)

окрестить (*архаическ. англ.*)

родственники (*лат.*)

красноречие (*лат.*)

субстанция, материя, вещество (*лат.*)

болтать (*архаическ. англ.*)

капитал (*лат.*)

91

поверь мне (*вульг. лат.*)

я не крал (*англ.*)

богословие (*лат.*)

юноша (*англ.*)

грамматика (*лат.*)

парень (*англ.*)

который никогда не смеется (*старофранц.*)

Бушприт – горизонтальная или наклонная мачта, выставленная вперед с носа судна. *Утлегарь* – продолжение бушприта.

Форштевень – носовая оконечность судна, продолжение киля.

100

кичиться и хвастаться (*архаическ. англ.*)

слабым и хилым (англ.)

Здесь – тело, организм (*греч.*)

О бедняжка! (*архаическ. англ.*)

кулачный бой, свара и драка (*англ.*)

здесь – ложка (англ.)

я согрешил (*лат.*)

Ты согрешил? (*лат.*)

именем господним *(лат.)*

Господи боже *(англ.)*

грамматику, богословие и законы (*лат.*)

верхняя подпруга (*старофранц.*)

112

конный поединок на копьях (*старофранц.*)

здесь – общине (*старофранц.*)

114

прекрасный сир (*франц.*)

трапезу, ужин (*старофранц.*)

116

партия, клика (*франц.*)

В жизни (франц.)

Здесь – манеры (*старофранц.*)

наконец (*франц.*)

кстати и между прочим (*франц.*)

121

промах (франц.)

здесь – выправке, осанке (*франц.*)

123

«Ступайте, служба окончена» (*лат.*)

храбрый печальник, который всегда в печали (*старофранц.*)

125

скучно (франц.)

схватке (*старофранц.*)

Святая Мария, исполненная кротости (*лат.*)

Благословен плод чрева твоего! Звезда моря (*лат.*)

Святая Мария (*лат.*)

130

Здесь – уединенное помещение (*франц.*)

великой родительницы (*лат.*)

...плоды своего материнского лона... – Ср. Лукреций, «О природе вещей», I, 251: «Gremium mains terrai», «земли материнское лоно».

ПОЧВЫ, ЗЕМЛИ (*лат.*)

«Жезл Ассур» – Цитата из библии, книга Исаяи, гл.10, ст.5: «Ассур... жезл ярости моей».

Ориген (ок.185 – ок.254) – греческий раннехристианский богослов, пытавшийся внести в христианское вероучение элементы греческой философии; основоположник критики библейских текстов.

Седисваканция – время, когда папский (или епископский) престол не занят.

летний покой (*испорч. лат.*)

друже (*лат.*)

благословляю вас его именем *(лат.)*

душа моя восхвалит тебя (*лат.*)

И твои указания мне помогут (*лат.*)

Бежим! (*лат.*)

Никогда! *(лат.)*

Здесь – папский престол (*лат.*)

И тебе дам ключи царства небесного! (*лат.*)

населения Рима (*лат.*)

престол Петра (*лат.*)

«Благословен пришедший именем бога» (*лат.*)

Апсида – полукруглая или многогранная ниша в глубине церкви.

судьи (*лат.*)

слугами Святого Петра (*лат.*)

Манихейцы, присциллианцы, пелагианцы – последователи средневековых еретических учений, отвергнутых римской церковью. Так, например, пелагианство (по имени британского монаха Пелагия, умершего около 429 года), отрицавшее первородный грех, было осуждено Эфесским собором в 431 году.

Монофизитская ересь – учение о чисто божественной природе Христа, отрицавшее его человеческую природу; в V веке положило начало самостоятельности некоторых церквей, например армянской, сирийской.

с амвона (*лат.*)

Донатисты (по имени Доната, епископа Карфагенского) – североафриканская религиозная секта IV—V веков, ставившая своей целью создание независимой от Рима африканской церкви.

Тертуллиан Квинт – Септимий Флоренс (род. между 150 и 160 – ум. 222) – богослов, один из основоположников христианской догматики, провозгласивший примат религии над наукой (ему приписывается известное изречение «credo quia absurdum est» – «верую, ибо это нелепо»).

почтительной памяти, собственноручно. (Piae Memoriae, manu propria
– лат.)

Примас – в католической церкви первый по своим правам епископ какой-либо страны.

весь христианский мир (*лат.*)

советник (*франц.*)

Прощайте, будьте здоровы! (*лат.*)